



Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая **

Литература XIX века

Н. ЛЕСКОВ

ПОВЕСТИ

●

РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1973

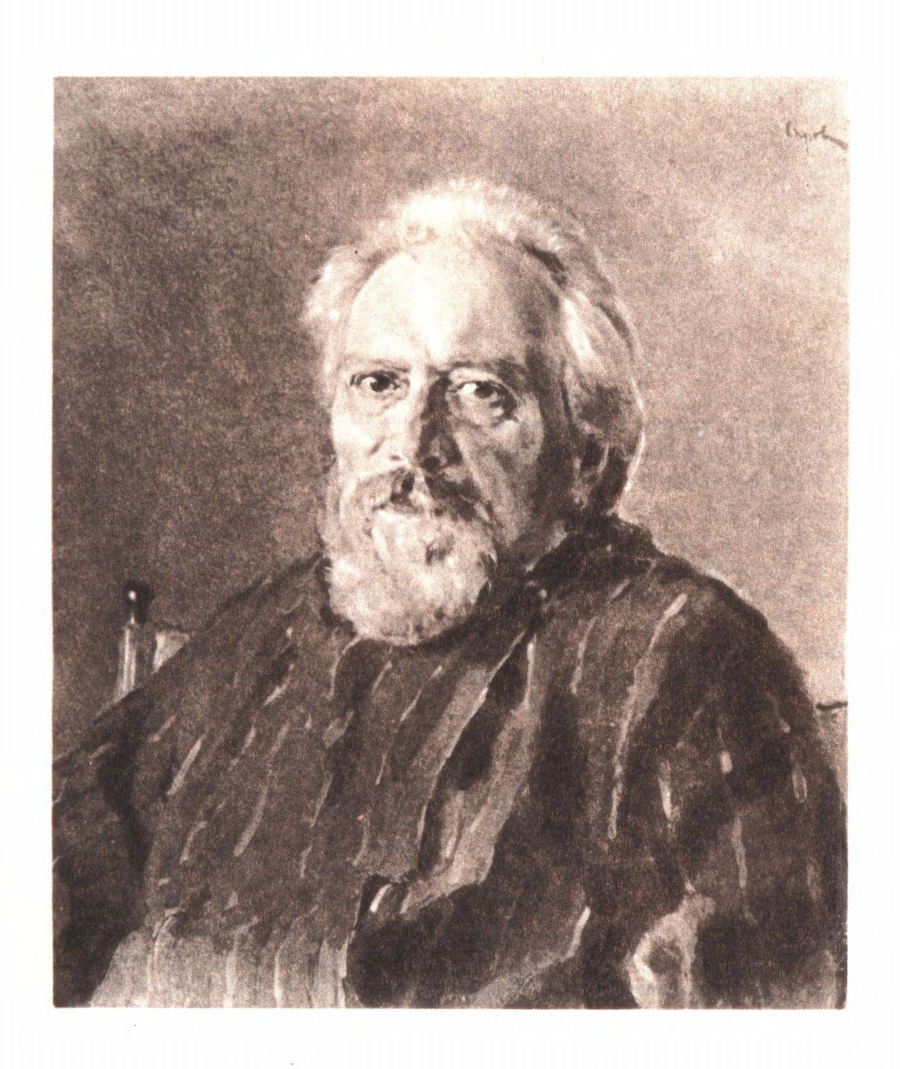
Вступительная статья, составление и примечания
Л. Крупчанова

Р1
Л50

Иллюстрации
Н. Кузьмина

© Издательство «Художественная литература», 1973

7-3-1
Подп. изд.



ЖАЖДА СВЕТА

В конце своего жизненного пути Николай Семенович Лесков (1831—1895) писал: «Я вижу яркий маяк и знаю, чего держаться». Это признание было поистине выстрадано писателем, прожившим сложную жизнь, полную тревог и ошибок, исканий и потерь.

Тридцатилетний Лесков вступил на литературное поприще в начале 60-х годов прошлого века, когда уже пришли в большую литературу старшие его современники Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Писемский.

Выходец из семьи, где причудливо переплелись четыре сословия — духовное, дворянское, чиновное и купеческое, Лесков с детства познавал и простонародный быт, и жизнь духовенства и чиновничества всех рангов. Еще смолоду он объездил по служебным делам всю европейскую Россию и накопил массу разнообразных впечатлений и наблюдений.

Почти два года Лесков отдает публицистике. В своих статьях он горячо отстаивает интересы крестьян в период реформы 1861 года, выступает в защиту прав рабочих, обличает карьеризм и взяточничество чиновников, алчность духовенства, пишет о положении учителей сельских школ, о преследованиях староверов. Все это давало основание предположить, что творчество Лескова сразу окажется в русле передовых демократических идей своего времени. Но получилось по-другому...

Путь Лескова к пониманию истины был тернистым и далеко не прямым. Особенность его миропонимания, которую он позднее сам трезво проанализирует и оценит, принуждала его искать свое место вне двух борющихся лагерей — революционно-демократического и реакционного. А это неизбежно привело к столкновению с передовыми силами, объединившимися вокруг некрасовского «Современника». Уже с весны 1862 года в статьях Лескова зазвучали фальшивые ноты. В связи с этим «Современник» писал, что в верхних столбцах «Северной пчелы» (там печатались статьи и

корреспонденции Лескова) «тратится напрасно сила, не только не высказавшаяся и не исчерпавшая себя, а, может быть, еще и не нашедшая своего настоящего пути».

Лесков тогда не только не понял этого справедливого высказывания, а болезненно воспринял его. Антинигилистические настроения его усилились, нападки на деятелей революционно-демократического лагеря стали более ожесточенными. В 1863 году он выступает со статьей о романе Чернышевского «Что делать?», где оценивает и героев, и даже самого автора как людей «безобидных и аполитичных», которые «не несут ни огня, ни меча». Деятельность революционеров-шестидесятников казалась Лескову далекой от истинных интересов народа. Он видел инертность массы и не верил в возможность ее пробуждения.

Таким образом, в сложных условиях общественно-литературной борьбы 60-х годов творчество Лескова не опиралось на какую-либо более или менее определенную систему взглядов.

Уже в раннем рассказе «Овцебык» (1862) проявились сильные и слабые стороны творчества Лескова 60-х годов. Герой его, Василий Богословский, упрямо ищет пути к изменению действительности. На первый взгляд в нем есть что-то от «новых людей» типа тургеневского Базарова. Он честен, ненавидит дворян-тунеядцев, настойчиво агитирует против богачей и защищает бедняков.

Но лесковский герой — далеко не Базаров, в образе которого Тургенев запечатлел знаменательное явление эпохи. Овцебык заслуживает лишь жалости благодаря наивности и непоследовательности своих идей и поступков. Исчерпав все средства приобщения к жизни, он ушел из нее. И хоть рассказ не сводился к полемике с революционными демократами, он утверждал мысль о беспочвенности борьбы «новых людей» с несправедливостями жизни.

Овцебык уже наделен чертами «лесковского» героя, человека своеобразного, странного, чем-то привлекательного, понимающего страдания народа, в какой-то степени понятного ему, но и далекого от него.

Лесков объективно показывает инертность среды, еще не готовой к восприятию революционных идей, самоотверженность, доходящую до самоотречения, и жертвенность представителей нового поколения людей, которым, по его мнению, «некуда идти».

По словам писателя, в повестях, очерках и рассказах он был «только рисовальщиком», а в романах — «еще и мыслителем» [1]. Но мыслителем в то время он был незрелым...

В «антинигилистических» романах «Некуда» (1865) и «На ножах» (1871), рисовавших в карикатурном виде революционеров 60-х годов, особенно наглядно сказались незрелость и ошибочность идеологических по-

---

[1] Н. С. Лесков, Собр. соч. в 11-ти томах, т. 10, М., Гослитиздат, 1956—1958, стр. 450.

зиций Лескова того времени. И если для отдавших дань «антинигилизму» Толстого, Гончарова, Писемского это было лишь эпизодом биографии, то для Лескова оказалось глубокой драмой, затянувшейся на многие годы и отнявшей много душевных сил. Немалую роль сыграла тут статья Д. Писарева «Прогулка по садам российской словесности» (1865), где Лесков был охарактеризован как пасквилянт, которого нельзя пускать ни в один порядочный журнал.

Этот удар оставил горький осадок в душе писателя. Он оказался с клеймом «реакционера», отлученным от передовой русской литературы и не чувствовал себя своим в лагере ее противников. «Мы ошибаемся: этот человек не наш!» — сказал о Лескове идеолог официального направления в литературе М. Н. Катков, печатавший в своем «Русском вестнике» произведения Лескова той поры. Рассказывая об этом впоследствии в одном из писем, Лесков добавляет: «Он был прав, но я не знал: чей я?»

Оценивая свое прошлое, Лесков напишет: «Я блуждал и воротился, и стал сам собою — тем, что я есмь. Многое мною написанное мне действительно неприятно, но лжи там нет нигде,— я всегда и везде был прям и искренен... Я просто заблуждался — не понимал, иногда подчинялся влиянию...» Большую ошибку свою он увидит в том, что хотел «остановить бурный порыв», который ему, умудренному опытом, уже покажется «естественным явлением».

Несмотря на глубокие заблуждения и ошибочные взгляды, гуманизм и «жажда света», стихийный демократизм были присущи Лескову-художнику. Они наполняются новым содержанием, когда писатель обращается к самой близкой ему теме — жизни народной.

«Человеческое родство со всем миром» сказывается в одном из сильнейших его произведений — повести «Леди Макбет Мценского уезда» (1864).

Судьба Катерины Измайловой поначалу во многом сходна с судьбой Катерины Кабановой из драмы А. Островского «Гроза». Обе молодые женщины оказываются в деспотических условиях купеческой семьи, обе наделены сильными, цельными характерами. Но Катерина Кабанова погибает, бросив вызов среде, которая ее душит. Катерина Измайлова гибнет, пройдя через самые омерзительные формы человеческих отношений в этой среде.

Скука, своевольный характер и всепоглощающая страсть — внешние мотивы преступлений Катерины Измайловой. На самом деле эти преступления — результат бесчеловечных отношений, доведенных до автоматизма там, где обесценившаяся человеческая жизнь становится разменной монетой. Сильная, волевая натура Катерины контрастирует с узостью интересов и целей. Ее большая, искренняя любовь к ничтожному человеку не может не вызвать жалости и сочувствия.

Трагедия Катерины Измайловой — это трагедия бессмысленности существования целого сословия российского общества — провинциального мещанства. Общечеловеческий смысл ее не снижается названием повести,

ограничивающим ее масштабы («Леди Макбет Мценского уезда»),— этот художественный прием использовался писателями «натуральной» школы («Гамлет Щигровского уезда» И. Тургенева). На материале российской действительности Лесков создает трагедию человеческих страстей огромного накала, приближаясь к шедеврам мировой литературы.

В противоположность страстной, сильной натуре Катерины Измайловой героиня повести «Воительница» (1866), Домна Платоновна, казалось бы, начисто лишена самых обыкновенных человеческих чувств. Но, по словам самого писателя, он «находил теплые углы в холодных сердцах и освещал их»[1]. Искал и находил человеческое там, где оно проявлялось в самых необычных и неожиданных формах.

Домна Платоновна — тоже «мценская баба», оказавшаяся по воле судьбы в столице. Ее «деятельность» скрыта за внешней благопристойностью жизни петербургского общества. Подобные персонажи есть и у Гоголя и у Островского. Но там их роль эпизодична. У Лескова Домна Платоновна — центральный характер произведения.

Будучи не раз жестоко обманутой, Домна Платоновна возводит ложь и грязь в «неотразимый закон» жизни, где господствует «всеобщее стремление ко всякому обману».

Натура Домны Платоновны по-русски широкая. Она трудится не за страх, а за совесть, любит свое дело, бескорыстно, как она говорит, «отягощается» и ведет «прекратительную жизнь».

Рассказ насыщен яркими, колоритными сценами быта, в нем много юмористических, сатирических элементов.

Конец истории «воительницы» на первый взгляд трагикомичен. На склоне лет исступленная, безумная любовь приходит к Домне Платоновне, никогда не верившей в чистоту и искренность человеческих отношений.

«А людям ведь небось и не жаль, смех им небось только. И всякий, если кто когда-нибудь про эту историю узнает, посмеется — непременно посмеется, а не пожалеет...»

В этом и заключается оригинальный, «лесковский» взгляд на изображаемое: трагедия «воительницы» видна только ей самой, для остальных же это всего-навсего смешной житейский эпизод.

В лучших произведениях Лескова 70-х годов (роман «Соборяне», повести «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник») его художественный талант, талант «неутомимого охотника за своеобразным, оригинальным человеком», как сказал о нем М. Горький[2], раскрывается в полной мере.

---

[1] Н. С. Лесков, Собр. соч., т. 10, стр. 451.

[2] А. М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 25, М., Гослитиздат, 1949—1955, стр. 346.

В повести «Запечатленный ангел» (1873) Лесков обращается к изображению жизни русского старообрядчества. Его привлекает быт старообрядцев, взаимовыручка, сплоченность не только в вопросах веры, но и в труде и в борьбе с сильными мира сего.

Противопоставляя лживую мораль официальных господствующих сословий честной и скромной жизни трудовой артели раскольников, автор не склонен объяснять эти различия несходством в религиозных верованиях. И в среде раскольников он отмечает элементы фальши, страсти к деньгам, моральной нечистоплотности.

«Запечатленный ангел» — одно из немногих в русской литературе «изографических» произведений, в котором автор выступает как тонкий знаток и ценитель русской иконописи. Старообрядцы в повести изображены хранителями лучших традиций иконописного искусства. В отличие от невежественных господ и чиновников, они тонко разбираются в школах и стилях иконописи, прекрасно могут отличить подделку от подлинника. Севастьян, с его большими, грубыми руками, выполняет чрезвычайно тонкую, филигранную работу, изображая на маленьком куске дерева целую цепь сюжетов, которые, подобно подковам «стальной блохи», можно было рассмотреть лишь под «мелкоскопом». Бескорыстно преданный своему искусству, он ни за какие деньги не соглашается написать портрет жены английского инженера.

Лесков не подчеркивает религиозного фанатизма староверов, не показывает обрядовой стороны их религии. Случаи, на первый взгляд «чудесные», легко разъясняются, «святость» их как бы снимается, и на переднем плане оказывается жизнь артели, ее труд, суровый быт.

Лесков отвергает не только фанатизм веры, но и культ церкви. «Веры же во всей ее церковной пошлости я не хочу ни утверждать, ни разрушать,— писал он А. С. Суворину.— О разрушении ее хорошо заботятся архиереи и попы с дьяками. Они ее ухлопают. Я просто люблю знать, как люди представляют себе божество и его участие в судьбах человеческих, и кое-что в этом знаю» [1].

Пожалуй, самый значительный герой Лескова — Иван Северьяныч Флягин из повести «Очарованный странник» (1873). Человек особенный, исключительный, человек странной и необычной судьбы, с детства «предназначенный» для монастыря и постоянно помнящий об этом, он, однако, не может преодолеть чар мирской жизни и расстаться с нею.

Многочисленные приключения героя порой представляются экзотическими (история с цыганкой Грушей, киргизский плен), но характер его всегда дается в реалистическом ключе. Сам автор сравнивал приключения своего героя с похождениями Чичикова в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя. Однако, пройдя через суровые испытания, герой Лескова сохранил чистоту и искренность чувств, доходящую до наивности. И рассказывает о себе

---

[1] Н. С. Лесков, Собр. соч., т. 10, стр. 406.

Иван Северьяныч «с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен». Дела свои он согласует лишь с собственной совестью. «Я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам»,— говорит он.

Поступая по совести, Флягин часто расходится с нормами общепринятой морали и готов зачислить себя в «большие грешники». Но хотя по его вине погибает монах, хотя он убивает татарского князя и сталкивает в воду горячо любимую им Грушеньку,— всем содержанием повести Лесков утверждает, что в «житейской драмокомедии» Иван Северьяныч — самый лучший и честный актер.

Ивану Северьянычу, как и многим героям Лескова, свойственны сомнения в религии. «...Не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хотя не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал...» — говорит он.

В монастыре Флягин оказался только потому, что ему «деться было некуда».

Именно в монастыре приходит он в состояние «страха за народ свой» и готовности «помереть» за него. Но опасность для народа Иван Северьяныч видит только со стороны внешних врагов, не помышляя о протесте против врагов внутренних,— хотя нотки иронии по отношению к ним иногда проскальзывают у него. «Наши князья... слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная»,— говорит он.

«Очарованный странник» был любимым героем Лескова, он ставил его рядом с «Левшой». «Очарованного странника» сейчас же (к зиме) надо издать в одном томе с «Левшою» под одним общим заглавием: «Молодцы» [1],— писал он в 1886 году.

В «Очарованном страннике» читатель найдет и увлекательнейший сюжет, и великолепные картины среднерусской природы, и колоритную речь людей различных сословий, профессий и национальностей. Именно «Очарованного странника» советовал М. Горький читать и изучать начинающим писателям, чтобы постичь тайны речевого искусства.

Лесков говорил об умении «вывесть язвительное сопоставление» [2], как об одной из особенностей своего таланта. В манере «язвительного сопоставления», близкой к щедринскому циклу «За рубежом», написан рассказ «Железная воля» (1876).

В образе Гуго Пекторалиса Лесков нарочито заостряет черты, свойственные прусскому юнкерству и бюргерству: узость интересов, черствость, односторонность убеждений. Стремление Гуго к богатству и власти над людьми опирается на один-единственный жизненный принцип — несгибаемость воли. Лесков гиперболизирует эту черту характера, доводя до автоматизма поведение своего героя. Пекторалис напоминает щедринского

---

[1] Н. С. Лесков, Собр. соч., т. 11, стр. 315.
[2] Там же, стр. 323.

«господина Гехта», «по контракту» присвоившего себе право выкачивать прибыли из труда рабочих.

Жизненная философия Гуго Пекторалиса чрезвычайно бедна и прямолинейна. «Всякий, кто беден, сам в этом виноват» — таков один из ее пунктов. «Железная воля» Пекторалиса привела его к бесславному концу: он разорен, от него уходит жена, и похоронен он на церковный счет. «Расчетливость Гуго Карлыча,— говорит рассказчик,— у нас по нашей русской простоте все как-то смахивала на шутку и потешение». «Уловлен на гордости»,— резюмирует подьячий Жига.

80-е годы — период расцвета творчества Лескова, по словам М. Горького, «все силы, всю жизнь потратившего на то, чтобы создать «положительный» тип русского человека» [1].

Беспокойные поиски утверждающих начал жизни приводят Лескова к решению запечатлеть типы русских праведников. «Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одною дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель?» — спрашивает он в предисловии к рассказу «Однодум» (1879), первому из цикла произведений о «праведниках».

Герой рассказа, квартальный Рыжов, живущий на жалованье в десять рублей и не берущий взяток, выглядит человеком исключительным для своей среды и своего времени. Поставив целью «самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших», Рыжов ведет спартанский образ жизни и усиленно штудирует Библию. Лесков преподносит как парадокс тот факт, что человек, «до Христа дочитавший» Библию, становится для окружающих опасным «вольтерьянцем».

Александр Афанасьевич Рыжов — «однодум», потому что никогда не изменял своим убеждениям, оставался неподкупным и честным, несмотря на искушения, которым постоянно подвергался по должности. «Неберущий» квартальный удивляет даже губернатора, который просто не может поверить в его существование. «Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет»,— говорит он.

В финале рассказа «торжество добродетели» выражается в том, что губернатор присылает «однодуму» владимирский крест, по поводу чего автор замечает: «Носить же ордена Рыжову было *не на чем*».

Как и большинство произведений Лескова, рассказ построен на живом материале: губернатор Ланской — лицо подлинное, сохранились воспоминания и о чудаковатом солигаличском квартальном. Но лесковский «однодум» — характер оригинальный. Само его «праведничество» более восхо-

---

[1] М. Горький, Собр. соч., т. 24, стр. 184.

дит к здравому смыслу простого русского человека, чем к религии, так как, по словам автора, Рыжов и в вере был человек «такой-некий-этакой».

Рассказ «Несмертельный Голован» (1880) — второй из цикла о «праведниках». Герой его, пожалуй, наиболее близок к идеалу положительного характера, каким он представлялся автору.

Здесь, как и в других произведениях этого цикла, писатель не выходит за рамки морально-нравственных, этических категорий.

Герой не боится смерти и бесконечно добр по отношению ко всем без исключения людям. Как и все лесковские «праведники», он «сумнителен в вере».

Голован, которого автор называет «особенным», изображается как обыкновенный, хотя и незаурядный человек, все «чудеса» которого объясняются «естественными причинами». Вместе с тем «совершенство» его на грани святости. Он, «строгостью к себе и снисходительностью к другим достигший высоты совершенного самоотвержения», напоминает автору Жильята, героя романа Гюго «Труженики моря». «Его совесть снега белей»,— говорит о нем отец Петр.

«В горестные минуты общего бедствия среда народная выдвигает из себя героев великодушия, людей бесстрашных и самоотверженных»,— пишет Лесков.

Эпиграфом к рассказу служат слова из Евангелия от Иоанна: «Совершенная любовь изгоняет страх».

Утверждая право человека на личное счастье, Лесков обязательным условием ставит соблюдение общечеловеческих норм морали и нравственности: «...есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешагнет». Голован счастлив «праведным» счастьем.

Концепция героического характера у Лескова опиралась на убеждение в преобладании положительных свойств в человеческой природе. «Двойственность в человеке возможна,— говорил Лесков,— но глубочайшая суть его все-таки там, где его лучшие симпатии».

В образах «праведников» сказались слабые стороны миропонимания писателя, его вера в нравственное усовершенствование как единственное средство преодоления зла.

В поисках положительного героя Лесков все чаще обращается к людям из народа.

Одной из вершин художественного творчества писателя явился его знаменитый сказ «Левша» (1881).

Лесков не дает имени своему герою, подчеркивая тем самым собирательный смысл и значение его характера. «...Там, где стоит «Левша», надо читать «русский народ»,— говорил писатель.

Он не идеализирует героя, показывая, что при огромном трудолюбии и великолепном мастерстве, он «в науках не зашелся и вместо четырех

правил сложения из арифметики все бредет по Псалтырю да по Полусоннику».

Повествование ведется от лица рассказчика, речь которого выдержана в «лесковских» ярко-цветистых тонах, насыщена неологизмами, построенными по принципу народной этимологии. Этот «настоящий, кондовый русский язык» Лескова, как его оценивал М. Горький [1], требовал большой, кропотливой работы.

«...Язык «Стальной блохи» дается не легко, а очень трудно, и одна любовь к делу может побудить человека взяться за такую мозаическую работу. Но этот-то самый «своеобразный язык» и ставили мне в вину и таки заставили меня его немножко портить и обесцвечивать...» [2] — сетовал писатель.

«Левша» — произведение народного героического эпоса, в котором писатель достиг большой силы и глубины художественного обобщения. В нем настолько точно воссоздан речевой колорит изображаемой среды, что при чтении сказа возникала иллюзия достоверности событий и реальности образа рассказчика. Этому способствовали и некоторые особенности таланта Лескова-художника.

«Лесков...— волшебник слова, но он писал не пластически, а — рассказывал и в этом искусстве не имеет равного себе» [3],— отмечал М. Горький.

Поэтому Лесков «нуждался в живых лицах, которые могли... заинтересовать своим духовным содержанием» [4].

Этот способ типизации требовал особой жанровой формы изображения, которую сам Лесков назвал «мемуарной формой вымышленного художественного произведения» [5]. «Мемуарность» у Лескова, однако, только художественное средство — у большинства лесковских героев не было живых прототипов.

Писатель упоминает в своих произведениях подлинные исторические имена и события, создавая колорит достоверности. Этот «исторический» фон — также один из приемов художественного изображения в творчестве Лескова. Так, и оба императора, и атаман Платов в «Левше» действуют как вымышленные персонажи в соответствии с сюжетным планом произведения.

Именно рассказ о событии или «вымышленный мемуарный жанр» были определяющими в творчестве Лескова. Поэтому он, по словам Горького, «всегда где-то около читателя, близко к нему» [6] и как бы является непосредственным участником описываемых событий. В этом «искусном пле-

---

[1] М. Горький, Собр. соч., т. 26, стр. 90.
[2] Н. С. Лесков, Собр. соч., т. 11, стр. 348.
[3] М. Горький, Собр. соч., т. 24, стр. 236.
[4] Н. С. Лесков, Собр. соч., т. 11, стр. 229.
[5] Там же, т. 10, стр. 452.
[6] М. Горький, Собр. соч., т. 24, стр. 236.

тении нервного кружева разговорной речи»[1] и состоит вклад Лескова в искусство художественного слова.

В ряде произведений 80—90-х годов Лесков изображает жизнь дореформенной, крепостнической России.

В известном рассказе «Тупейный художник» (1883) история крепостных актеров напоминает сюжет герценовской «Сороки-воровки».

Жанр «Тупейного художника» совершенно своеобразный. Это рассказ, написанный в сатирико-элегических тонах. На элегический тон настраивает читателя уже подзаголовок: «Рассказ на могиле». Эпиграф усиливает это впечатление: «Души их во благих водворятся...». Трагическая судьба крепостного художника-гримера Аркадия и актрисы Любови Онисимовны должна подтвердить основную мысль автора: «простых людей ведь надо беречь, простые люди все ведь страдатели».

В «Тупейном художнике» Лесков выступает как социальный сатирик, подымаясь до уровня лучших произведений «гоголевского» литературного направления.

Вместе с тем Лесков умел жизненный факт облечь в такую художественную форму, что он становился фактом искусства.

«Можно сделать правду столь же, даже более занимательной, чем вымысел, и вы это прекрасно умеете делать»[2],— говорил ему Л. Н. Толстой.

Характерен в этом отношении рассказ «Человек на часах», в котором изображены бессмысленность и бесчеловечность порядков, деспотический режим Николая I.

Несмотря на то что в рассказе описан действительный случай и названы подлинные имена участников и очевидцев события,— это не историческая хроника.

Солдат Постников — «лесковский» герой, которого сам писатель отнес к типу «праведников»[3].

Показывая внутреннюю борьбу и победу чувства человечности над чувством долга в душе Постникова, который, рискуя жизнью, спас тонущего, Лесков противопоставляет ему офицера, человека низкого и подлого, присвоившего себе славу и честь солдатского подвига.

Парадоксальность и «анекдотичность» описываемого случая состоит в том, что при явном для всех высоких чинов жульничестве офицер инвалидной команды получает награду «за спасение утопающих», а подлинный герой — двести розог.

Писатель с иронией говорит о том, что и «владыка» и Свиньин, распорядившийся высечь Постникова, выглядят его «благодетелями», так как военный суд приговорил бы к шпицрутенам.

---

[1] М. Горький, Собр. соч., т. 24, стр. 236.

[2] Л. Н. Толстой о литературе. Статьи, письма, дневники. М., Гослитиздат, 1955, стр. 269—270.

[3] См. приложение к т. 8 Собр. соч. Н. С. Лескова, стр. 577.

В 80-х годах, используя сюжеты «житий» святых, апокрифы, Лесков создал серию легенд, занимающих своеобразное место в его творчестве.

Писатель коренным образом переосмысливает или создает заново характеры героев «житий». В таких легендах, как «Совестный Данила», «Скоморох Памфалон», «Прекрасная Аза», решаются нравственные, морально-этические и философские проблемы современной писателю действительности. Церковно-религиозные атрибуты создают лишь внешний фон, подобно историческим деталям в очерках и рассказах. Не вопросы веры, а размышления о смысле человеческой жизни и ее предназначении составляют содержание большинства легенд.

Насыщенные глубоким гуманистическим смыслом, легенды Лескова были своеобразной, завуалированной формой выражения общественных позиций писателя в условиях реакции 80-х годов.

«Проклятое бесправие литературы мешает раскрыть каторжные махинации ужасной реакции»,— писал Лесков И. Е. Репину 19 февраля 1889 года.

В последний период творчества Лесков стремился к более четкому определению своих общественных позиций.

Он увлечен какими-то сторонами «толстовства». «В размышлениях своих о душе человеческой и о боге я укрепился в том же направлении, и Лев Николаевич Толстой стал мне еще более близким единоверцем» [1],— пишет Лесков в 1891 году.

С начала 80-х годов Лесков все чаще называет в качестве образцовых для «общего освещения» работы европейских позитивистов Тэна, Брандеса, Карлейля [2]. Из русских последователей позитивизма ему особенно импонирует Пыпин.

Порой Лесков объединял в одном лагере людей, чьи взгляды были несовместимы, например Белинского, Чернышевского и Карлейля,— они, по словам писателя, «знают историю и видят, что «масса инертна», а успехи делаются немногими, способными идти вослед героев» [3].

В рассказе-очерке «Продукт природы» (1893), в котором изображены страшные картины бедствий крестьян-переселенцев, писатель явно преувеличивает значение расового фактора.

Лескова-художника выводит на верную дорогу чутье реалиста, великолепного знатока жизни народа. Он поднимается и над позитивизмом и над филантропией, показывая, что народ «остается в своем прежнем, ужасном положении».

---

[1] Н. С. Лесков, Собр. соч., т. 11, стр. 577.
[2] Там же, стр. 265.
[3] Там же, стр. 565.

В 90-е годы в творчестве писателя усиливаются сатирические мотивы.

«Административная грация» (1893), увидевшая свет лишь в 1934 году,— это политический памфлет, разоблачающий омерзительные методы, используемые жандармерией и церковью.

Рассказ «Зимний день» (1894) злободневен, наполнен живым, современным писателю материалом. В нем поставлено много актуальных проблем, волновавших общество в то время. Оправдывая подзаголовок («пейзаж и жанр»), Лесков рисует колоритные жанровые сцены, обнаруживая при этом блестящее мастерство диалога.

Долгий зимний день в богатом доме, наполненном до краев ложью, лицемерием, стяжательством, невежеством, мрачен, как ночь. Эпиграф из Иова вполне соответствует содержанию: «Днем они сретают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью».

Светская пустота и глупость разговоров дам, интриги и сплетни, борьба за наследство, разврат — все это с беспощадной правдивостью и злой иронией обнажается Лесковым.

«Дамам из общества» противостоит племянница хозяйки Лидия Павловна и служанка Феодора.

Феодора из «непротивленок». «Из нее торчит граф Толстой»,— говорит о ней хозяйка. Феодора бескорыстна, она не умеет лгать и уже поэтому обвиняется хозяевами в «узости» взглядов. Автор, сочувственно изображая Феодору, в то же время не идеализирует «толстовцев». Героиня рассказа Лидия Павловна замечает по поводу «толстовцев»: «...все говорят, говорят и говорят, а дела с воробьиный нос не делают».

В Лидии Павловне соединены черты «нигилистов» 60-х годов и современных Лескову народовольцев. Она образованна, умна, ведет себя независимо, лишена светских предрассудков.

Чем занимается Лидия Павловна, в рассказе не показано. «Ах, ее ученьям несть конца,— жалуется тетка,— и гимназия, и педагогия, и высшие курсы — все пройдено, и серьги из ушей вынуты, и корсет снят, и ходит девица во всей простоте».

Восприняв многое от толстовства, Лидия Павловна уже не удовлетворяется «непротивленством». Лесков не раскрывает сущности общественных интересов героини. Освоение наук и «малые дела» в народе — такой представляется практическая программа Лидии Павловны. Но это уже попытка дать образ «идущей в народ» героини. «Везде и во всем сквозит красная нитка»,— характеризует ее одна из приятельниц хозяйки дома.

Хотя автор не показывает деятельности новой молодежи, однако противопоставляет ее дворянским либералам, «сопротивленцам», которые «ни на черта не годны, кроме как с тарелок подачки лизать».

Одно из последних значительных произведений Лескова — сатирическая повесть «Заячий ремиз» (1894) при жизни писателя так и не увидела свет.

Речевая форма украинского сказа делает повесть похожей на рассказы пасечника в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя.

«В повести,— говорит автор,— есть «деликатная материя», но все, что щекотливо, очень тщательно маскировано и умышленно запутано. Колорит малороссийский и сумасшедший» [1].

Писатель употребляет запутанную форму изложения, чтобы смягчить сатирическую направленность повести.

«Писана эта штука манерою капризною, вроде повествований Гофмана или Стерна с отступлением и рикошетами. Сцена перенесена в Малороссию для того, что там особенно много было шутовства с «ловитвою потрясователей, або таких, що трон шатають» и с малороссийским юмором дело идет как будто глаже и невиннее» [2].

Одержимость идеей выискивания «потрясователей основ» с целью получения ордена приводит пристава Оноприя Перегуда в сумасшедший дом. «Верноподданный болван» становится «лейб-вязальщиком» чулок для бедных.

За сатирической историей «верноподданного болвана» встает трагическая картина жизни народа, замордованного темными дельцами и ретивыми чиновниками.

Лескову так и не удалось выработать определенной системы социально-философских убеждений. Он испытывал влияние то Л. Толстого, то позитивистов, то революционных демократов.

К Лескову в значительной мере могут быть применены слова Н. Чернышевского о Писемском. У него тоже не было «рациональной теории о том, каким образом должна была устроиться жизнь людей» [3].

По словам Горького, Лесков был вооружен «не книжным, а подлинным знанием народной живни. Он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется «душою народа» [4].

Его творчество оказало заметное воздействие на развитие русского реализма второй половины XIX века.

Сам Н. С. Лесков скромно оценивал свое место в истории русской литературы: «Мне кажется, что я в литературе занимаю такое место, какое занимал когда-то актер Зубров в труппе. Я — некоторая пригодность,— и только» [5].

Время внесло свои коррективы в эту оценку. Такие произведения Лескова, как «Соборяне», «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша», «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», вы-

---

[1] Н. С. Лесков, Собр. соч., т. 11, стр. 599.

[2] Там же, стр. 606.

[3] Н. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 4, М., Гослитиздат, 1948, стр. 571.

[4] М. Горький, Собр. соч., т. 24, стр. 228.

[5] Н. С. Лесков, Собр. соч., т. 11, стр. 511.

держали проверку временем. Автор их занял достойное место среди классиков русской литературы.

Лесков подошел к изображению жизни русского народа с такой стороны, с какой не подходил ни один из художников. В его творениях запечатлена вся глубинная Русь с неподражаемым колоритом ее жизни и быта. Своих героев — «очарованных странников» и «воительниц», «несмертельных» народолюбцев и «праведников», великих мастеров своего дела, подобных «Левше», Лесков нашел в самой гуще народа. Это лишь одна из сторон жизни России, но Лесков изобразил ее ярко, широко и светло, как она представлялась ему самому, большому, неповторимому художнику.

Л. КРУПЧАНОВ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

Очерк

Первую песенку зардевшись спеть.

Поговорка

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее *леди Макбет Мценского уезда.*

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы

были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уж лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны пятый год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которою он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча, и не то что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самое Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, бог весть как рада бы она была понянчиться с деточкой; а другое — и попреки ей надоели: «Чего шла да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, нерóдица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.

При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампады сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.

Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочивальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пеньку вешают или крупчатку ссыпают,— опять ей зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснется — опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя Киевского патерика, в доме их не было.

Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи и сам там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него, по крайней мере, одним командиром над ней стало меньше.

Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думая, да и стыдно ей наконец зевать стало. А на дворе погода такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.

«Что это я, в самом деле, раззевалась? — подумала Катерина Львовна.— Сем-ну я хоть встану по двору погуляю или в сад пройдусь».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.

На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.

— Чего это вы так радуетесь? — спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.

— А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали,— отвечал ей старый приказчик.

— Какую свинью?

— А вот свинью Аксинью, что родила сына Василья да не позвала нас на крестины,— смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиньи.

— Черти, дьяволы гладкие,— ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади.

— Восемь пудов до обеда тянет, а пихте́рь сена съест, так и

гирь недостанет,— опять объяснял красивый молодец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в угле кульё.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

— Ну-ка, а сколько во мне будет? — пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

— Три пуда семь фунтов,— отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму.— Диковина!

— Чему ж ты дивуешься?

— Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо — и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать.

— Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь,— ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.

— Ни боже мой! В Аравию счастливую занес бы,— отвечал ей Сергей на ее замечание.

— Не так ты, молодец, рассуждаешь,— говорил ссыпавший мужичок.— Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет — не тело!

— Да, я в девках страсть сильна была,— сказала, опять не утерпев, Катерина Львовна.— Меня даже мужчина не всякий одолевал.

— А ну-с, позвольте ручку, если как это правда,— попросил красивый молодец.

Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.

— Ой, пусти кольцо: больно! — вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.

Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.

— Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина,— удивился мужичок.

— Нет, а вы позвольте так взяться, на-борки,— относился, раскидывая кудри, Серега.

— Ну, берись,— ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.

Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было пошевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку.

Катерина Львовна не успела даже распорядиться своею хваленою силою. Красная-раскрасная, поправила она, сидя на мерке,

свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:

— Ну вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай, гребла́ не замай; будут вершки, наши лишки.

Будто как он и внимания не обратил на то, что́ сейчас было.

— Девичур этот проклятый Сережка! — рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья.— Всем вор взял — что ростом, что лицом, что красотой. Какую ты хочешь женчину, сейчас он ее, подлец, улестит, и улестит, и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!

— А ты, Аксинья... того,— говорила, идучи впереди ее, молодая хозяйка,— мальчик-то твой у тебя жив?

— Жив, матушка, жив — что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.

— И откуда это он у тебя?

— И-и! так, гулевой — на народе ведь живешь-то,— гулевой.

— Давно он у нас, этот молодец?

— Кто это? Сергей-то, что ли?

— Да.

— С месяц будет. У Копчоновых допреж служил, так прогнал его хозяин.— Аксинья понизила голос и досказала: — Сказывают, с самой с хозяйкой в любви был... Ведь вот, треанафемская его душа, какой смелый!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с попрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повече́рила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под сараи, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.

— Здравствуй,— тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.

— Сударыня! — произнес кто-то чрез две минуты у запертой двери Катерины Львовны.

— Кто это? — испугавшись, спросила Катерина Львовна.

— Не извольте пугаться: это я, Сергей,— отвечал приказчик.

— Что тебе, Сергей, нужно?

— Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти на минуту.

Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея.

— Что тебе? — спросила она, сама отходя к окошку.

— Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает.

— У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их,— отвечала Катерина Львовна.

— Такая скука,— жаловался Сергей.

— Чего тебе скучать!

— Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.

— Чего ж ты не женишься?

— Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности всё у нас, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них теперь как канарейка в клетке содержитесь.

— Да, мне скучно,— сорвалось у Катерины Львовны.

— Как не скучать, сударыня, в эдакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно.

— Ну это ты... не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало.

— Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь по купечеству глядючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было...

У Сергея задрожал голос.

— Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе...

— Нет, позвольте, сударыня,— произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне.— Знаю я, вижу и очень

даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете; ну только теперь,— произнес он одним придыханием,— теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти.

— Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь,— говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносною властью неописуемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.

— Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться? — развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.

— Ох! ох! пусти,— тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.

Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.

В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.

— Иди,— говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.

— Чего я таперича отсюдова пойду,— отвечал ей счастливым голосом Сергей.

— Свекор двери запрет.

— Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе, что от тебя — везде двери,— отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Зиновий Борисыч еще неделю не бывал дома, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуляла с Сергеем.

Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.

Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохонько спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и хвать молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.

— Сказывай,— говорит Борис Тимофеич,— где был, вор ты эдакой?

— А где был,— говорит,— там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету,— отвечал Сергей.

— У невестки ночевал?

— Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай: что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты, по крайности, позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения желаешь?

— Желаю я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить,— отвечал Борис Тимофеич.

— Моя вина — твоя воля,— согласился молодец.— Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь.

Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел.

Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном.

Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея»,— пришла она к свекру.

Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки.

— Что ты это, такая-сякая,— начал он срамить Катерину Львовну.

— Пусти,— говорит,— я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.

— Худого,— говорит,— не было! — а сам зубами так и скрипит.— А чем вы там с ним по ночам займались? Подушки мужнины перебивали?

А та все с своим пристает: пусти его да пусти.

— А коли так,— говорит Борис Тимофеич,— так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.

Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение его не состоялось.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком.

Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели; а свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за сто: посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.

Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что́ такое она себе задумала: ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдруг сразу прошло. «Зашла,— смекали,— у хозяйки с Сергеем алигория, да и только.— Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».

А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не для них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На дворе после обеда стоял пёклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и омаривает, так лицо потом и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала: «Самовар,— говорит,— под яблонью глохнет».

Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстющий-толстый... и усы как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел? — думает Катерина Львовна.— Сливки тут-то я на окне поставила: беспременно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его»,— решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот у нас взялся? — рассуждает в кошмаре Катерина Львовна.— Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?» — подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице — никакого кота нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.

Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить; а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер.

— Заспалась я,— говорила Аксинье Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущею яблонью чай пить.— И что это такое, Аксиньюшка, значит? — пытала она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.

— Что, матушка?

— Не то что во сне, а вот совсем вот наяву кот ко мне все какой-то лез.

— И, что ты это?

— Право, кот лез.

Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.

— И зачем тебе его было ласкать?

— Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.

— Чудно, право! — восклицала кухарка.

— Я и сама надивиться не могу.

— Это беспременно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.

— Да что ж такое именно?

— Ну *именно что* — уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, что́ именно, а только что-нибудь да будет.

— Месяц все во сне видела, а потом этот кот,— продолжала Катерина Львовна.

— Месяц — это младенец.

Катерина Львовна покраснела.

— Не спослать ли сюда к твоей милости Сергея? — попытала ее напрашивающаяся в наперсницы Аксинья.

— Ну что ж,— отвечала Катерина Львовна,— и то правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.

— То-то, я говорю, что послать его,— порешила Аксинья и закачалась уткою к садовой калитке.

Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.

— Мечтанье одно,— отвечал Сергей.

— С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

— Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим белым телом владею.

Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.

— Ух, голова закружилась,— заговорила Катерина Львовна.— Сережа! поди-ка сюда; сядь тут возле,— позвала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.

Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.

— А ты сох же по мне, Сережа?

— Как же не сох.

— Как же ты сох? Расскажи мне про это.

— Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.

— Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют.

Сергей промолчал.

— А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, как ты на галдарее пел,— продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

— Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости,— отвечал сухо Сергей.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея.

Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.

— Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! — воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц.

Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу

и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в воздухе стояло тихо; только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.

Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно глядел на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высоком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалившихся, старых соляных магазинов.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти прихотливые светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.

— Ах, Сережечка, прелесть-то какая! — воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна.

Сергей равнодушно повел глазами.

— Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?

— Что пустое говорить! — отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.

— Изменщик ты, Сережа,— ревновала Катерина Львовна,— необстоятельный.

— Я даже этих и слов на свой счет не принимаю,— отвечал спокойным тоном Сергей.

— Что ж ты меня так целуешь?

Сергей совсем промолчал.

— Это только мужья с женами,— продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна,— так друг дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так, вот,— шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его с страстным увлечением.

— Слушай, Сережа, чтó я тебе скажу,— начала Катерина



Леди Макбет Мценского уезда

Львовна спустя малое время,— с чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?

— Кому же это про меня брехать охота?

— Ну уж говорят люди.

— Может быть, когда и изменял тем, какие совсем нестоющие.

— А на что, дурак, с нестоющими связывался? с нестоющею не надо и любви иметь.

— Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблазн действует. Ты с нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь!

— Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня — живая не расстанусь.

Сергей встрепенулся.

— Да ведь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный! — заговорил он.— Ты сама посмотри, какое наше с тобою дело. Ты вон так теперь замечаешь, что я задумчив нонче, а не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло!

— Говори, говори, Сережа, свое горе.

— Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело, благослови господи, муж твой наедет, а ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Ильвовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается.

— Этого не будет! — весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

— Как так этого не будет! А я так понимаю, что совсем даже без этого вам невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.

— Да ну, полно тебе все об этом.

Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои поцелуи.

— А повторительно,— продолжал Сергей, тихонько высвобаживая свою голову из голых по плечи рук Катерины Львовны,— повторительно надо сказать и то, что состояние мое самое ничтожное тоже заставляет, может, не раз и не десять раз рас-

судить и так и иначе. Будь я, так скажу, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни в жизнь мою не расстался. Ну, а так сами вы посудите, что я за человек при вас есть? Видючи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это переносить в моем сердце и, может, даже сам для себя чрез то на целый век презренным человеком сделаться. Катерина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого все равно, абы ему от женчины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеею сосет мое сердце...

— Что ты это мне все про такое толкуешь? — перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергея.

— Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то? Как не толковать-то? Когда, может, все уж им объяснено и расписано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже самого завтрашнего числа Сергея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется?

— Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась,— успокоивала его все с теми же ласками Катерина Львовна.— Если только пойдет на что дело... либо ему, либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.

— Никак этого не может, Катерина Ильвовна, последовать,— отвечал Сергей, печально и грустно качая своею головою.— Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нешто это вам почет какой — полюбовницей быть? Я б хотел пред святым предвечным храмом мужем вам быть: так тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог бы, по крайности, публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю...

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на ней — желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастия; кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила:

— Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобою совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.

И опять пошли поцелуи да ласки.

Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилою старостью посмеяться; то хохот звонкий и веселый, словно кого озерные русалки щекочут. Все это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужниным приказчиком. Сыпался, сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться. А тем временем короткая летняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса, тусклее и тусклее; с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт; потом послышались плевок, сердитое фырканье, и вслед за тем два или три кота, оборвавшись, с шумом покатились по приставленному к крыше пуку теса.

— Пойдем спать,— сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по тихому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и нога ее спит и рука спит; но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась и на постель тяжелым осметком упал давишний кот.

— Да что же это в самом деле за наказание с этим котом? — рассуждает усталая Катерина Львовна.— Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла, окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину,— собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать.

«Нет,— думает она,— больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудреный какой-то этот кот ко мне повадился».

А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою да и выговаривает: «Какой же,— говорит,— я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрескались от неве-

стушкиного от угощения. С того,— мурлычит,— я весь вот и поубавился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне разумеет, что́ я такое есть в самом деле. Ну, как же нонче ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Я и с кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!»

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!

Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул; но у нее весь сон прошел — и кстати.

Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли,— должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. «Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому что дверь его запасным ключом отперта»,— подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.

— Слушай, Сережа,— сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступаючи, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни.

— Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут... не отходи далеко,— прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается.

Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лубком на галереечке.

Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стукает его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну.

«Ищи вчерашнего дня»,— думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем.

Это продолжалось минут десять; но наконец Зиновию Бори-

сычу надоело стоять за дверью да слушать, как жена спит: он постучался.

— Кто там? — не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.

— Свои,— отозвался Зиновий Борисыч.

— Это ты, Зиновий Борисыч?

— Ну я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель.

— Чтой-то перед зарей холодно становится,— произнесла она, укутываясь одеялом.

Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.

— Как живешь-можешь? — спросил он супругу.

— Ничего,— отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу.

— Самовар небось поставить? — спросила она.

— Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит.

Катерина Львовна нахватила нá босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку.

— Сиди тут,— шепнула она.

— Докуда же сидеть? — также шепотом спросил Сережа.

— О, да какой же ты бестолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.

А Сергею отсюда с галереи все слышно, чтó в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь и Катерина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до слова слышно.

— Что ты там возилась долго? — спрашивает жену Зиновий Борисыч.

— Самовар ставила,— отвечает она спокойно.

Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисыч вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны водою; вот спросил полотенце; опять начинаются речи.

— Ну как же это вы тятеньку схоронили? — осведомляется муж.

— Так,— говорит жена,— они померли, их и схоронили.

— И что это за удивительность такая!

— Бог его знает,— отвечала Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.

— Ну, а вы тут как свое время провождали? — расспрашивает опять жену Зиновий Борисыч.

— Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам не ездим и по театрам столько ж.

— А словно радости-то у вас и к мужу немного,— искоса поглядывая, заводил Зиновий Борисыч.

— Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума, без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия.

Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит: «Не зевай, Сережа!»

Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисыч стоит коленями на постели и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным снурочком.

— Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали? — как-то мудрено вдруг спросил он жену.

— А вас все дожидала,— спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна.

— И на том благодарим вас покорно... А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?

Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед жениными глазами.

Катерина Львовна нимало не задумалась.

— В саду,— говорит,— нашла да юбку себе подвязала.

— Да! — произнес с особым ударением Зиновий Борисыч,— мы тоже про ваши про юбки кое-что слыхали.

— Что ж это вы слыхали?

— Да всё про дела ваши про хорошие.

— Никаких моих дел таких нету.

— Ну, это мы разберем, все разберем,— отвечал, подвигая жене выпитую чашку, Зиновий Борисыч.

Катерина Львовна промолчала.

— Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все въявь произведем,— проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисыч, поведя на свою жену бровями.

— Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается,— ответила та.

— Что! что! — повыся голос, окрикнул Зиновий Борисыч.

— Ничего — проехали,— отвечала жена.

— Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно речиста здесь стала!

— А с чего мне и речистой не быть? — отозвалась Катерина Львовна.

— Больше бы за собой смотрела.

— Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие наругательства сносить! Вот еще новости тоже!

— Не длинные языки, а тут верно про ваши амуры-то известно.

— Про какие такие мои амуры? — крикнула, непритворно вспыхнув, Катерина Львовна.

— Знаю я, про какие.

— А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте!

Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул жене пустую чашку.

— Видно, и говорить-то не про что,— отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюдце мужу чайную ложечку.— Ну сказывайте, ну про кого вам доносили? кто такой есть мой перед вами полюбовник?

— Узнаете, не спешите очень.

— Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?

— Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал и снять никто не может... Сами заговорите...

— И-их! терпеть я этого не могу,— скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, побледнев как полотно, неожиданно выскочила за двери.

— Ну вот он,— произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея.— Расспрашивайте и его и меня, что́ вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что́ тебе хочется?

Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолки Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели, и ничего не понимал, к чему это близится.

— Что ты это, змея, делаешь? — насилу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.

— Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо,— отвечала дерзко Катерина Львовна.— Ты меня бойлом задумал пужать,— продолжала она, значительно моргнув глазами,— так не бывать же тому никогда; а что я, может, и допреж твоих этих обещаниев знала, что́ над тобой сделать, так я то сделаю.

— Что это? вон! — крикнул Зиновий Борисыч на Сергея.

— Как же! — передразнила Катерина Львовна.

Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.

— Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик,— поманила она к себе приказчика.

Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хозяйки.

— Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж вы это, варвары?! — вскрикнул, весь побагровев и поднимаясь с кресла, Зиновий Борисыч.

— Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясмен сокóл, каково прекрасно!

Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже.

В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина, и Зиновий Борисыч кинулся к открытому окошку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— А... а, так-то!.. ну, приятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась! — вскрикнула Катерина Львовна.— Ну теперь, видно уж... будь же по-моему, а не по-твоему...

Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась к мужу и, прежде чем Зиновий Борисыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол.

Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисыч совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло.

Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу коленом.

— Подержи его,— шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу.

Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен

свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь, закусил зубами его горло. Но это было ненадолго: Зиновий Борисыч тотчас же тяжело застонал и уронил голову.

Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником; в ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелою частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая кровь.

— Попа,— тупо простонал Зиновий Борисыч, с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея.— Исповедаться,— произнес он еще невнятнее, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь.

— Хорош и так будешь,— прошептала Катерина Львовна.— Ну полно с ним копаться,— сказала она Сергею,— перехвати ему хорошенько горло.

Зиновий Борисыч захрипел.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно, будет с него».

Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.

Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирал самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалкою с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисычем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа.

Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку.

— Ну-ка, свети,— сказала она Сергею, идучи к двери.— Ниже, ниже свети,— говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы.

Только на двух местах на крашеном полу были два крошечные пятнышка величиною в вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли.

— Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкарауливай,— про-

изнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой.

— Теперь шабаш,— сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса.

Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны.

По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу.

— Ну вот ты теперь и купец,— сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки.

Сергей ничего ей не ответил.

Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сергей ходил, замотав горло пунсовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать. Присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведет: «Чтой-то, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисыч был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно: не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кисý и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались.

Пропал Зиновий Борисыч, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как в воду канул. По показанию арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сер-

геем, по вдовьему положению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисыч то там, то там, а Зиновий Борисыч все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно.

Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости.

— Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня наследник,— сказала она Сергею и пошла жаловаться Думе, что так и так, она чувствует себя, что — беременна, а в делах застой начался; пусть ее ко всему допустят.

Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.

Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уже Сергеем Филипычем стали звать; а тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеич торговал не на весь свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац — из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком.

— Я,— говорит,— покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это — мой племянник Федор Лямин.

Катерина Львовна их приняла.

Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приезжим, побледнел как плат.

— Чего ты? — спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.

— Ничего,— отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик.— Думаю, сколь эти Ливны дивны,— договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.

— Ну, а как же теперь быть? — спрашивал Катерину Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею ночью за самоваром.— Теперь, Катерина Ильвовна, выходит все наше с вами дело прах.

— Отчего так прах, Сережа?

— Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?

— Неш с тебя, Сережа, мало будет?

— Да не о том, что с меня; а я в тем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.

— Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?

— Потому как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допреж сего жили,— отвечал Сергей Филипыч.— А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти.

— Да неш мне это, Сережечка, нужно?

— Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу.

И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастью их конца-меры не будет.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как же это? за что, в самом деле, должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла,— думает Катерина Львовна,— а он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек, а то дитя, мальчик...»

На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все нерóдица была, все худела да чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.

— Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын! — кричит, бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья.— Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться?

А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предме-

том, побрыкивал себе безмятежным козликом и еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастья.

Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.

Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит.

— Потрудись,— скажет,— Катеринушка, ты, мать, сама человек грузный, сама суда божьего ждешь; потрудись.

Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болезни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.

Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уж обмогался.

Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.

— Что ты это читаешь, Федя? — спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.

— Житие, тетенька, читаю.

— Занятно?

— Очень, тетенька, занятно.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.

«А ведь что,— думалось Катерине Львовне,— ведь больной он; лекарство ему дают... мало ли что в болезни... Только всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил».

— Пора тебе, Федя, лекарства?

— Пожалуйте, тетенька,— отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил: — очень занятно, тетенька, это о святых описывается.

— Ну читай,— проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах.

— Надо окна велеть закрыть,— сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела.

Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком.

— Закрыли окна? — спросила его Катерина Львовна.

— Закрыли,— отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки.

Водворилось молчание.

— Нонче всенощная не скоро кончится? — спросила Катерина Львовна.

— Праздник большой завтра: долго будут служить,— отвечал Сергей.

Опять вышла пауза.

— Сходить к Феде: он там один,— произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

— Один? — спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.

— Один,— отвечала она ему шепотом,— а что?

И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова.

Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампады спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:

— Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, с образника, пожалуйте.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

— Ты не заснул ли бы, Федя?

— Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

— Чего тебе ее ждать?

— Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.

Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки.

— Ну! — шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.

— Что? — спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.

— Он один.

Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.

— Пойдем,— порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.

Сергей быстро снял сапоги и спросил:

— Что ж взять?

— Ничего,— одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина Львовна.

— Что ты, Федя?

— Ох, я, тетенька, чего-то испугался,— отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.

— Чего ж ты испугался?

— Да кто это с вами шел, тетенька?

— Где? Никто со мной, миленький, не шел.

— Никто?

Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился.

— Это мне, верно, так показалось,— сказал он.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.

Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.

В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.

— Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал богу-то.

Катерина Львовна стояла молча.

— Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю? — ласкался к ней племянник.

— Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю,— ответила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

В гостиной послышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.

— Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь? — вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик.— Идите сюда, тетенька: я боюсь,— еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе.

— Чего боишься? — несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом.— Ляг,— сказала она ему вслед за этим.

— Я, тетенька, не хочу.

— Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг,— повторила Катерина Львовна.

— Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.

— Нет, ты ложись, ложись,— проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.

В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидал входящего бледного, босого Сергея.

Катерина Львовна захватила своею ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:

— А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!

Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее своей крепкой, упругой грудью.

Минуты четыре в комнате было могильное молчание.

— Кончился,— прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привесть все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями.

Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то наемные силы колыхали грешный дом до основания.

Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.

Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.

— Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! — бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою сбитую им с ног Катерину Львовну.

— Где? — спросила она.

— Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай! — закричал Сергей,— гремит, опять гремит.

Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.

— Дурак! вставай, дурак! — крикнула Катерина Львовна и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.

Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий забор целыми рядами

перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.

Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

А вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двунадесятый праздник во всех церквах хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом тоже из любителей вокального искусства.

Наш народ набожный, к церкви божией рачительный и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное, «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, с заводов и сами хозяева с своими половинами,— все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пёклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки [1].

В приходской церкви измайловского дома был престол в честь введения во храм пресвятыя богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.

Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.

— А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают,— заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу,— сказывают,— говорил он,— будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут...

— Это уж всем известно,— отвечал тулуп, крытый синей нанкой.— Ее нонче и в церкви, знать, не было.

---

[1] В Орловской губернии певчие так называют форшляги. *(Прим. автора.)*

— Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни бога, ни совести, ни глаз людских не боится.

— А ишь, у них вот светится,— заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями.

— Глянь-ка в щелочку, что там делают? — цыкнули несколько голосов.

Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:

— Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!

И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек десять последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками.

Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада измайловского дома.

— Видел сам, собственными моими глазами видел,— свидетельствовал над мертвым Федею машинист,— младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.

Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых.

В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о Страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «Я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала:

— Если ему охота была это сказывать, так мне запираться нечего: я убила.

— Для чего же? — спрашивали ее.

— Для него,— отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.

Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине.

Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» — и, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы повалилась грудью на жесткую койку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще, по народной пословице, «ярко светило, да не тепло грело».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакою своею частию на ребенка.

Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться с своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменый Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.

Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает, и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости; но Катерине Львовне не к чему было и приспосабливаться: она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастием.

Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.

Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как оторвет; тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:

— Ты замест того, чтоб углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.

— Четвертачок всего, Сереженька, я дала,— оправдывалась Катерина Львовна.

— А четвертачок неш не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж, чай, немало.

— Зато же, Сережа, видались.

— Ну, легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклял бы, а не то что свидание.

— А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.

— Глупости все это,— отвечал Сергей.

Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.

Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партиею, следовавшею в Сибирь с московского тракта.

В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица: одна — солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как таинственной фатой завешенными густыми ресницами; а другая — семнадцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядинной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.

Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.

— Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее обиды нет,— говорили шутя арестанты в один голос.

Но Сонетка была совсем в другом роде.

Об этой говорили:

— Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается.

Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантною, пряною приправою, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь: «прочь поди» и которая знает только одно, что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах.

Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для последней трагическое значение.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

С первых же дней вместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет: «беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте слабо освещенном слепою плошкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот.

— Ишь жируют,— буркнул провожатый Катерины Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в уголочек и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого женского лица.

— Кто это? — спросил вполголоса Сергей.

— А ты чего тут? с кем ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.

Из мужской камеры раздался дружный хохот.

— Злодей! — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги.

Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул:

— Цыц!

Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его» — и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у *той* под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи.

Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи.

— Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку,— побудила ее утром солдатка Фиона.

— А, так это ты?..

— Отдай, пожалуйста!

— А ты зачем разлучаешь?

— Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес, в самом деле, чтоб сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке.

Ей стало легче.

— Тьпфу,— сказала она себе,— неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно.

— А ты, Катерина Ильвовна, вот что,— говорил, идучи назавтра дорогою, Сергей,— ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: так ты не пышись, сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.

Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем.

Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой Сонеткой. То раскланивается ей «с нашим особенным», то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит.

«Уж помириться бы мне с ним, что ли?» — рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за Сонеткой, и уж всем сдается, что недоступная Сонетка, которая все вьюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала.

— Вот ты на меня плакалась,— сказала как-то Катерине Львовне Фиона,— а я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.

«Пропади она, эта моя гордость; непременно нонче же помирюсь»,— решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение.

Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.

— Ильвовна! — позвал он ее на привале.— Выдь ты нонче ко мне на минуточку ночью: дело есть.

Катерина Львовна промолчала.

— Что ж, может, сердишься еще — не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не ответила.

Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеек, собранных от мирского подаяния.

— Как только соберу, я вам додам гривну,— упрашивала Катерина Львовна.

Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:

— Ладно.

Сергей, когда кончились эти переговоры, крякнул и подмигнул Сонетке.

— Ах ты, Катерина Ильвовна! — говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома.— Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.

Катерина Львовна и краснела и задыхалась от счастья.

Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и выскочила: дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору.

— Катя моя! — произнес, обняв ее, Сергей.

— Ах ты, злодей ты мой! — сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами.

Часовой ходил по коридору, и, останавливаясь, плевал на свои

сапоги, и ходил снова, за дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски друг перед другом, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.

— Смерть больно: от самой от щиколотки до самого колена кости так и гудут,— жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора.

— Что же делать-то, Сережечка? — расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.

— Нешто только в лазарет в Казани попрошусь?

— Ох, чтой-то ты, Сережа?

— А что ж, когда смерть моя больно.

— Как же ты останешься, а меня погонят?

— А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается. Разве когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще,— проговорил Сергей спустя минуту.

— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

— Ну, на что! — отвечал Сергей.

Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парою толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.

— Эдак теперь ничего будет,— произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула.

Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Сонетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветно встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно; все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками.

Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая; только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали.

На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза.

Сергей хотел на нее броситься; но его удержали.

— Погоди ж ты! — произнес он и обтерся.

— Ничего, однако, отважно она с тобой поступает,— трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсем в ее вкусе.

— Ну, это ж тебе так не пройдет,— грозился Катерине Львовне Сергей.

Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитою душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека.

С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одною суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха: на плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки.

— Пятьдесят,— сосчитал наконец один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: никого не было; только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Сонетки.

Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь подхватившей ее Фионы.

На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны: они обе были сравнены в цене и обе брошены.

Они равны!.. подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку.

Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают скован-

ные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татарином.

Все скучились, потом выравнялись кое в какой порядок и пошли.

Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет.

В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри».

Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.

— Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром здоровье? — нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала.

С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, покрыл ее своею полою и запел высоким фальцетом:

> За окном в тени мелькает русая головка.
> Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.
> Я полой тебя прикрою, так что не заметят.

При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко поцеловал ее при всей партии...

Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали поталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой. Она стала предметом насмешек.

— Не троньте ее,— заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающеюся Катериной Львовною.— Нешто не видите, черти, что женщина больна совсем?

— Должно, ножки промочила,— острил молодой арестант.

— Известно, купеческого роду: воспитания нежного,— отозвался Сергей.

— Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще,— продолжал он.

Катерина Львовна словно проснулась.

— Змей подлый! — произнесла она, не стерпев,— насмехайся, подлец, насмехайся!

— Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот Сонетка чулки больно гожие продает, так я только думал: не купит ли, мол, наша купчиха.

Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат.

Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса — Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны.

Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома.

Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала размещать арестантов.

— На этом пароме, сказывают, кто-то водку держит,— заметил какой-то арестант, когда осыпаемый хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки.

— Да, теперь ба точно безделицу пропустить ничего,— отзывался Сергей и, преследуя для Сонеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: — Купчиха, а ну-ко по старой дружбе угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дьяков на вечный спокой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела как в огне; зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены в ходящие волны.

— Ну, а водочки и я б уж выпила: мочи нет холодно,— прозвенела Сонетка.

— Купчиха, да угости, что ль! — мозолил Сергей.

— Эх ты, совесть! — выговорила Фиона, качая с упреком головою.

— Не к чести твоей совсем это,— поддержал солдатку арестантик Гордюшка.

— Хушь бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился.

— Ну ты, мирская табакерка! — крикнул на Фиону Сергей.— Тоже — совеститься! Что мне тут еще совеститься! я ее, может, и никогда не любил, а теперь... да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной: так что ж ты мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку косоротого любит; а то...— он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил: — а то вон еще лучше к этапному пусть поластится: у него под буркой, по крайности, дождем не пробирает.

— И все б офицершей звать стали,— прозвенела Сонетка.

— Да как же!.. и на чулочки-то б шутя бы достала,— поддержал Сергей.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут: «как мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту — и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома.

Все окаменели от изумления.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула; другая волна вынесла Сонетку.

— Багор! бросай багор! — закричали на пароме.

Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались.

<1864>

ВОИТЕЛЬНИЦА

Очерк

Вся жизнь моя была досель
Нравоучительною школой,
И смерть есть новый в ней урок.

Ап. Майков

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты, батюшка мой, со мной, сделай милость, не спорь!

— Да отчего это, Домна Платоновна, не спорить-то? Что вы это, в самом деле, за привычку себе взяли, что никто против вас уж и слова не смей пикнуть?

— Нет, это не я, а вы-то все что себе за привычки позволяете, что обо всем сейчас готовы спорить! Погоди еще, брат, поживи с мое, да тогда и спорь; а пока человек жил мало или всех петербургских обстоятельств как следует не понимает, так ему — мой совет — сидеть да слушать, чтó говорят другие, которые постарше и эти обстоятельства знают.

Этак каждый раз останавливала меня моя добрая приятельница, кружевница Домна Платоновна, когда я в чем-нибудь не соглашался с ее мнениями о свете и людях. Этак же она останавливала и всякого другого из своих знакомых, если кто из них как-нибудь дерзал выражать какие-нибудь свои замечания, несогласные с убеждениями Домны Платоновны. А знакомство у Домны Платоновны было самое обширное, по собственному ее выражению даже «необъятное», и притом самое разнокалиберное. Приказчики, графы, князья, камер-лакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые — словом, всякого звания и всякой породы были у Домны Платоновны знакомые, а что про женский пол, так о нем и говорить нечего. Домна Платоновна женским полом даже никогда не хвалилась.

— Женский пол,— говорила она, когда так уже к слову выпадет,— мне вот как он мне весь известен!

При этом Домна Платоновна сожмет, бывало, горсть и показывает.

— Вот он,— говорит,— женский-то пол где у меня, весь в одном суставе сидит.

Столь обширное и разнообразное знакомство Домны Платоновны, составленное ею в таком городе, как Петербург, было для мно-

гих предметом крайнего удивления, и эти многие даже с некоторым благоговейным страхом спрашивали:

— Домна Платоновна! как это вы, матушка?..

— Что такое?

— Да что — вы со всеми знакомы?

— Да, мой друг, со всеми; почти решительно со всеми.

— Какими же это случаями и по какой причине...

— А все своей простотой, решительно одной простотой,— отвечает Домна Платоновна.

— Будто одной простотой!

— Да, друг мой, все меня любят, потому что я проста необыкновенно, и через эту свою простоту да через добрость много я на свете видела всякого горя; много я обид приняла; много клеветы всяческой оттерпела и не раз даже, сказать тебе, была бита, чтобы так не очень бита, но в конце всего люди любят.

— Ну, уж за то же и свет вы хорошо знаете.

— А уж что, мой друг, свет этот подлый я знаю, так точно знаю. На ладонке вот теперь, кажется, каждую шельму вижу. Только опять тебе скажу — нет...— добавит, смущаясь и задумываясь, Домна Платоновна.

— Что ж еще такое?

— А то, друг мой,— отвечает она, вздохнувши,— что нынче все новое выдумывают, и еще больше всякий человек ухитряется.

— Как же и чем он ухитряется, Домна Платоновна?

— А так и ухитряется, что ты его нынче, человека-то, с головы поймаешь, а он, гляди, к тебе с ног подходит. Удивительно это даже, ей-богу, как это сколько пошло обманов да выдумок: один так выдумывает, а другой еще лучше того превзойти хочет.

— Будто уж таки везде один обман на свете, Домна Платоновна?

— Да уж нечего тебе со мною спорить: на чем же, по-твоему, нынешний свет-то стоит? — на обмане да на лукавстве.

— Ну есть же все-таки и добрые люди на свете.

— На кладбищах, между родителей, может быть, есть и добрые; ну, только проку-то по них мало; а что уж из живой-то из всей нынешней сволочи — все одно качество: отврат да и только.

— Что ж это так, Домна Платоновна, по-вашему выходит, что всё уж теперь плут на плуте и никому уж и верить нельзя?

— А ведь это, батюшка, никому не запрещено, верить-то; верь, сделай одолжение, если тебя охота берет. Я вон генеральше Шемельфеник верила; двадцать семь аршин кружевов ей поверила, да пришла анамедни, говорю: «Старый должок, ваше превосходительство, позвольте получить», а она говорит: «Я тебе отдала».— «Никак нет,— говорю,— никогда я от вас этих денег не

получала», а она еще как крикнет: «Как ты,— говорит,— смеешь, мерзавка, мне так отвечать? Вон ее!» — говорит. Лакей меня сейчас ту ж минуту под ручки, да и на солнышко, да еще штучку кружевцов там позабыла (спасибо, дешевенькие). Вот ты им и верь.

— Ну, что ж,— говорю,— ведь это одна ж такая!

— Одна! нет, батюшка, не одна, а легион им имя-то сказывается. Это ведь в первые времена-то, как крестьяне у дворян были, ну точно, что в тогдашнее время воровство будто до низкого сословия все больше принадлежало; а как нонче, когда крестьян не стало, господа и сами тоже этим ничуть не гнушаются. Всем ведь известно, какое лицо на бале бриллиантовое колью сфендрил... Да, милый, да, нынче никто не спускает. Вон тоже Караулова Авдотья Петровна, поглядеть на нее, чем не барыня? а воротничок на даче у меня в глазах украла.

— Как,— говорю,— украла? Что вы это! Матушка Домна Платоновна, вспомните, что́ вы говорите-то? Как это даме красть?

— А так себе просто; как крадут, так и украла. Еще ты то скажи, что я это ту ж самую минуту заметила и вежливо, политично ей говорю: «Извините,— говорю,— сударыня, не обронила ли я здесь воротничка, потому что воротничка,— говорю,— одного нет». Так она сейчас на эти слова хвать меня по наружности и отпечатала. «Вывесть ее!» — говорит лакею; очень просто — и вывели. Говорю лакею: «Милостивый государь! сам ты,— говорю,— служащий человек, сам,— сказываю,— посуди, голубчик, ведь свое, ведь жалко мне!» А он мне в ответ: «Что,— говорит,— жалко, когда у нее привычка такая!» Вот тебе только всего и сказу. Она теперь в своем звании всякие привычки себе позволяет, а ты, бедный человек, молчи.

— И что же вы изо всего этого, Домна Платоновна, выводите?

— А что, батюшка, мне выводить! Не мое дело никого выводить, когда меня самое выводят; а что народ плут и весь плутом взялся, против этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь, потому я уж, слава тебе господи, я нонче только взгляну на человека, так вижу, что он в себе замыкает.

И попробовали бы вы после этого Домне Платоновне возражать! Нет, уж какой вы там ни будьте диалектик, а уж Домна Платоновна вас все-таки переспорит; ничем ее не убедите. Одно разве: приказали бы ее вывести, ну, тогда другое дело, а то непременно переспорит.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я непременно должен отрекомендовать моим читателям Домну Платоновну как можно подробнее.

Домна Платоновна росту невысокого, и даже очень невысо-

кого, а скорее совсем низенькая, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит оттого, что Домна Платоновна, как говорят, впоперек себя шире, и чем вверх не доросла, тем вширь берет. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не помнит и на вид она гора горою ходит; одна грудь так такое из себя представляет, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется.

— Дама я,— говорит,— из себя хотя, точно, полная, по настоящей крепости во мне, как в других прочих, никакой нет, и сон у меня самый страшный сон — аридов. Чуть я лягу, сейчас он меня оморит, и хоть ты после этого возьми меня да воробьям на пугало выставь, пока вволю не высплюсь — ничего не почувствую.

Могучий сон свой Домна Платоновна также считала одним из недугов своего полного тела и, как ниже увидим, немало от него перенесла горестей и несчастий.

Домна Платоновна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские капли, которые называла «гаремскими каплями» и пузыречек с которыми постоянно носила в правом кармане своего шелкового капота. Лет Домне Платоновне, по ее собственному показанию, все вертелось около сорока пяти, но по свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более сорока. Волосы у Домны Платоновны в пору первого моего с нею знакомства были темно-коричневые — седого тогда еще ни одного не было заметно. Лицо у нее белое, щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем, Домна Платоновна не довольствуется и еще покупает в Пассаже, по верхней галерее, такие французские карточки, которыми усиливает свой природный румянец, не поддавшийся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и туманам. Брови у Домны Платоновны словно как будто из черного атласа наложены: черны несказанно и блестят ненатуральным блеском, потому что Домна Платоновна сильно наводит их черным фиксатуаром и вытягивает между пальчиками в шнурочек. Глаза у нее как есть две черные сливы, окрапленные возбудительною утреннею росою. Один наш общий знакомый, пленный турок Испулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Так, бывало, и заколотится, как бесноватый, так и закричит:

— Ай грецкая глаза, совсем грецкая!

Другая на месте Домны Платоновны, разумеется, за честь бы себе такой отзыв поставила; но Домна Платоновна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхождение.




Очарованный странник

— Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка ты пузастая! — отвечает она, бывало, весело турку.— Я своего собственного поколения известного; да и у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет, и никогда их там не было.

Нос у Домны Платоновны был не нос, а носик, такой небольшой, стройненький и пряменький, какие только ошибкой иногда зарождаются на Оке и на Зуше. Рот у нее был-таки великонек: видно было, что круглою ложкою в детстве кушала; но рот был приятный, такой свеженький, очертание правильное, губки алые, зубы как из молодой редьки вырезаны — одним словом, даже и не на острове необитаемом, а еще даже и среди града многолюдного с Домной Платоновной поцеловаться охотнику до поцелуев было весьма незлоключительно. Но высшую прелесть лица Домны Платоновны, бесспорно, составляли ее персиковый подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское, что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить: как таки, при этой бездне простодушия, разлитой по всему лицу Домны Платоновны, с языка ее постоянно не сходит речь о людском ехидстве и злобе? — так вы бы непременно сказали себе: будь ты, однако, Домна Платоновна, совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне по твоей милости задачи приходят!

Нрава Домна Платоновна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно-суеверного. Характер у нее был мягкий и сговорчивый; натура в основании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется, была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавинка. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вечно суетилась, вечно куда-то бежала, о чем-то думала, что-то такое соображала или приводила в исполнение.

— На свете я живу одним-одна, одною своею душенькой, ну а все-таки жизнь, для своего пропитания, веду самую прекратительную,— говорила Домна Платоновна.— Мычусь я, как угорелая кошка по базару; и если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловят.

— Всех дел ведь сразу не переделаете,— скажешь ей, бывало.

— Ну, всех, хоть не всех,— отвечает,— а все же ведь ужасно это как, я тебе скажу, отяготительно, а пока что прощай — до свиданья: люди ждут, в семи местах ждут,— и сама действительно так и побежит скороходью.

Домна Платоновна нередко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единого пропитания и что отяготительные труды ее и ее прекратительная жизнь могли бы быть значительно облегчены без всякого ущерба ее прямым интересам; но никак она не могла воздержать свою хлопотливость.

— Завистна уж я очень на дело; сердце мое даже взыграет, как вижу дело какое есть.

Завистна Домна Платоновна именно была только на хлопоты, а не на плату. К заработку своему, напротив, она иногда относилась с каким-то удивительным равнодушием.

«Обманул, варвар!» или «обманула, варварка!», бывало, только от нее и слышишь, а глядишь, уж и опять она бегает и распинается для того же варвара и для той же варварки, вперед предсказывая самой себе, что они и опять непременно надуют.

Хлопоты у Домны Платоновны были самые разнообразные. Официально она точно была только кружевница, то есть мещанки, бедные купчихи и поповны насылали ей «из своего места» разные воротнички, кружева и манжеты: она продавала эти произведения вразнос по Петербургу, а летом по дачам, и вырученные деньги, за удержанием своих процентов и лишков высылала «в свое место». Но, кроме кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще другие приватные дела, при орудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида.

Домна Платоновна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам; находила покупщиков на мебель, на надеванные дамские платья; отыскивала деньги под заклады и без закладов; ставила людей на места вкупно от гувернерских до дворнических и лакейских; заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием.

Но, несмотря на все свое досужество и связи, Домна Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она в достатке, одевалась, по собственному ее выражению, «пова́жно» и в куске себе не отказывала, но денег все-таки не имела, потому что, во-первых, очень она зарывалась своей завистностью к хлопотам и часто ее добрые люди обманывали, а потом и с самыми деньгами у нее выходили какие-то мудреные оказии.

Главное дело, что Домна Платоновна была художница — увлекалась своими произведениями. Хотя она рассказывала, что все это она трудится из-за хлеба насущного, но все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дело как артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих — вот что было главное, и за этим просматривались и деньги и всякие другие выгоды, которых особа более реалистическая ни за что бы не просмотрела.

Впала в свою колею Домна Платоновна ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряжении с этим промыслом каких бы то ни было других занятий: но

столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я знавал драгоценную Домну Платоновну.

Стала Домна Платоновна смекать на все стороны и проникать всюду. Пошло это у нее так, что не проникнуть куда бы то ни было Домне Платоновне было даже невозможно: всегда у нее на рученьке вышитый саквояж с кружевами, сама она в новеньком шелковом капоте; на шее кружевной воротничок с большими городками, на плечах голубая французская шаль с белою каймою; в свободной руке белый, как кипень, голландский платочек, а на голове либо фиолетовая, либо серизовая гроденаплевая повязочка, ну, одним словом, прелесть дама. А лицо! — само смиренство и благочестие. Лицом своим Домна Платоновна умела владеть, как ей угодно.

— Без этого,— говорила она,— никак в нашем деле и невозможно: надо виду не показать, что ты Ананья или каналья.

К тому же и обращение у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а выразится, что «имела я, сударь, счастие вчера быть в бестелесном маскараде»; о беременной женщине ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет: «она в своем марьяжном интересе», и тому подобное.

Вообще была дама с обращением и, где следовало, умела задать тону своей образованностью. Но, при всем этом, надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. По узости политического горизонта Домны Платоновны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она считала себя обязанною хвалить всем Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека «из своего места».

— Скажи ты мне,— говорила она,— что это такое значит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из своего места, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна?

Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба удивляемся:

— Отчего это в самом деле?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мое знакомство с Домной Платоновной началось по пустому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полковницы, которая говорила на шести европейских языках, не считая польского, на

который она сбивалась со всякого. Домна Платоновна знала ужасно много таких полковниц в Петербурге и почти для всех их обделывала самые разнообразные делишки: сердечные, карманные и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковница была, впрочем, действительно дама образованная, знала свет, держала себя как нельзя приличнее, умела представить, что уважает в людях их прямые человеческие достоинства, много читала, приходила в неподдельный восторг от поэтов и любила декламировать из «Марии» Мальчевского:

Bo na tym świecie śmierć wszystko zmiecie,
Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie[1].

Я видел Домну Платоновну первый раз у своей полковницы. Дело было вечером; я сидел и пил чай, а полковница декламировала мне:

Bo na tym świecie śmierć wszystko zmiecie,
Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie.

Домна Платоновна вошла, помолилась богу, у самых дверей поклонилась на все стороны (хотя, кроме нас двух, в комнате никого и не было), положила на стол свой саквояж и сказала:

— Ну вот, мир вам, и я к вам!

В этот раз на Домне Платоновне был шелковый коричневый капот, воротничок с язычками, голубая французская шаль и серизовая гроденаплевая повязочка, словом весь ее мундир, в котором читатели и имеют представлять ее теперь своему художественному воображению.

Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же время при появлении ее будто немножко покраснела, но приветствовала Домну Платоновну дружески, хотя и с немалым тактом.

— Что это вас давно не видно было, Домна Платоновна? — спрашивала ее полковница.

— Всё, матушка, дела,— отвечала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платоновна.

— Какие у вас дела!

— Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третьей, всем вам кортит, всем и угодить надо; вот тебе и дела.

— Ну, а то дело, о котором ты меня просила-то, помнишь...— начала Домна Платоновна, хлебнув чайку.— Была я намедни... и говорила...

Я встал проститься и ушел.

Только всего и встречи моей было с Домной Платоновной. Ка-

---

[1] Потому что на этом свете смерть все уничтожит,
И в пышном цветке гнездится червяк. *(Перевод автора.)*

жется, знакомству бы с этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось.

Сижу я раз после этого случая дома, а кто-то стук-стук-стук в двери.

— Войдите,— отвечаю, не оборачиваясь.

Слышу, что-то широкое вползло и ворочается. Оглянулся — Домна Платоновна.

— Где ж,— говорит,— милостивый государь, у тебя здесь образ висит?

— Вон,— говорю,—в угле, над шторой.

— Польский образ или наш, христианский? — опять спрашивает, приподнимая потихоньку руку.

— Образ,— отвечаю,— кажется, русский.

Домна Платоновна покрыла глаза горсточкой, долго всматривалась в образ и наконец махнула рукою — дескать: «все равно!» — и помолилась.

— А узелочек мой,— говорит,— где можно положить? — и оглядывается.

— Положите,— говорю,— где вам понравится.

— Вот тут-то,— отвечает,— на диване его пока положу.

Положила саквояж на диван и сама села.

«Милый гость,— думаю себе,— бесцеремонливый».

— Этакие нынче образки маленькие,— начала Домна Платоновна,— в моду пошли, что ничего и не рассмотришь. Во всех это у аристократов всё маленькие образки. Как это нехорошо.

— Чем же это вам так не нравится?

— Да как же: ведь это, значит, они бога прячут, чтоб совсем и не найти его.

Я промолчал.

— Да право,— продолжала Домна Платоновна,— образ должен быть в свою меру.

— Какая же,— говорю,— мера, Домна Платоновна, на образ установлена? — и сам, знаете, вдруг стал чувствовать себя с ней как со старой знакомой.

— А как же! — возговорила Домна Платоновна,— посмотри-ка ты, милый друг, у купцов: у них всегда образ в своем виде, лампад и сияние... все это как должно. А это значит, господа сами от бога бежат, и бог от них далече. Вот нынче на святой была я у одной генеральши... и при мне камердинер ее входит и докладывает, что священники, говорит, пришли.

«Отказать»,— говорит.

«Зачем,— говорю ей,— не отказывайте — грех».

«Не люблю,— говорит,— я попов».

Ну что ж, ее, разумеется, воля; пожалуй себе отказывай, толь-

ко ведь ты не любишь посланного; а тебя и пославший любить не будет.

— Вон,— говорю,— какая вы, Домна Платоновна, рассудительная!

— А нельзя,— отвечает,— мой друг, нынче без рассуждения. Что ты сколько за эту комнату платишь?

— Двадцать пять рублей.

— Дорого.

— Да и мне кажется дорого.

— Да что ж,— говорит,— не переедешь?

— Так,— говорю,— возиться не хочется.

— Хозяйка хороша.

— Нет, полноте,— говорю,— что вы там с хозяйкой.

— Ц-ты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не мне; я знаю, какие все вы, шельмы.

«Ничего,— думаю,— отлично ты, гостья дорогая, выражаешься».

— Они, впрочем, полячки-то эти, ловкие тоже,— продолжала, зевнув и крестя рот, Домна Платоновна,— они это с рассуждением делают.

— Напрасно,— говорю,— вы Домна Платоновна, так о моей хозяйке думаете: она женщина честная.

— Да тут, друг милый, и бесчестия ей никакого нет: она человек молодой.

— Речи ваши,— говорю,— Домна Платоновна, умные и справедливые, но только я-то тут ни при чем.

— Ну, был ни при чем, стал городничо́м; знаю уж я эти петербургские обстоятельства, и мне толковать про них нечего.

«И вправду,— думаю,— тебя, матушка, не разуверишь».

— А ты ей помогай — плати, мол, за квартиру-то,— говорила Домна Платоновна, пригинаясь ко мне и ударяя меня слегка по плечу.

— Да как же,— говорю — не платить?

— А так — знаешь, ваш брат, как осе́тит нашу сестру, так и норовит сейчас все на ее счет...

— Полноте, что́ это вы! — останавливаю Домну Платоновну.

— Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа: «на, мой сокол, тебе», готова и мясо с костей срезать да отдать; а ваш брат шаматон этим и пользуется.

— Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей любовник.

— Нет, а ты ее жалей. Ведь если так-то посудить, ведь жалка, ей-богу же, друг мой, жалка наша сестра! Нашу сестру уж как бы надо было бить да драть, чтоб она от вас, поганцев, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, за мудрено сотворено, что мир

весь этими соглядатаями, мужчинами преисполнен!.. На что они? А опять посмотришь, и без них все будто как скучно; как будто под иную пору словно тебе и недостает чего. Черта в стуле, вот чего недостает! — рассердилась Домна Платоновна, плюнула и продолжала: — Я вон так-то раз прихожу к полковнице Домуховской... не знавал ты ее?

— Нет,— говорю,— не знавал.

— Красавица.

— Не знаю.

— Из полячек.

— Так что ж,— говорю,— разве я всех полячек по Петербургу знаю?

— Да она не из самых настоящих полячек, а крещеная — нашей веры!

— Ну, вот и знай ее, какая такая есть госпожа Домуховская не из самых полячек, а нашей веры. Не знаю,— говорю,— Домна Платоновна; решительно не знаю.

— Муж у нее доктор.

— А она полковница?

— А тебе это в диковину, что ль?

— Ну-с, ничего,— говорю,— что же дальше?

— Так она с мужем-то с своим, понимаешь, попштыкалась.

— Как это попштыкалась?

— Ну, будто не знаешь, как, значит, в чем-нибудь не уговорились, да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. Так и сделала эта Леканидка.

«Очень,— говорит,— Домна Платоновна, он у меня нравен».

Я слушаю да головой качаю.

«Капризов,— говорит,— я его сносить не могу; нервы мои,— говорит,— не выносят».

Я опять головой качаю. «Что это,— думаю,— у них нервы за стервы, и отчего у нас этих нервов нет?»

Прошло этак с месяц, смотрю, смотрю — моя барыня квартиру сняла: «Жильцов,— говорит,— буду пущать».

«Ну что ж,— думаю,— надоело играть косточкой, покатай желвачок; не умела жить за мужней головой, так поживи за своей: пригонит нужа и к поганой луже, да еще будешь пить да похваливать».

Прихожу к ней опять через месяц, гляжу — жилец у нее есть, такой из себя мужчина видный, ну только худой и этак немножко осповат.

«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, какого мне бог жильца послал — деликатный, образованный и добрый такой, всеми моими делами занимается».

«Ну, деликатиться-то, мол, они нынче все уж, матушка, выучились, а когда во все твои дела уж он взошел, так и на что ж того и законней?»

Я это смеюсь, а она, смотрю, пых-пых, да и спламенела.

Ну, мой суд такой, что всяк себе как знает, а что если только добрый человек, так и умные люди не осудят и бог простит. Заходила я потом еще раза два, все застаю: сидит она у себя в каморке да плачет.

«Что так,— говорю,— мать, что рано соленой водой умываться стала?»

«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, горе мое такое»,— да и замолчала.

«Что, мол,— говорю,— такое за горе? Иль живую рыбку съела?»

«Нет,— говорит,— ничего такого, слава богу, нет».

«Ну, а нет,— говорю,— так все другое пустяки».

«Денег у меня ни грошика нет».

«Ну, это,— думаю,— уж действительно дрянь дело; но знаю я, что человека в такое время не надо печалить».

«Денег,— говорю,— нет — перед деньгами. А жильцы ж твои?» — спрашиваю.

«Один,— говорит,— заплатил, а то пустые две комнаты».

«Вот уж эта мерзость запустения,— говорю,— в вашем деле всего хуже. Ну, а дружок-то твой?» Так уж, знаешь, без церемонии это ее спрашиваю.

Молчит, плачет. Жаль мне ее стало: слабая, вижу, неразумная женщина.

«Что ж,— говорю,— если он наглец какой, так и вон его».

Плачет на эти слова, ажно платок мокрый за кончики зубами щипет.

«Плакать,— говорю,— тебе нечего и убиваться из-за них, из-за поганцев, тоже не стоит, а что отказала ему, да только всего и разговора, и найдем себе такого, что и любовь будет и помощь; не будешь так-то зубами щелкать да убиваться». А она руками замахала: «Не надо! не надо! не надо!» — да сама кинулась в постель головой, в подушки, и надрывается, ажно как спинка в платье не лопнет. У меня на то время был один тоже знакомый купец (отец у него по Суровской линии свой магазин имеет), и просил он меня очень: «Познакомь,— говорит,— ты меня, Домна Платоновна, с какой-нибудь барышней, или хоть и с дамой, но только чтоб очень образованная была. Терпеть,— говорит,— не могу необразованных». И поверить можно, потому и отец у них, и все мужчины в семье все как есть на дурах женаты, и у этого-то тоже жена дурища — всё, когда ни приди, сидит да печатаные пряники ест.

«На что,— думаю,— было бы лучше желать и требовать, как эту Леканиду суютить с ним». Но, вижу, еще глупа — я и оставила ее: пусть дойдет на солнце!

Месяца два я у нее не была. Хоть и жаль было мне ее, но что, думала себе, когда своего разума нет и сам человек ничем кругом себя ограничить не понимает, так уж ему не поможешь.

Но о спажинках была я в их доме; кружевцов немного продала, и вдруг мне что-то кофию захотелось, и страсть как захотелось. Дай, думаю, зайду к Домуховской, к Леканиде Петровне, напьюсь у нее кофию. Иду это по черной лестнице, отворяю дверь на кухню — никого нет. Ишь, говорю, как живут откровенно — бери что хочешь, потому и самовар и кастрюли, все, вижу, на полках стоит.

Да только что этак-то подумала, иду по коридору и слышу, что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты боже мой! что это? — думаю. Скажите пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый — из актеров он был, и даже немаловажный актер — артист назывался; ну-с, держит он, сударь, ее одною рукою за руку, а в другой нагайка.

«Варвар! варвар! — закричала я на него,— что ты это, варвар, над женщиной делаешь!» — да сама-то, знаешь, промеж них, саквояжем-то своим накрываюсь, да промеж них-то. Вот ведь что́ вы, злодеи, над нашей сестрой делаете!

Я молчал.

— Ну, тут-то я их разняла, не стал он ее при мне больше наказывать, а она еще было и отговаривается.

«Это,— говорит,— вы не думайте, Домна Платоновна; это он шутил».

«Ладно,— говорю,— матушка; бочка-то, гляди, в платье от его шутилки не потрескались ли». Однако жили опять; все он у нее стоял на квартире, только ничего ей, мошенник, ни грошика не платил.

— Тем и кончилось?

— Ну, нет; через несколько времени пошел у них опять карамболь, пошел он ее опять что день трепать, а тут она какую-то жиличку еще к себе, приезжую барыньку из купчих, приняла. Чай, ведь сам знаешь, наши купчихи, как из дому вырвутся, на это дело препро́стые... Ну он ко всему же к прежнему да еще почал с этой жиличкой амуриться — пошло у них теперь такое, что я даже и ходить перестала.

«Бог с вами совсем! живите,— думаю,— как хотите».

Только тринадцатого сентября, под самое воздвиженье честна́го и животворящего креста, пошла я к Знаменью, ко всенощной. Отстояла всенощную, выхожу и в самом притворе на паперти, гля-

жу — эта самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнусишко старенький, стоит на коленочках в уголочке и плачет. Опять меня взяла на нее жалость.

«Здравствуй,— говорю,— Леканида Петровна!»

«Ах, душечка,— говорит,— моя, Домна Платоновна, такая-сякая немазаная! Сам бог,— говорит,— мне вас послал»,— а сама так вот ручьями слез горьких и заливается.

«Ну,— я говорю,— бог, матушка, меня не посылал, потому что бог ангелов бесплотных посылает, а я человек в свою меру грешный; но ты все-таки не плачь, а пойдем куда-нибудь под на́сесть сядем, расскажи мне свое горе; может, чем-нибудь надумаемся и поможем».

Пошли.

«Что варвар твой, что ли, опять над тобой что сделал?» — спрашиваю ее.

«Никого,— говорит,— никакого варвара у меня нет».

«Да куда же это ты идешь?» — говорю, потому квартира ее была в Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную заворачивает.

Слово по слову, и раскрылось тут все дело, что квартиры уж у нее нет: мебелишку, какая была у нее, хозяин за долг забрал; дружок ее пропал — да и хорошо сделал,— а живет она в каморочке, у Авдотьи Ивановны Дислен. Такая эта подлая Авдотья Ивановна, даром что майорская она дочь и дворянством своим величается, ну, а преподлая-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал не попала по своей простоте по дурацкой. «Ну, только,— говорю я Леканиде Петровне,— я эту Дисленьшу, мой друг, очень знаю — это первая мошенница».

«Что ж,— говорит,— делать! Голубочка Домна Платоновна, что же делать?»

Ручонки-то, гляжу, свои ломит, ломит, инда даже смотреть жалко, как она их коверкает.

«Зайдите,— говорит,— ко мне».

«Нет,— говорю,— душечка, мне тебя хоша и очень жаль, но я к тебе в Дисленьшину квартиру не пойду — я за нее, за бездельницу, и так один раз чуть в квартал не попала, а лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди».

Пришла она ко мне: я ее напоила чайком, обогрела, почавкали с нею, что бог послал на ужин, и спать ее с собой уложила. Довольно с тебя этого?

Я кивнул утвердительно головою.

— Ночью-то что я еще через нее страху имела! Лежит-лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя в грудь. «Голубочка,— говорит,— моя, Домна Платоновна! Что мне с собой делать?»

Какой час, уж вижу, поздний. «Полно,— говорю,— себе убиваться,— спи. Завтра подумаем».

«Ах,— говорит,— не спится мне, не спится мне, Домна Платоновна».

Ну, а мне спать смерть как хочется, потому у меня сон необыкновенно какой крепкий.

Проспала я этак до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, а она, гляжу, в одной рубашоночке сидит на стуле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая беленькая, хорошенькая да нежненькая — точно вот пух в атласе.

«Умеешь,— спрашиваю,— самоварчик поставить?»

«Пойду,— говорит,— попробую».

Надела на себя юбчонку бумазейную и пошла в кухоньку. А мне таки тут что-то смерть не хотелось вставать. Приносит она самоваришко, сели мы чай пить, она и говорит: «Что,— говорит,— я, Домна Платоновна, надумалась?»

«Не знаю,— говорю,— душечка, чужую думку своей не раздумаешь».

«Поеду я,— говорит,— к мужу».

«На что, мол, лучше этого, как честной женой быть, когда б,— спрашиваю,— только он тебя принял?»

«Он,— говорит,— у меня добрый; я теперь вижу, что он всех добрей».

«Добрый-то,— отвечаю ей,— это хорошо, что он добрый; а скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то?»

«А уж скоро,— говорит,— Домна Платоновна, как с год будет».

«Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это тоже,— говорю,— дамочка, время не малое».

«А что же,— спрашивает,— такое, Домна Платоновна, вы в этом полагаете?»

«Да то,— говорю,— полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубница».

«Я,— отвечает,— об этом, Домна Платоновна, и не подумала».

«То-то, мол, мать моя, и есть, что *«не подумала»*. И все-то вот вы так-то об этом не думаете!.. А надо думать. Когда б ты подумала-то да рассудила, так, может быть, и много б чего с тобой не было».

Она таки тут ух как засмутилась! Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то; губенки свои этак кусает, да и произносит таково тихонечко: «Он,— говорит,— мне кажется, совсем не такой был».

«Ах вы,— подумала я себе,— звери вы этакие капустные! Сами козами в горах так и прыгают, а муж хоть и им негож, так и другой не трожь». Не поверишь ты, как мне это всякий раз на них до-

садно бывает. «Прости-ка ты меня, матушка,— сказала я ей тут-то,— а только речь твоя эта, на мой згад, ни к чему даже не пристала. Что же,— говорю,— он, твой муж, за такой за особенный, что ты говоришь: *не такой он?* Ни в жизнь мою никогда я этому не поверю. Всё, я думаю, и он такой же самый, как и все: костяной да жильный. А ты бы,— говорю,— лучше бы вот так об этом сообразила, что ты, женщиной бымши, себя не очень-то строго соблюла, а ему,— говорю,— ничего это и в суд не поставится»,— потому что ведь и в самом-то деле, хоть и ты сам, ангел мой, сообрази: мужчина что сокол: он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети, куда око глянет; а нашей сестре вся и дорога, что от печи до порога. Наша сестра вашему брату все равно что дураку волынка: поиграл да и кинул. Согласен ли ты с этой справедливостью?

Ничего не возражаю.

А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись, моего ответа, продолжает:

— Ну-с, вот и эта, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, после таких моих слов и говорит: «Я,— говорит,— Домна Платоновна, ничего от мужа не скрою, во всем сама повинюсь и признаюсь: пусть он хоть голову мою снимет».

«Ну, это,— отвечаю,— опять тоже, по-моему, не дело, потому что мало ли какой грех был, но на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствие не будет. А ты скрепись и виду не покажи».

«Ах, нет! — говорит,— ах, нет, я лгать не хочу».

«Мало,— говорю,— чего не хочешь! Сказывается: грех воровать, да нельзя миновать».

«Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу! Это грех обманывать».

Зарядила свое, да и баста.

«Я,— говорит,— прежде все опишу, и если он простит — получу ответ, тогда и поеду».

«Ну, делай, мол, как знаешь; тебя, видно, милая, не научишь. Дивлюсь только,— говорю,— одному, что какой это из вас такой новый завод пошел, что на грех идете, вы тогда с мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости господи, о пакостях о своих — греха боитесь. Гляди,— говорю,— бабочка, не кусать бы тебе локтя!»

Так-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, в котором, уж бог ее знает, все объяснила, должно быть,— ответа нет. Придет, плачет-плачет — ответа нет.

«Поеду,— говорит,— сама; слугою у него буду».

Опять я подумала — и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть попервоначалу какое время и погневается, а как она на глазах будет, авось опять дух, во тьме приходящий, спутает; мо-

жет, и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную всегда перекукует.

«Ступай,— говорю,— все ж муж, не полюбовник, все скорей смилуется».

«А где б,— говорит,— мне, Домна Платоновна, денег на дорогу достать?»

«А своих-то,— спрашиваю,— аль уж ничего нет?»

«Ни грошика,— говорит,— нет; я уж и Дисленьше должна».

«Ну, матушка, денег доставать здесь остро».

«Взгляните,— говорит,— на мои слезы».

«Что ж,— говорю,— дружок, слезы? — слезы слезами, и мне даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезам не верит, говорит пословица. Под них денег не дадут».

Она плачет, я это тоже с нею сижу, да так промеж себя и разговариваем, а в комнату ко мне шасть вдруг этот полковник... как его зовут-то?

— Да ну, бог там с ним, как его зовут!

— Уланский, или как их это называются-то они? — инженер?

— Да бог с ним, Домна Платоновна.

— Ласточкин он, кажется, будет по фамилии, или как не Ласточкин? Так как-то птичья фамилия и не то с «люди», не то с «како» начинается...

— Ах, да оставьте вы его фамилию в покое.

— Я этак-то вот много кого: по местам сейчас тебе найду, а уж фамилию не припомню. Ну, только входит этот полковник; начинает это со мною шутить, да на ушко и спрашивает:

«Что,— говорит,— это за барышня такая?»

Она совсем барыня, ну, а он ее барышней назвал: очень она еще моложава была на вид.

Я ему отвечаю, кто она такая.

«Из провинции?» — спрашивает.

«Это,— говорю,— вы угадали — из провинции».

А он это — не то как какой ветреник или повеса — известно, человек уж в таком чине — любил, чтоб женщина была хоть и на краткое время, но не забымши свой стыд, и с правилами; ну, а наши питерские, знаешь, чай, сам, сколько у них стыда-то, а правил и еще того больше: у стриженой девки на голове волос больше, чем у них правил.

— Ну-с, Домна Платоновна?

«Ну, сделай,— говорит,— милость, Домна Панталоновна»,— у них это, у полковых, у всех все такая привычка: не скажет: Платоновна, а *Панталоновна.*— «Ну-с,— говорит,— Домна Панталоновна, ничего,— говорит,— для тебя не пожалею, только ограничь ты мне это дело в порядке».

Я, знаешь, ничего ему решительного не отвечаю, а только бровями этак, понимаешь, на нее повела и даю ему мину, что, дескать, «трудно».

«Невозможно?» — говорит.

«Этого,— говорю,— я тебе, генерал мой хороший, не объясняю, потому это ее душа, ее и воля, а что хотя и не надеюсь, но попробовать я для тебя попробую».

А он сейчас мне: «Нечего,— говорит,— тут, Панталониха, словами разговаривать; вот,— говорит,— тебе пятьдесят рублей, и все их сейчас ей передай».

— И вы их,— спрашиваю,— передали?

— А ты вот лучше не забегай, а если хочешь слушать, так слушай. Рассуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя, точно, у нас с нею никогда разговора такого, на это похожего, не было, чтоб претекст мне ей такой сделать, ну только, зная эти петербургские обстоятельства, думаю: «Ох, как раз она еще, гляди, и сама рада, бедная, будет!» Выхожу я к ней в свою маленькую комнатку, где мы сидели-то, и, говорю: «Ты,— говорю,— Леканида Петровна, в рубашечке, знать, родилась. Только о деньгах поговорили, а оне,— говорю,— и вот оне», да бумажку-то перед ней кладу. Она: «Кто это? как это? откуда?» — «Бог,— я говорю,— тебе послал»,— говорю ей громко, а на ушко-то шепчу: «Вот этот барин,— сказываю,— за одно твое внимание тебе посылает... Прибирай,— говорю,— скорей эти деньги!»

А она, смотрю, слезы у нее по глазам и на стол кап-кап, как гороховины. С радости или с горя — никак не разберу, с чего эти слезы.

«Прибери,— говорю,— деньги-то да выдь на минутку в ту комнату, а я тут покопаюсь...» Довольно тебе кажется, как я все это для нее вдруг прекрасно устроила?

Смотрю я на Домну Платоновну: ни бровка у нее не моргнет, ни уста у нее не лукавят; вся речь ее проста, сердечна; все лицо ее выражает одно доброе желание пособить бедной женщине и страх, чтоб это внезапно подвернувшееся благодетельное событие как-нибудь не расстроилось,— страх не за себя, а за эту же несчастную Леканиду.

— Довольно тебе этого? Кажется, все, что могла, все я для нее сделала,— говорит, привскакивая и ударяя рукою по столу, Домна Платоновна, причем лицо ее вспыхивает и принимает выражение гневное.— А она, мерзавка этакая! — восклицает Домна Платоновна,— она с этим самым словом — мах, безо всего, как сидела, прямо на лестницу и гу-гу-гу: во всю мочь ревет, значит. Осрамила! Я это в свой уголок скорей; он тоже за шапку да драла. Гляжу вокруг себя — вижу, и платок она свой шейный, так, мери-

носовый, старенький платчишко,— забыла. «Ну, постой же,— думаю,— ты, дрянь этакая! Придешь ты, гадкая, я тебе этого так не подарю». Через день, не то через два, вернулась это я к себе домой, смотрю — и она жалует. Я, хоть сердце у меня на ее невелико, потому что я вспыльчива только, а сердца долго никогда не держу, но вид такой ей даю, что сердита ужасно.

«Здравствуйте,— говорит,— Домна Платоновна».

«Здравствуй,— говорю,— матушка! За платочком, что ли, пришла? — вон твой платок».

«Я,— говорит,— Домна Платоновна, извините меня, так тогда испугалась».

«Да,— говорю ей,— покорно вас, матушка, благодарю. За мое же к вам за расположение вы такое мне наделали, что на что лучше желать-требовать».

«В перепуге,— говорит,— я была, Домна Платоновна, простите, пожалуйста».

«Мне,— отвечаю,— тебя прощать нечего, а что мой дом не такой, чтоб у меня шкандалить, бегать от меня по лестницам да визги эти свои всякие здесь поднимать. Тут,— говорю,— и жильцы благородные живут, да и хозяин,— говорю,— процентщик — к нему что минута народ идет, так он тоже этих визгов-то не захочет у себя слышать».

«Виновата я, Домна Платоновна. Сами вы посудите, такое предложение».

«Что ж ты,— говорю,— такая за особенная, что этак очень тебя предложение это оскорбило? Предложить,— говорю,— всякому это вольнó, так как ты женщина нуждающая; а ведь тебя насильно никто не брал, и зевать-то, стало быть, тебе во все горло нечего было».

Простить просит.

Я ей и простила, и говорить с ней стала, и чаю чашку налила.

«Я к вам,— говорит,— Домна Платоновна, с просьбой: как бы мне денег заработать, чтоб к мужу ехать».

«Как же, мол, ты их, сударыня, заработаешь? Вот был случай, упустила, теперь сама думай; я уж ничего не придумаю. Что ж ты такое можешь работать».

«Шить,— говорит,— могу; шляпы могу делать».

«Ну, душечка,— отвечаю ей,— ты лучше об этом меня спроси; я эти петербургские обстоятельства-то лучше тебя знаю; с этой работой-то, окромя уж того, что ее, этой работы, достать негде, да и те, которые ею и давно-то занимаются и настоящие-то шитвицы, так и те,— говорю,— давно голые бы ходили, если б на одежонку себе грехом не доставали».

«Так как же,— говорит,— мне быть?» — и опять руки ломает.

«А так,— говорю,— и быть, что было бы не коробатиться; давно бы,— говорю,— уж другой бы день к супругу выехала».

И-и-их, как она опять на эти мои слова вся как вспыхнет!

«Что это,— говорит,— вы, Домна Платоновна, говорите? Разве,— говорит,— это можно, чтоб я на такие скверные дела пустилась?»

«Пускалась же,— говорю,— меня про то не спрашивалась».

Она еще больше запламенела.

«То,— говорит,— грех мой такой был, *увлечение,* а чтобы я,— говорит,— раскаявшись да собираясь к мужу, еще на такие подлые средства поехала — ни за что на свете!»

«Ну, ничего,— говорю,— я, матушка, твоих слов не понимаю. Никаких я тут подлостей не вижу. Мое,— говорю,— рассуждение такое, что когда если хочет себя женщина на настоящий путь поворотить, так должна она всем этим пренебрегать».

«Я,— говорит,— этим предложением пренебрегаю».

Очень, слышь, большая барыня! Так там с своим с конопастым безо всякого без путя сколько время валандалась, а тут для дела, для собственного покоя, чтоб на честную жизнь себя повернуть — шагу одного не может, видишь, ступить, минутая уж ей одна и та тяжела очень стала.

Смотрю опять на Домну Платоновну — ничего в ней нет такого, что лежит печатью на специалистках по части образования жертв «общественного недуга», а сидит передо мною баба самая простодушная и говорит свои мерзости с невозмутимою уверенностью в своей доброте и непроходимой глупости госпожи Леканидки.

— «Здесь,— говорю,— продолжает Домна Платоновна,— столица; здесь даром, матушка, никто ничего не даст и шагу-то для тебя не ступит, а не то что деньги».

Этак поговорили — она и пошла. Пошла она, и недели с две, я думаю, ее не было видно. На конец того дела является голубка вся опять в слезах и опять с своими охами да вздохами.

«Вздыхай,— говорю,— ангел мой, не вздыхай, хоть грудь надсади, но как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможется».

«Боже мой! — сказывает,— у меня уж, кажется, как глаза от слез не вылезут, голова как не треснет, грудь болит. Я уж,— говорит,— и в общества сердобольные обращалась: пороги все обила — ничего не вы́ходила».

«Что ж, сама ж,— говорю,— виновата. Ты бы меня расспросила, что эти все общества значат. Туда,— говорю,— для того именно и ходят, чтоб только последние башмаки дотаптывать».

«Взгляните,— говорит,— сами, какая я? На что я стала похожа».

«Вижу,— отвечаю ей,— вижу, мой друг, и нимало не удивляюсь, потому горе только одного рака красит, но помочь тебе,— говорю,— ничем не могу».

С час тут-то она у меня сидела и все плакала, и даже, правду сказать, уж и надоела.

«Нечего,— говорю ей на конец того,— плакать-то: ничего от этого не поможется; а умнее сказать, надо покориться».

Смотрю, слушает с плачем и — уж не сердится.

«Ничего,— говорю,— друг любезный, не поделаешь: не ты первая, не ты будешь и последняя».

«Занять бы,— говорит,— Домна Платоновна, хоть рублей пятьдесят».

«Пятидесяти копеек,— говорю,— не займешь, а не то что пятидесяти рублей — здесь не таковский город, а столица. Были у тебя пятьдесят рублей в руках — точно, да не умела ты их брать, так что ж с тобой делать?»

Поплакала она и ушла. Было это как раз, помню, на Иоанна Рыльского, а тут как раз через два дня живет праздник: иконы Казанския божьей матери. Так что-то мне в этот день ужасно как нездоровилось —с вечера я это к одной купчихе на Охту ездила да, должно быть, простудилась на этом каторжном перевозе,— ну, чувствую я себя, что нездорова; никуда я не пошла: даже и у обедни не была; намазала себе нос салом и сижу на постели. Гляжу, а Леканида Петровна моя ко мне жалует, без бурнусика, одним платочком покрывшись.

«Здравствуйте,— говорит,— Домна Платоновна».

«Здравствуй,— говорю,— душечка. Что ты,— спрашиваю,— такая неубранная?»

«Так,—говорит,—на минуту,—говорит,—выскочила»,—а сама, вижу, вся в лице меняется. Не плачет, знаешь, а то всполыхнет, то сбледнеет. Так меня тут же как молонья́ мысль и прожгла: верно, говорю себе, чуть ли ее Дисленьша не выгнала.

«Или,— спрашиваю,— что у вас с Дисленьшей вышло?» — а она это дёрг-дёрг себя за губенку-то, и хочет, вижу, что-то сказать, и заминается.

«Говори, говори, матушка, что такое?»

«Я,— говорит,— Домна Платоновна, к вам». А я молчу.

«Как,— говорит,— вы, Домна Платоновна, поживаете?»

«Ничего,— говорю,— мой друг. Моя жизнь все одинаковая».

«А я...— говорит,— ах, я просто совсем с ног сбилася».

«Тоже,— говорю,— видно, и твое все еще одинаково?»

«Все то же самое,— говорит.— Я уж,— говорит,— всюду кидалася. Я уж, кажется, всякий свой стыд позабыла; все ходила к богатым людям просить. В Кузнечном переулке тут, говорили, один богач помогает бедным — у него была; на Знаменской тоже была».

«Ну, и много же,— говорю,— от них вынесли?»

«По три целковых».

«Да и то,— говорю,— еще много. У меня,— говорю,— купец знакомый у Пяти углов живет, так тот разменяет рубль на копейки и по копеечке в воскресенье и раздает. «Все равно,— говорит,— сто добрых дел выходит перед богом». Но чтоб пятьдесят рублей, как тебе нужно,— этого,— говорю,— я думаю, во всем Петербурге и человека такого нет из богачей, чтобы даром дал».

«Нет,— говорит,— говорят, есть».

«Кто ж это, мол, тебе говорил? Кто такого здесь видел?»

«Да одна дама мне говорила... Там у этого богача мы с нею в Кузнечном вместе дожидали. Грек, говорит, один есть на Невском: тот много помогает».

«Как же это,— спрашиваю,— он за здорово живешь, что ли, помогает?»

«Так,— говорит,— так, просто так помогает, Домна Платоновна».

«Ну, уж это,— говорю,— ты мне, пожалуйста, этого лучше и не ври. Это,— говорю,— сущий вздор».

«Да что же вы,— говорит,— спорите, когда эта дама сама про себя даже рассказывала? Она шесть лет уж не живет с мужем, и всякий раз как пойду, говорит, так пятьдесят рублей».

«Врет,— говорю,— тебе твоя знакомая дама».

«Нет,— говорит,— не врет».

«Врет, врет,— говорю,— и врет. Ни в жизнь этому не поверю, чтобы мужчина женщине пятьдесят рублей даром дал».

«А я,— говорит,— утверждаю вас, что это правда».

«Да ты что ж, сама, что ли,— говорю,— ходила?»

А она краснеет, краснеет, глаз куда деть не знает.

«Да вы,— говорит,— что, Домна Платоновна, думаете? Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте! Ему восемьдесят лет. К нему много дам ходят, и он ничего от них не требует».

«Что ж,— говорю,— он красотою, что ли, только вашею освещается?»

«Вашею? Почему же это,— говорит,— вы опять так утверждаете, что как будто и я там была?» А сама так, как розан, и закраснелась.

«Чего ж,— говорю,— не утверждать? разве не видно, что была?»

«Ну так что ж такое, что была? Да, была».

«Что ж, очень,— говорю,— твоему счастию рада, что побывала в хорошем доме».

«Ничего,— говорит,— там нехорошего нет. Я очень просто зашла,— говорит,— к этой даме, что́ с ним знакома, и рассказала ей свои обстоятельства... Она, разумеется, мне сначала сейчас те же предложения, что́ и все делают... Я не захотела; ну, она и говорит: «Ну так вот, не хотите ли к одному греку богатому сходить? Он ничего не требует и очень много хорошеньким женщинам помогает. Я вам,— говорит,— адрес дам. У него дочь на фортепиано учится, так вы будто как учительница придете, но к нему самому ступайте, и ничего,— говорит,— вас стеснять не будет, а деньги получите». Он, понимаете, Домна Платоновна, он уже очень старый-престарый».

«Ничего,— говорю,— не понимаю».

Она, вижу, на мою недогадливость сердится. Ну, а я уж где там не догадываюсь: я все отлично это понимаю, к чему оно клонит, а только хочу ее стыдом-то этим помучить, чтоб совесть-то ее взяла хоть немножко.

«Ну как,— говорит,— не понимаете?»

«Да так,— говорю,— очень просто не понимаю, да и понимать не хочу».

«Отчего это так?»

«А оттого,— говорю,— что это отврат и противность, тьпфу!» Стыжу ее; а она, смотрю, морг-морг и кидается ко мне на плечи, и целует, и плачучи говорит: «А с чем же я все-таки поеду?»

«Как с чем, мол, поедешь? А с теми деньгами-то, что́ он тебе дал».

«Да он мне всего,— говорит,— десять рублей дал».

«Отчего так,— говорю,— десять? Как это — всем пятьдесят, а тебе всего десять!»

«Черт его знает!» — говорит с сердцем.

И слезы даже у нее от большого сердца остановились.

«А то-то, мол, и есть!.. видно, ты чем-нибудь ему не потрафила. Ах вы,— говорю,— дамки вы этакие, дамки! Не лучше ли, не честнее ли я тебе, простая женщина, советовала, чем твоя благородная посоветовала?»

«Я сама,— говорит,— это вижу».

«Раньше,— говорю,— надо было видеть».

«Что ж я,— говорит,— Домна Платоновна... я же ведь теперь уж и решилась»,— и глаза это в землю тупит.

«На что ж,— говорю,— ты решилась?»

«Что ж,— говорит,— делать, Домна Платоновна, так, как вы говорили... вижу я, что ничего я не могу пособить себе. Если б,— говорит,— хоть хороший человек...»

«Что ж,— говорю, чтоб много ее словами не конфузить,— я,— говорю,— отягощусь, похлопочу, но только уже и ты ж смотри, сделай милость, не капризничай».

«Нет,— говорит,— уж куда!..» Вижу, сама давится, а сама твердо отвечает: «Нет,— говорит,— отяготитесь, Домна Платоновна, я не буду капризничать». Узнаю тут от нее, посидевши, что эта подлая Дисленьша ее выгоняет, и то есть не то что выгоняет, а и десять рублей-то, что́ она, несчастная, себе от грека принесла, уж отобрала у нее и потом совсем уж ее и выгнала и бельишко — какая там у нее была рубашка да перемывашка — и то все обобрала за долг и за хвост ее, как кошку, да на улицу.

«Да знаю,— говорю я,— эту Дисленьшу».

«Она,— говорит,— Домна Платоновна, кажется, просто торговать мною хотела».

«От нее,— отвечаю,— другого-то ничего и не дождешься».

«Я,— говорит,— когда при деньгах была, я ей не раз помогала, а она со мной так обошлась, как с последней».

«Ну, душечка,— говорю,— нынче ты благодарности в людях лучше и не ищи. Нынче чем ты кому больше добра делай, тем он только готов тебе за это больше напакостить. Тонет, так топор сулит, а вынырнет, так и топорища жаль».

Рассуждаю этак с ней и ни-и-и думаю того, что она сама, шельма эта Леканида Петровна, как мне за все отблагодарит.

Домна Платоновна вздохнула.

— Вижу, что она все это мнется да трется,— продолжала Домна Платоновна,— и говорю: «Что ты хочешь сказать-то? Говори — лишних бревен никаких нет; в квартал надзирателю доносить некому».

«Когда же?» — спрашивает.

«Ну,— говорю,— мать моя, надо подождать: это тоже шах-мах не делается».

«Мне,— говорит,— Домна Платоновна, деться некуда».

А у меня — вот ты как зайдешь когда-нибудь ко мне, я тебе тогда покажу — есть такая каморка, так, маленькая такая, вещи там я свои, какие есть, берегу, и если случится какая тоже дамка, что места ищет иногда или случая какого дожидается, так в то время отдаю. На эту пору каморочка у меня была свободна. «Переходи,— говорю,— и живи».

Переход ее весь в том и был, что в чем пришла, в том и осталась: все Дисленьша, мерзавка, за долги забрала.

Ну, видя ее бедность, я дала ей тут же платье — купец один мне дарил: чудное платье, крепрошелевое, не то шикшинетеневое, так как-то материя-то эта называлась,— но только узко оно мне в лифике было. Шитвица-пакостница не потрафила, да я, признать-

ся, и не люблю фасонных платьев, потому сжимают они очень в грудях, я все вот в этаких капотах хожу.

Ну, дала я ей это платье, дала кружевцов; перешила она это платьишко, отделала его кое-где кружевцами, и чудесное еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, в Штинбоков пассаж, купила ей полсапожки, с кисточками такими, с бахромочкой, с каблучками; дала ей воротничков, манишечку — ну, одним словом, нарядила молодца, яко старца; не стыдно ни самой посмотреть, ни людям показать. Даже сама я не утерпела, пошутила ей: «Франтишка,— говорю,— ты какая! умеешь все как к лицу сделать».

Живем мы после этого вместе неделю, живем другую, все у нас с нею отлично: я по своим делам, а она дома остается. Вдруг тут-то дело мне припало к одной не то что к дамке, а к настоящей барыне, и немолодая уж барыня, а такая-то, прости господи!.. звезда восточная. Студента все к сыну в гувернеры искала. Ну, уж я знаю, какого ей надо студента.

«Чтоб был,— говорит,— опрятный; чтоб не из этих, как вот шляются — сицилисты,— они не знают небось, где и мыло продается».

«На что ж,— говорю,— из этих? Куда они годятся!»

«И,— говорит,— чтоб в возрасте был, а не дитею бы смотрел; а то дети его и слушаться не будут».

«Понимаю, мол, все».

Отыскала я студента: мальчонко молоденький, но этакий штуковатый и чищеный, все сразу понимает. Иду-с я теперь с этим делом к этой даме; передала ей адрес; говорю: так и так, тогда и тогда будет, и извольте его посмотреть, а что такое если не годится — другого,— говорю,— найдем, и сама ухожу. Только иду это с лестницы, а в швейцарской генерал мне навстречу и вот он. И этот самый генерал, надо тебе сказать, хоть он и штатский, но очень образованный. В доме у него роскошь такой: зеркала, лампы, золото везде, ковры, лакеи в перчатках, везде это духами накурено. Одно слово, свой дом, и живут в свое удовольствие; два этажа сами занимают: он, как взойдешь из швейцарской, сейчас налево; комнат восемь один живет, а направо сейчас другая такая ж половина, в той сын старший, тоже женатый уж года с два. На богатой тоже женился, и все как есть в доме очень ее хвалят, говорят — предобрая барыня, только чахотка, должно, у нее — очень уж худая. Ну, а наверху, сейчас по этакой лестнице — широкая-преширокая лестница и вся цветами установлена — тут сама старуха, как тетеря на токовище, сидит с меньшенькими детьми, и гувернеры-то эти там же. Ну, знаешь уж, как на большую ногу живут!

Встретил меня генерал и говорит: «Здравствуй, Домна Платоновна!» Превежливый барин.

«Здравствуйте,— говорю,— ваше превосходительство».

«У жены, что ль, была?» — спрашивает.

«Точно так,— говорю,— ваше превосходительство, у супруги вашей, у генеральши была; кружевца,— говорю,— старинные приносила».

«Нет ли,— говорит,— у тебя чего, кроме кружевцов, хорошенького?»

«Как,— говорю,— не быть, ваше превосходительство! Для хороших,— говорю,— людей всегда на свете есть что-нибудь хорошее».

«Ну, пойдем-ка,— говорит,— пройдемся; воздух,— говорит,— нынче очень свежий».

«Погода,— отвечаю,— отличная, редко такой и дождешься».

Он выходит на улицу, и я за ним, а карета сзади нас по улице едет. Так вместе по Моховой и идем — ей-богу правда. Препростодушный, говорю тебе, барин!

«Что ж,— спрашивает,— чем же ты это нынче, Домна Платоновна, мне похвалишься?»

«А уж тем, мол, ваше превосходительство, похвалюсь, что могу сказать, что редкость».

«Ой ли, правда?» — спрашивает — не верит, потому что он очень и опытный — постоянно все по циркам да по балетам и везде страшно по этому предмету со вниманием следит.

«Ну, уж хвалиться,— говорю,— вам, сударь, не стану, потому что, кажется, изволите знать, что я попусту врать на ветер не охотница, а вы, когда вам угодно, извольте,— говорю,— пожаловать. Гляженое лучше хваленого».

«Так не лжешь,— говорит,— Домна Платоновна, стоящая штучка?»

«Одно слово,— отвечаю ему я,— ваше превосходительство, больше и говорить не хочу. Не такой товар, чтоб еще нахваливать».

«Ну, посмотрим,— говорит,— посмотрим».

«Милости,— говорю,— просим. Когда пожалуете?»

«Да как-нибудь на этих днях,— говорит,— вероятно, заеду».

«Нет,— говорю,— ваше превосходительство, вы извольте назначить как наверное, так,— говорю,— и ждать будем; а то я,— говорю,— тоже дома не сижу: волка, мол, ноги кормят».

«Ну, так я,— говорит,— послезавтра, в пятницу, из присутствия заеду».

«Очень хорошо,— говорю,— я ей скажу, чтоб дожидалась».

«А у тебя,— спрашивает,— тут в узелке-то что-нибудь хорошенькое есть?»

«Есть,— говорю,— штучка шелковых кружев черных, отличная. Половину,— солгала ему,— половину,— говорю,— ваша супру-

га взяли, а половина,— говорю,— как раз на двадцать рублей осталась».

«Ну, передай,— говорит,— ей от меня эти кружева: скажи, что *добрый гений* ей посылает»,— шутит это, а сам мне двадцать пять рублей бумажку подает, и сдачи, говорит, не надо: возьми себе на орехи.

Довольно тебе, что и в глаза ее не видавши, этакой презент.

Сел он в карету тут у Семионовского моста и поехал, а я Фонталкой по набережной да и домой.

«Вот,— говорю,— Леканида Петровна, и твое счастье нашлось».

«Что,— говорит,— такое?»

А я ей все по порядку рассказываю, хвалю его, знаешь, ей, как ни быть лучше: хотя, говорю, и в летах, но мужчина видный, полный, белье, говорю, тонкое носит, в очках, сказываю, золотых; а она вся так и трясется.

«Нечего,— говорю,— мой друг, тебе его бояться: может быть, для кого-нибудь другого он там по чину своему да по должности пускай и страшен, а твое,— говорю,— дело при нем будет совсем особливое; еще ручки, ножки свои его целовать заставь. Им,— говорю,— одна дамка-полячка (я таки ее с ним еще и познакомила) как хотела помыкала и амантов[1],— говорю,— имела, а он им еще и отличные какие места подавал, все будто заместо своих братьев она ему их выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта полячка, бывало, даже руку на него поднимала: сделает, бывало, истерику, да мах его рукою по очкам; только стеклышки зазвенят. А твое воспитание ничуть не ниже. А вот,— говорю,— тебе от него пока что и презентик»,— вынула кружева да перед ней и положила.

Прихожу опять вечером домой, смотрю — она сидит, чулок себе штопает, а глаза такие заплаканные; гляжу, и кружева мои на том же месте, где я их положила.

«Прибрать бы,— говорю,— тебе их надо; вон хоть в комоду,— говорю,— мою, что ли, бы положила; это вещь дорогая».

«На что,— говорит,— они мне?»

«А не нравятся, так я тебе за них десять рублей деньги ворочу».

«Как хотите»,— говорит. Взяла я эти кружева, смотрю, что все целы,— свернула их как должно и так, не мерявши, в свой саквояж и положила.

«Вот,— говорю,— что ты мне за платье должна — я с тебя лишнего не хочу,— положим за него хоть семь рублей, да за полсапож-

---

[1] Любовников *(франц.)*.

ки три целковых, вот,— говорю,— и будем квиты, а остальное там, как сочтемся».

«Хорошо»,— говорит,— а сама опять плакать.

«Плакать-то теперь бы,— говорю,— не следовало».

А она мне отвечает:

«Дайте,— говорит,— мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать. Что вы,— говорит,— беспокоитесь? — не бойтесь, понравлюсь!»

«Что ж,— говорю,— ты, матушка, за мое же добро да на меня же фыркаешь? Тоже,— говорю,— новости: у Фили пили, да Филю ж и били!»

Взяла да и говорить с ней перестала.

Прошел четверг, я с ней не говорила. В пятницу напилась чаю, выхожу и говорю: «Изволь же,— говорю,— сударыня, быть готова: он нынче приедет».

Она как вскочит: «Как нынче! как нынче!»

«А так,— говорю,— чай, сказано тебе было, что он обещался в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг».

«Голубушка,— говорит,— Домна Платоновна!» — пальцы себе кусает, да бух мне в ноги.

«Что ты,— говорю,— сумасшедшая? Что ты?»

«Спасите!»

«От чего,— говорю,— от чего тебя спасать-то?»

«Защитите! Пожалейте!»

«Да что ты,— говорю,— блажишь? Не сама ли же,— говорю,— ты просила?»

А она опять берет себя руками за щеки да вопит: «Душечка, душечка, пусть завтра, пусть,— говорит,— хоть послезавтра!»

Ну, вижу, нечего ее, дуру, слушать, хлопнула дверью и ушла. Приедет, думаю, он сюда — сами поладят. Не одну уж такую-то я видела: все они попервоначалу бла́ги бывают. Что ты на меня так смотришь? Это, поверь, я правду говорю: все так-то убиваются.

— Продолжайте,— говорю,— Домна Платоновна.

— Что ж, ты думаешь, она, поганка, сделала?

— А кто ее знает, что́ ее черт угораздил сделать! — сорвалось у меня со злости.

— Уж именно правда твоя, что черт ее угораздил,— отвечала с похвалою моей прозорливости Домна Платоновна.— Этакого человека, этакую вельможу она, шельмовка этакая, и в двери не пустила!.. Стучал-стучал, звонил-звонил — она тебе хоть бы ему голос какой подала. Вот ведь какая хитростная — на что отважилась! Сидит запершись, словно ее и духу там нет. Захожу я вечерком к нему — сейчас меня впустили — и спрашиваю: «Ну что,— говорю,— обманула я вас, ваше превосходительство?» — а он туча ту-

чей. Рассказывает мне все, как он был и как ни с чем назад пошел.

«Этак,— говорит,— Домна Платоновна, любезная моя, с порядочными людьми не поступают».

«Батюшка,— говорю,— да как это можно! верно,— говорю,— она куда на минутую выходила или что такое — не слыхала»,— ну, а сама себе думаю: «Ах ты, варварка! ах ты, злодейка этакая! срамовщица ты!»

«Пожалуйте,— прошу его,— ваше превосходительство, завтра — верно вам ручаюсь, что все будет как должно».

Да ушедши-то от него домой, да бегом, да бегом. Прибегаю, кричу:

«Варварка! варварка! что ж ты это, варварка, со мной наделала? С каким ты меня человеком, может быть, расстроила? Ведь ты,— говорю,— сама со всей твоей родней-то да и с целой губернией-то с вашей и сапога его одного отоптанного не стоишь! Он,— говорю,— в прах и в пепел всех вас и все начальство-то ваше истереть одной ногой может. Чего ж ты, бездельница этакая, моднйчаешь? Даром я, что ли, тебя кормлю? Я бедная женщина; я на твоих же глазах день и ночь постоянно отягощаюсь; я на твоих же глазах веду самую прекратительную жизнь, да еще ты,— говорю,— щелчок ты этакой, нахлебница навязалась!»

И как уж я ее тут-то ругала! Как страшно я ее с сердцов ругала, что ты не поверишь. Кажется б вот взяла я да глаза ей в сердцах повыцарапала.

Домна Платоновна сморгнула набежавшую на один глаз слезу и проговорила между строк: «Даже теперь жалко, как вспомню, как я ее тогда обидела».

«Гольтепа ты дворянская! — говорю ей,— вон от меня! вон, чтоб и дух твой здесь не пах!» — и даже за рукав ее к двери бросила. Ведь вот, ты скажи, чтó с сердцов человек иной раз делает: сама назавтри к ней такого грандеву пригласила, а сама ее нынче же вон выгоняю! Ну, а она — на эти мои слова сейчас и готова — и к двери.

У меня уж было и сердце все проходить стало, как она все это стояла-то да молчала, а уж как она по моему по последнему слову к двери даже обернулась, я опять и вскипела.

«Куда, куда,— говорю,— такая-сякая, ты летишь?»

Уж и сама даже не помню, какими ее словами опять изругала.

«Оставайся,— говорю,— не смей ходить!..»

«Нет, я,— говорит,— пойду».

«Как пойдешь? как ты смеешь идтить?»

«Что ж,— говорит,— вы, Домна Платоновна, на меня сердитесь, так лучше же мне уйти».

«Сержусь! — говорю.— Нет, я мало что на тебя сержусь, я тебя буду бить».

Она вскрикнула, да в дверь, а я ее за ручку, да назад, да тут-то сгоряча оплеух с шесть таки горячих ей и закатила.

«Воровка ты,— говорю,— а не дама»,— кричу на нее; а она стоит в уголке, как я ее оттрепала, и вся, как клёнов лист, трясется, но и тут, заметь, свою анбицию дворянскую почувствовала.

«Что ж,— говорит,— такое я у вас украла?»

«Космы-то,— говорю,— патлы-то свои подбери,— потому я ей всю прическу расстроила.— То,— говорю,— ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила две недели; обула-одела тебя; я,— говорю,— на всякий час отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь, да еще через тебя должна куска хлеба лишиться, как ты меня с таким человеком поссорила!»

Смотрю, она потихоньку косы свои опять в пучок подвернула, взяла в ковшик холодной воды — умылась: голову расчесала и села. Смирно сидит у окошечка, только все жестяное зеркальце потихонечку к щекам прикладывает. Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева, а сама вижу, что щеки-то у нее так и горят.

«Ах,— думаю,— напрасно ведь это я, злодейка, так уж очень ее обидела!»

Все, что стою над столом да думаю — то все мне ее жалче; что стою думаю — то все жалче.

Ахти мне, горе с моим добрым сердцем! Никак я с своим сердцем не совладаю. И досадно, и знаю, что она виновата и вполне того заслужила, а жалко.

Выскочила я на минуточку на улицу — тут у нас, в нашем же доме, под низом кондитерская,— взяла десять штучек песочного пирожного и прихожу; сама поставила самовар; сама чаю чашку ей налила и подаю с пирожным. Она взяла из моих рук чашку и пирожное взяла, откусила кусочек, да меж зубов и держит. Кусочек держит, а сама вдруг улыбается, улыбается, и весело улыбается, а слезы кап-кап-кап, так и брызжут; таки вот просто не текут, а как сок из лимона, если подавишь, брызжут.

«Полно,— говорю,— не обижайся».

«Нет,— говорит,— я ничего, я ничего, я ничего...» — да как зарядила это: «я ничего» да «я ничего» — твердит одно, да и полно.

«Господи! — думаю,— уж не сделалось ли ей помрачение смыслов?» Водой на нее брызнула; она тише, тише и успокоилась: села в уголку на постелишке и сидит. А меня все, знаешь, совесть мутит, что я ее обидела. Помолилась я богу — прочитала, как еще в

Мценске священник учил от запаления ума: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая»,— и сняла с себя капотик, и подхожу к ней в одной юбке, и говорю: «Послушай ты меня, Леканида Петровна! В Писании читается: «да не зайдет солнце во гневе вашем»; прости же ты меня за мою дерзость; давай помиримся!» — поклонилась ей до земли и взяла ее руку поцеловала: вот тебе, ей-богу, как завтрашний день хочу видеть, так поцеловала. И она, смотрю, наклоняется ко мне и в плечо меня чмок, гляжу — и тоже мою руку поцеловала, и сами мы между собою обе друг дружку обняли и поцеловались.

«Друг мой,— говорю,— ведь я не со злости какой или не для своей корысти, а для твоего же добра!» — толкую ей и по головке ее ласкаю, а она все этак скороговоркой:

«Хорошо, хорошо; благодарю вас, Домна Платоновна, благодарю».

«Вот *он,*— говорю,— завтра опять приедет».

«Ну что ж,— говорит,— ну что ж! очень хорошо, пусть приезжает».

Я ее опять по головке глажу, волоски ей за ушко заправляю, а она сидит и глазком с лампады не смигнет. Лампад горит перед образами таково тихо, сияние от икон на нее идет, и вижу, что она вдруг губами все шевелит, все шевелит.

«Что ты,— спрашиваю,— душечка, богу это, что ли, молишься?»

«Нет,— говорит,— это я, Домна Платоновна, так».

«Что ж,— говорю,— я думала, что ты это молишься, а так самому с собой разговаривать, друг мой, не годится. Это только одни помешанные сами с собою разговаривают».

«Ах,— отвечает она мне,— я,— говорит,— Домна Платоновна, уж и сама думаю, что я, кажется, помешанная. На что я только иду! на что я это иду!» — заговорила она вдруг, и в грудь себя таково изо всей силы ударяет.

«Что ж,— говорю,— делать? Так тебе, верно, путь такой тяжелый назначен».

«Как,— говорит,— такой мне путь назначен? Я была честная девушка! я была честная жена! Господи! господи! да где же ты? Где же, где бог?»

«Бога,— говорю,— читается, друг мой, никто же виде и нигде же».

«А где же есть сожалительные, добрые христиане? Где они? где?»

«Да здесь,— говорю,— и христиане».

«Где?»

«Да как *где?* Вся Россия — всё христиане, и мы с тобой христианки».

«Да, да,— говорит,— и мы христианки...» — и сама, вижу, эти слова выговаривает и в лице страшная становится. Словно она с кем с невидимым говорит.

«Фу,— говорю,— да сумасшедшая ты, что ли, в самом деле? что ты меня пужаешь-то? что ты ропот-то на создателя своего произносишь?»

Смотрю: сейчас она опять смирилась, плачет опять тихо и рассуждает:

«Из-за чего,— говорит,— это я только все себе наделала? Каких я людей слушала? Разбили меня с мужем; натолковали мне, что он и тиран и варвар, когда это совсем неправда была, когда я, *я сама,* презренная и низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди! подлые вы люди! сбили меня; насулили мне здесь горы золотые, а не сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил, смотреть на меня не хочет, писем моих не читает. А завтра я... бррр...х!»

Вся даже задрожала.

«Маменька! — стала звать,— маменька! если б ты меня теперь, душечка, видела? Если б ты, чистенький ангел мой, на меня теперь посмотрела из своей могилки? Как она нас, Домна Платоновна, воспитывала! Как мы жили хорошо; ходили всегда чистенькие; все у нас в доме было такое хорошенькое; цветочки мама любила; бывало,— говорит,— возьмет за руки и пойдем двое далеко... в луга пойдем...»

Тут-то, знаешь ты, сон у меня удивительный — слушала я, как это хорошо все она вспоминает, и заснула.

Ну, представь же ты теперь себе: сплю это; заснула у нее, на ее постеленке, и как пришла к ней, совсем даже в юбке заснула, и опять тебе говорю, что сплю я свое время крепко, и снов никогда никаких не вижу, кромя как разве к какому у меня воровству; а тут все это мне видятся рощи такие, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Будто такая она маленькая, такая хорошенькая: головка у нее русая, вся в кудряшках, и носит она в ручках веночек, а за нею собачка, такая беленькая собачка, и все на меня гам-гам, гам-гам — будто сердится и укусить меня хочет. Я будто нагинаюсь, чтоб поднять палочку, чтоб эту собачку от себя отогнать, а из земли вдруг мертвая ручища: хвать меня вот за самое за это место, за кость. Вскинулась я, смотрю — свое время я уж проспала и руку страсть как неловко перележала. Ну, оделась я, помолилась богу и чайку напилась, а она все спит.

«Пора,— говорю,— Леканида Петровна, вставать; чай,— говорю,— на конфорке стоит, а я, мой друг, ухожу».

Поцеловала ее на постели в лоб, истинно говорю тебе, как дочь родную жалеючи, да из двери-то выходя, ключик это потихоньку вынула да в карман.

«Так-то,— думаю,— дело честнее будет».

Захожу к генералу и говорю: «Ну, ваше превосходительство, теперь дело не мое. Я свое сделала — пожалуйте поскорей»,— и ему отдала ключ.

— Ну-с,— говорю,— милая Домна Платоновна, не на этом же все кончилось?

Домна Платоновна засмеялась и головой закачала с таким выражением, что смешны, мол, все люди на белом свете.

— Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю — огня нет.

«Леканида Петровна!» — зову.

Слышу, она на моей постели ворочается.

«Спишь?» — спрашиваю; а самое меня, знаешь, так смех и подмывает.

«Нет, не сплю»,— отвечает.

«Что ж ты огня, мол, не засветишь?»

«На что ж он мне,— говорит,— огонь?»

Зажгла я свечу, раздула самоваришку, зову ее чай пить.

«Не хочу,— говорит,— я»,— а сама все к стенке заворачивается.

«Ну, по крайности,— говорю,— встань же, хоть на свою постель перейди: мне мою постель надо поправить».

Вижу, поднимается, как волк угрюмый. Взглянула исподлобья на свечу и глаза рукой заслоняет.

«Что ты,— спрашиваю,— глаза закрываешь?»

«Больно,— отвечает,— на свет смотреть».

Пошла, и слышу, как была опять совсем в платье одетая, так и повалилась.

Разделась и я как следует, помолилась богу, но все меня любопытство берет, как тут у них без меня были подробности? К генералу я побоялась идти: думаю, чтоб опять афронта[1] какого не было, а ее спросить даже следует, но она тоже как-то не допускает. Дай, думаю, с хитростью к ней подойду. Вхожу к ней в каморку и спрашиваю:

«Что, никого,— говорю,— тут, Леканида Петровна, без меня не было?»

Молчит.

«Что ж,— говорю,— ты, мать, и ответить не хочешь?»

А она с сердцем этак: «Нечего,— говорит,— вам меня расспрашивать».

---

[1] Отпора, оскорбления *(франц.)*.

«Как же это,— говорю,— нечего мне тебя расспрашивать? Я хозяйка».

«Потому,— говорит,— что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете»,— и это, уж я слышу, совсем другим тоном говорит.

Ну, тут я все дело, разумеется, поняла.

Она только вздыхает; и пока я улеглась и уснула — все вздыхает.

— Это,— говорю,— Домна Платоновна, уж и конец?

— Это первому действию, государь мой, конец.

— А во втором-то что же происходило?

— А во втором она вышла против меня мерзавка — вот что во втором происходило.

— Как же,— спрашиваю,— это, Домна Платоновна, очень интересно, как так это сделалось?

— А так, сударь мой, и сделалось, как делается: силу человек в себе почуял, ну сейчас и свиньей стал.

— И вскоре,— говорю,— это она так к вам переменилась?

— Тут же таки. На другой день уж всю это свою козью прыть показала. На другой день я, по обнаковению, в свое время встала, сама поставила самовар и села к чаю около ее постели в каморочке, да и говорю: «Иди же,— говорю,— Леканида Петровна, умывайся да богу молись, чай пора пить». Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я к этой бумажке, чтоб поднять ее, а она вдруг сама, как ястреб, на нее бросается.

«Не троньте!» — говорит, и хап ее в руку.

Вижу, бумажка сторублевая.

«Что ж ты,— говорю,— так, матушка, рычишь?»

«Так хочу, так и рычу».

«Успокойся,— говорю,— милая; я, слава богу, не Дисленьша, в моем доме никто у тебя твоего добра отнимать не станет».

Ни слова она мне в ответ не сказала: мой чай пьет и на меня ж глядеть не хочет; возьми ты это, хоть кому-нибудь доведися — станет больно. Ну, однако, я ей это спустила, думала, что она это еще в расстройке, и точно, вижу, что как это ворот-то у нее в рубашке широкий, так видно, знаешь, как грудь-то у ней так вот и вздрагивает, и на что, я тебе сказывала, была она собою телом и бела и розовая, точно пух в атласе, а тут, знаешь, будто вдруг она какая-то темная мне показалась телом, и всё у нее по голым плечам-то сиротки вспрыгивают, пупырышки эти такие, что вот с холоду когда выступают. Холеной неженке первый снежок труден. Я ее даже молча и пожалела еще и никак себе не воображала, какая она ехидная.

Вечером прихожу: гляжу — она сидит перед свечкой и рубаш-

ку себе новую шьет, а на столе перед ней еще так три, не то четыре рубашки лежат прикроенные.

«Почем,— спрашиваю,— брала полотно?»

А она этак тихо-тихохонько мне вот что отвечает:

«Я,— говорит,— Домна Платоновна, желала вас просить: оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разговорами».

Смотрю, вид у нее такой покойный, будто совсем и не сердится. «Ну,— думаю,— матушка, когда ты такая, так и я же к тебе стану иная».

«Я,— говорю ей,— Леканида Петровна, в своем доме хозяйка и все говорить могу; а тебе если мои разговоры неприятны, так не угодно ли,— говорю,— отправляться куда угодно».

«И не беспокойтесь,— говорит,— я и отправлюсь».

«Только прежде всего надо,— я говорю,— рассчитаться: честные люди, не рассчитавшись, не съезжают».

«Опять,— говорит,— не беспокойтесь».

«Я,— отвечаю,— не беспокоюсь»,— ну, только считаю ей за полтора месяца за квартиру десять рублей и что пила-ела пятнадцать рублей, да за чай, говорю, положим хоть три целковых, тридцать один целковый, говорю. За свечки тут-то не посчитала, и что в баню с собой два раза ее брала, и то тоже забыла.

«Очень хорошо-с,— отвечает,— все будет вам заплачено».

На другой день вечером ворочаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидит себе рубашку шьет, а на стенке, так насупротив ее, на гвоздике висит этакой бурнус, черный атласный, хороший бурнус, на гроденаплевой подкладке и на пуху. Закипело у меня, знаешь, что все это через меня, через мое радетельство получила, да еще без меня же, словно будто потоймя от меня справляет.

«Бурнусы-то,— говорю,— можно б, мне кажется, погодить справлять, а прежде б с долгами расчесться».

Она на эти мои слова сейчас опущает белу рученьку в карман; вытаскивает оттуда бумажку и подает. Смотрю, в этой бумажке аккурат тридцать и один целковый.

Взяла я деньги и говорю: «Благодарствуйте,— говорю,— Леканида Петровна». Уж «вы» ей, знаешь, нарочно говорю.

«Не за что-с,— отвечает,— а сама и глаз на меня даже с работы не вскинет; все шьет, все шьет; так игла-то у нее и летает.

«Постой же,— думаю,— змейка ты зеленая; не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась».

«Это,— говорю,— Леканида Петровна, вы мне мои расходы вернули, а что ж вы мне за мои за хлопоты пожалуете?»

«За какие,— спрашивает,— за хлопоты?»

«Как же,— говорю,— я вам стану объяснять? сами, чай, понимаете».

А она это шьет, наперстком-то по рубцу водит, да и говорит, не глядя: «Пусть,— говорит,— вам за эти ваши милые хлопоты платит тот, кому они были нужны».

«Да ведь вам,— говорю,— они больше всех нужны-то были».

«Нет, мне,— говорит,— они не были нужны. А впрочем, сделайте милость, оставьте меня в покое».

Довольно с тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю с нею, и не говорю.

Только наутро, где бы пить чай, смотрю — она убралась; рубашку эту, что ночью дошила, на себя надела, недошитые свернула в платочек; смотрю, нагинается, из-под кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достает... Прехорошенькая шляпочка... все во всем ее вкусе... Надела ее и говорит: «Прощайте, Домна Платоновна».

Жаль мне ее опять тут, как дочь родную, стало: «Постой же,— говорю ей,— постой, хоть чаю-то напейся!»

«Покорно благодарю,— отвечает,— я у себя буду пить чай».

Понимай, значит,— то, что *у себя*! Ну, бог с тобой, я и это мимо ушей пустила.

«Где ж,— говорю,— ты будешь жить?»

«На Владимирской,— говорит,— в Тарховом доме».

«Знаю,— говорю,— дом отличный, только дворники большие повесы».

«Мне,— говорит,— до дворников дела нет».

«Разумеется,— говорю,— мой друг, разумеется! Комнатку себе, что ли, наняла?»

«Нет,— отвечает,— квартиру взяла, с кухаркой буду жить».

Вон, вижу, куда заиграло! «Ах ты, хитрая! — говорю,— хитрая! — шутя на нее, знаешь, пальцем грожусь.— Зачем же,— говорю,— ты меня обманывала-то, говорила, что к мужу-то поедешь?»

«А вы,— говорит,— думаете, что я вас обманывала?»

«Да уж,— отвечаю,— чтó тут думать! когда б имела желание ехать, то, разумеется, не нанимала б тут квартиры».

«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, как мне вас жалко! ничего вы не понимаете».

«Ну,— говорю,— уж не хитри, душечка! Вижу, что ты умно обделала дельце».

«Да вы,— говорит,— чтó это толкуете! Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят?»

«Ах, мать ты моя! что ты это,— отвечаю,— себя так уж очень мерзавишь! И в пять раз мерзавней тебя, да с мужьями живут».

А она, уж совсем это на пороге-то стоючи, вдруг улыбнулась, да и говорит: «Нет, извините меня, Домна Платоновна, я на вас

сердилась; ну, а вижу, что на вас нельзя сердиться, потому что вы совсем глупы».

Это вместо прощанья-то! нравится это тебе? «Ну,— подумала я ей вслед,— глупа-неглупа, а, видно, умней тебя, потому, что́ я захотела, то с тобой, с умницей, с воспитанной, и сделала».

Так она от меня сошла, не то что с ссорою, а все как с небольшим удовольствием. И не видала я ее с тех пор, и не видала, я думаю, больше как год. В это-то время у меня тут как-то работку бог давал: четырех купцов я женила; одну полковницкую дочь замуж выдала; одного надворного советника на вдове, на купчихе, тоже женила, ну и другие разные дела тоже перепадали, а тут это товар тоже из своего места насылали — так время и прошло. Только вышел тут такой случай: была я один раз у этого самого генерала, с которым Леканидку-то познакомила: к невестке его зашла. С сыном-то с его я давно была знакома: такой тоже весь в отца вышел. Ну, прихожу я к невестке, мантиль блондовую она хотела дать продать, а ее и нет: в Воронеж, говорят, к Митрофанию-угоднику поехала.

«Зайду,— думаю,— по старой памяти к барину».

Всхожу с заднего хода, никого нет. Я потихонечку топы-топы, да одну комнать прошла и другую, и вдруг, сударь ты мой, слышу Леканидкин голос: «Шарман мой! — говорит,— я,— говорит,— люблю тебя; ты одно мое счастье земное!»

«Отлично,— думаю,— и с папенькой и с сыночком романсы проводит моя Леканида Петровна», да сама опять топы-топы да теми же пятами вон. Узнаю-поузнаю, как это она познакомилась с этим, с молодым-то,— аж выходит, что жена-то молодого сама над нею сжалилась, навещать ее стала потихоньку, все это, знаешь, жалеючи ее, что такая будто она дамка образованная да хорошая; а она, Леканидка, ей, не хуже как мне, и отблагодарила. Ну, ничего, не мое это, значит, дело; знаю и молчу; даже еще покрываю этот ее грех, и где следует виду этого не подаю, что знаю. Прошло опять чуть не с год ли. Леканидка в ту пору жила в Кирпичном переулке. Собиралась я это на средокрестной неделе говеть и иду этак по Кирпичному переулку, глянула на дом-то да думаю: как это нехорошо, что мы с Леканидой Петровной такое время поссорившись; тела и крови готовясь принять — дай зайду к ней, помирюсь! Захожу. Парад такой в квартире, что лучше требовать нельзя. Горничная — точно как барышня.

«Доложите,— говорю,— умница, что, мол, кружевница Домна Платоновна желает их видеть».

Пошла и выходит, говорит: «Пожалуйте».

Вхожу в гостиную; таково тоже все парадно, и на диване си-

дит это сама Леканидка и генералова невестка с ней: обе кофий кушают. Встречает меня Леканидка будто и ничего, будто со вчера всего только не видались.

Я тоже со всей моей простотой: «Славно,— говорю,— живешь, душечка; дай бог тебе и еще лучше».

А она с той что-то вдруг и залопотала по-французски. Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, как дура, глазею по комнате, да и зевать стала.

«Ах,— говорит вдруг Леканидка,— не хотите ли вы, Домна Платоновна, кофию?»

«Отчего ж,— говорю,— позвольте чашечку».

Она это сейчас звонит в серебряный колокольчик и приказывает своей девке: «Даша,— говорит,— напойте Домну Платоновну кофием».

Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенько, что́ такое значит *напойте*; только смотрю, так минут через десять эта самая ее Дашка входит опять и докладывает: «Готово,— говорит,— сударыня».

«Хорошо,— говорит ей в ответ Леканидка, да и оборачивается ко мне: — Подите,— говорит,— Домна Платоновна: она вас напоит».

Ух, уж на это меня взорвало! Сверзну я ее, подумала себе, но удержалась. Встала и говорю: «Нет, покорно вас благодарю, Леканида Петровна, на вашем угощении. У меня,— говорю,— хоть я и бедная женщина, а у меня и свой кофий есть».

«Что ж,— говорит,— это вы так рассердились?»

«А то,— прямо ей в глаза говорю,— что вы со мной мою хлеб-соль вместе кушивали, а меня к своей горничной посылаете: так это мне, разумеется, обидно».

«Да моя,— говорит,— Даша — честная девушка; ее общество вас оскорблять не может»,— а сама будто, показалось мне, как улыбается.

«Ах ты, змея,— думаю,— я тебя у сердца моего пригрела, так ты теперь и по животу ползешь!» «Я,— говорю,— у этой девицы чести ее нисколько не снимаю, ну только не вам бы,— говорю,— Леканида Петровна, меня с своими прислугами за один стол сажать».

«А отчего это,— спрашивает,— так, Домна Платоновна, не мне?»

«А потому,— говорю,— матушка, что вспомни, что́ ты была, и посмотри, что́ ты есть и кому ты всем этим обязана».

«Очень,— говорит,— помню, что была я честной женщиной, а теперь я дрянь и обязана этим вам, вашей доброте, Домна Платоновна».

«И точно,— отвечаю,— речь твоя справедлива, прямая ты дрянь. В твоем же доме, да ничего не боясь, в глаза тебе эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь и есть, а не я тебя дрянью сделала».

А сама, знаешь, беру свой саквояж.

«Прощай,— говорю,— госпожа великая!»

А эта генеральская невестка-то чахоточная как вскочит, дохлая: «Как вы,— говорит,— смеете оскорблять Леканиду Петровну!»

«Смею,— говорю,— сударыня!»

«Леканида Петровна,— говорит,— очень добра, но я, наконец, не позволю обижать ее в моем присутствии: она мой друг».

«Хорош,— говорю,— друг!»

Тут и Леканидка, гляжу, вскочила да как крикнет: «Вон,— говорит,— гадкая ты женщина!»

«А! — говорю,— гадкая я женщина? Я гадкая, да я с чужими мужьями романсов не провождаю. Какая я ни на есть, да такого не делала, чтоб и папеньку и сыночка одними прелестями-то своими прельщать! Извольте,— говорю,— сударыня, вам вашего друга, уж вполне,— говорю,— друг».

«Лжете,— говорит,— вы! Я не поверю вам, вы это со злости на Леканиду Петровну говорите».

«Ну, а со злости, так вот же,— говорю,— теперь ты меня, Леканида Петровна, извини; теперь,— говорю,— уж я тебя сверзну»,— и все, знаешь, что́ слышала, что Леканидка с мужем-то ее тогда чекотала, то все им и высыпала на стол, да и вон.

— Ну-с,— говорю,— Домна Платоновна?

— Бросил ее старик после этого скандала.

— А молодой?

— Да с молодым нешто у нее интерес был какой! С молодым у нее, как это говорится так,— пур-амур любовь шла. Тоже ведь, гляди ты, шушваль этакая, а без любви никак дышать не могла. Как же! нельзя же комиссару без штанов быть. А вот теперь и без любви обходится.

— Вы,— говорю,— почему это знаете, что обходится?

— А как же не знаю! Стало быть, что обходится, когда живет в такой жизни, что нынче один князь, а завтра другой граф; нынче англичанин, завтра итальянец или ишпанец какой. Уж тут, стало, не любовь, а деньги. Бзырит по магазинам да по Невскому в такой коляске лежачей на рысаках катается...

— Ну, так вы с тех пор с нею и не встречаетесь.

— Нет. Зла я на нее не питаю, но не хожу к ней. Бог с нею совсем! Раз как-то на Морской нынче по осени выхожу от одной дамы, а она на крыльцо всходит. Я таки дала ей дорогу и говорю:

«Здравствуйте, Леканида Петровна!» — а она вдруг, зеленая вся, наклонилась ко мне, с крылечка-то, да этак к самому к моему лицу, и с ласковой такой миной отвечает: «Здравствуй, мерзавка!»

Я даже не утерпел и рассмеялся.

— Ей-богу! «Здравствуй,— говорит,— мерзавка!» Хотела я ей тут-то было сказать: не мерзавь, мол, матушка, сама ты нынче мерзавка, да подумала, что лакей-то этот за нею, и зонтик у него большой в руках, так уж проходи, думаю, налево, французская королева.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Со времени сообщения мне Домною Платоновной повести Леканиды Петровны прошло лет пять. В течение этих пяти лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадом его испарений и хандрить под угнетающим впечатлением его чахоточных белых ночей,— Домна Платоновна была все та же. Везде она меня как-то случайно отыскивала, встречалась со мной с дружескими поцелуями и объятиями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные происки человеческого рода, избравшего ее, Домну Платоновну, своей любимой жертвой и каким-то вечным игралищем. Много рассказала мне Домна Платоновна в эти пять лет разных историй, где она была всегда попрана, оскорблена и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих.

Разнообразны, странны и многообильны всякими приключениями бывали эти интересные и бесхитростные рассказы моей добродушной Домны Платоновны. Много я слышал от нее про разные свадьбы, смерти, наследства, воровства-кражи и воровства-мошенничества, про всякий нагольный и крытый разврат, про всякие петербургские мистерии и про вас, про ваши назидательные похождения, мои дорогие землячки Леканиды Петровны, про вас, везущих сюда с вольной Волги, из раздольных степей саратовских, с тихой Оки и из золотой благословенной Украины свои свежие, здоровые тела, свои задорные, но незлобивые сердца, свои безумно смелые надежды на рок, на случай, на свои ни к чему не годные здесь силы и порывания.

Но возвращаемся к нашей приятельнице Домне Платоновне. Вас, кто бы вы ни были, мой снисходительный читатель, не должно оскорблять, что я назвал Домну Платоновну нашей общей приятельницей. Предполагая в каждом читателе хотя самое малое знакомство с Шекспиром, я прошу его припомнить то гамлетовское выражение, что «если со всяким человеком обращаться по достоинству, то очень немного найдется таких, которые не заслуживали бы

порядочной оплеухи». Трудно бывает проникнуть во святая святых человека!

Итак, мы с Домной Платоновной все водили хлеб-соль и дружбу; все она навещала меня и вечно, поспешая куда-нибудь по делу, засиживалась по целым часам на одном месте. Я тоже был у Домны Платоновны два или три раза в ее квартире у Знаменья и видел ту каморочку, в которой укрывалась до своего акта отречения Леканида Петровна, видел ту кондитерскую, в которой Домна Платоновна брала песочное пирожное, чтобы подкормить ее и утешить; видел, наконец, двух свежепривозных молодых «дамок», которые прибыли искать в Петербурге счастья и попали к Домне Платоновне «на Леканидкино место»; но никогда мне не удавалось выведать у Домны Платоновны, какими путями шла она и дошла до своего нынешнего положения и до своих оригинальных убеждений насчет собственной абсолютной правоты и всеобщего стремления ко всякому обману. Мне очень хотелось знать, что́ такое происходило с Домной Платоновной прежде, чем она зарядила: «Э, ге-ге, нет уж ты, батюшка, со мной, сделай милость, не спорь; я уж это лучше тебя знаю». Хотелось знать, какова была та благословенная купеческая семья на Зуше, в которой (то есть в семье) выросла этакая круглая Домна Платоновна, у которой и молитва, и пост, и собственное целомудрие, которым она хвалилась, и жалость к людям сходились вместе с сватовскою ложью, артистическою наклонностью к устройству коротеньких браков не любви ради, а ради интереса, и т. п. Как это, я думал, все пробралось в одно и то же толстенькое сердце и уживается в нем с таким изумительным согласием, что сейчас одно чувство толкает руку отпустить плачущей Леканиде Петровне десять пощечин, а другое поднимает ноги принести ей песочного пирожного; то же сердце сжимается при сновидении, как мать чистенько водила эту Леканиду Петровну, и оно же спокойно бьется, приглашая какого-то толстого борова поспешить как можно скорее запачкать эту Леканиду Петровну, которой теперь нечем и запереть своего тела!

Я понимал, что Домна Платоновна не преследовала этого дела в виде промысла, а принимала *по-питерски*, как какой-то неотразимый закон, что женщине нельзя выпутаться из беды иначе, как на счет своего собственного падения. Но все-таки, что же ты такое, Домна Платоновна? Кто тебя всему этому вразумил и на этот путь поставил? Но Домна Платоновна, при всей своей словоохотливости, терпеть не могла касаться своего про́шлого.

Наконец неожиданно вышел такой случай, что Домна Платоновна, совершенно ненароком и без всяких с моей стороны подходов, рассказала мне, как она была *проста* и как «они» ее *вышколили* и довели до того, что она *теперь никому на синь-порох не*

верит. Не ждите, любезный читатель, в этом рассказе Домны Платоновны ничего цельного. Едва ли он много поможет кому-нибудь выяснить себе процесс умственного развития этой петербургской деятельницы. Я передаю вам дальнейший рассказ Домны Платоновны, чтобы немножко вас позабавить и, может быть, дать вам случай один лишний раз призадуматься над этой тупой, но страшной силой «петербургских обстоятельств», не только создающих и выработывающих Домну Платоновну, но еще предающих в ее руки лезущих в воду, не спрося броду, Леканид, для которых здесь Домна становится тираном, тогда как во всяком другом месте она сама чувствовала бы себя перед каждою из них парией или много что шутихой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Был я в Петербурге болен и жил в то время в Коломне. Квартира у меня, как выразилась Домна Платоновна, «была какая-то особенная». Это были две просторные комнаты в старинном деревянном доме у маленькой деревянной купчихи, которая недавно схоронила своего очень благочестивого супруга и по вдовьему положению занялась ростовщичеством, а свою прежнюю опочивальню, вместе с трехспальною кроватью, и смежную с спальней гостиную комнату, с громадным киотом, перед которым ежедневно маливался ее покойник, пустила внаем.

У меня в так называемом зале были: диван, обитый настоящею русской кожей; стол круглый, обтянутый полинявшим фиолетовым плисом с совершенно бесцветною шелковою бахромою; столовые часы с медным арапом; печка с горельефной фигурой во впадине, в которой настаивалась настойка; длинное зеркало с очень хорошим стеклом и бронзовою арфою на верхней доске высокой рамы. На стенах висели: масляный портрет покойного императора Александра I; около него, в очень тяжелых золотых рамах за стеклами, помещались литографии, изображавшие четыре сцены из жизни королевы Женевьевы; император Наполеон по инфантерии и император Наполеон по кавалерии; какая-то горная вершина; собака, плавающая на своей конуре, и портрет купца с медалью на анненской ленте. В дальнем углу стоял высокий, трехъярусный образник с тремя большими иконами с темными ликами, строго смотревшими из своих блестящих золоченых окладов; перед образником лампада, всегда тщательно зажигаемая моею набожной хозяйкой, а внизу под образами шкафик с полукруглыми дверцами и бронзовым кантом наместе створа. Все это как будто не в Петербурге, а будто на Замоскворечье или даже в самом городе Мценске. Спальня моя была еще более мценская; даже мне казалось, что та трехспальная постель, в пуховиках которой я утопал, была не постель,

а именно сам Мценск, проживающий инкогнито в Петербурге. Стоило только мне погрузиться в эти пуховые волны, как какое-то снотворное, маковое покрывало тотчас надвигалось на мои глаза и застилало от них весь Петербург с его веселящейся скукой и скучающей веселостью. Здесь, при этой-то успокоивающей мценской обстановке, мне снова довелось всласть побеседовать с Домной Платоновной.

Я простудился, и врач велел мне полежать в постели.

Раз, так часу в двенадцатом серенького мартовского дня, лежу я, уже выздоравливающий, и, начитавшись досыта, думаю: «Не худо, если бы кто-нибудь и зашел», да не успел я так подумать, как словно с этого моего желания сталось — дверь в мою залу скрипнула, и послышался веселый голос Домны Платоновны:

— Вот как это у тебя здесь прекрасно! и образа, и сияние перед божьим благословением — очень-очень даже прекрасно.

— Матушка,— говорю,— Домна Платоновна, вы ли это?

— Да некому,— отвечает,— друг мой, и быть, как не мне.

Поздоровались.

— Садитесь! — прошу Домну Платоновну.

Она села на креслице против моей постели и ручки свои с белым платочком на коленочки положила.

— Чем так хвораешь? — спрашивает.

— Простудился,— говорю.

— А то нынче очень много народу всё на животы жалуются.

— Нет, я,— говорю,— я на живот не жалуюсь.

— Ну, а на живот не жалуешься, так это пройдет. Квартира у тебя нынче очень хороша.

— Ничего,— говорю,— Домна Платоновна.

— Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была испорчена и на голоса крикивала, да, верно, ей это прошло.

— Не знаю,— говорю,— что-то будто не слышно, не кричит.

— А у меня-то, друг мой, какое горе! — проговорила Домна Платоновна своим жалостным голосом.

— Что такое, Домна Платоновна?

— Ах, такое, дружочек, горе, такое горе, что... ужасное, можно сказать, и горе и несчастье, все вместе. Видишь, вон в чем я нынче товар-то ношу.

Посмотрел я, перегнувшись с кровати, и вижу на столике кружева Домны Платоновны, увязанные в черном шелковом платочке с белыми каемочками.

— В трауре,— говорю.

— Ах, милый, в трауре, да в каком еще трауре-то!

— Ну, а саквояж ваш где же?

— Да вот о нем-то, о саквояже-то, я и горюю. Пропал ведь он, мой саквояж.

— Как,— говорю,— пропал?

— А так, друг мой, пропал, что и по се два дни, как вспомню, так, господи, думаю, неужели ж таки такая я грешница, что ты этак меня испытуешь? Видишь, как удивительно это все случилось: видела я сон; вижу, будто приходит ко мне какой-то священник и приносит каравай, вот как, знаешь, в наших местах из каши из пшенной пекут. «На́,— говорит,— тебе, раба, каравай».— «Батюшка,— говорю,— на что же мне и к чему каравай?» Так вот видишь, к чему он, этот каравай-то, вышел — к пропаже.

— Как же это,— спрашиваю,— Домна Платоновна, было?

— Было это, друг мой, очень удивительно. Ты знаешь купчиху Кошеверову?

— Нет,— говорю,— не знаю.

— А не знаешь, и не надо. Мы с ней приятельницы, и то есть даже не совсем и приятельницы, потому что она женщина преехидная и довольно даже подлая, ну, а так себе, знаешь, вот вроде как с тобой, знакомы. Зашла я к ней так-то, на свое несчастье, вечером да и засиделась. Все она, чтоб ей пусто было совсем, право, посиди да посиди, Домна Платоновна. Все ведь с жиру-то чем убивалась? что муж ее не ревнует, а чего ревновать, когда с рожи она престрашная и язык у нее такой пребольшущий, как у попугая. Рассказывает, болели у нее зубы, да лекарь велел ей поставить пиявицу врачебную к зубу, а фершалов мальчик ей эту пиявицу к языку припустил, и пошел у нее с тех пор в языке опух. Опять же таки у меня в этот вечер и дело было: к Пяти углам надо было в один дом сбегать к купцу — жениться тоже хочет; но она, эта Кошевериха, не пущает.

«Погоди,— говорит,— киевской наливочки выпьем, да Фадей Семенович,— говорит,— от всенощной придет, чайку напьемся: куда тебе спешить?»

«Как,— говорю,— мать, куда спешить?»

Ну, а сама все-таки, как на грех, осталась, да это то водочки, то наливочки, так налилась, что даже в голове у меня, чувствую, засточертело.

«Ну,— говорю ей,— извини, Варвара Петровна, очень тебе на твоем угощении благодарна, только уж больше пить не могу».

Она пристает, потчует, а я говорю:

«Лучше, мать моя, и не потчуй. Я свою плипорцию знаю и ни за что больше пить не стану».

«Сожителя,— говорит,— подожди».

«И сожителя,— говорю,— ждать не буду».

Стала на своем, что иду и иду, и только. Потому, знаешь, чувствую, что в голове-то уж у меня чертополох пошел. Выхожу это я, сударь ты мой, за ворота, поворачиваю на Разъезжую и думаю: возьму извозчика. Стоит тут сейчас на угле живейный, я и говорю:

«Что, молодец, возьмешь к Знаменью божьей матери?»

«Пятиалтынный».

«Ну, как,— отвечаю ему,— не пятиалтынный! пятачок».

А сама, знаешь, и иду по Разъезжей. Светло везде; фонари горят; газ в магазинах; и пешком, думаю, дойду, если не хочешь, варвар, пятачка взять, этакую близость проехать.

Только вдруг, сударь мой, порх этак передо мною какой-то господин. В пальте, в фуражке это, в калошах, ну одно слово — барин. И откуда это только он передо мною вырос, вот хоть убей ты меня, никак не понимаю.

«Скажите,— говорит,— сударыня (еще сударыней, подлец, назвал), скажите,— говорит,— сударыня, где тут Владимирская улица?»

«А вот,— говорю,— милостивый государь, как прямо-то пойдете, да сейчас будет переулок направо...» — да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указываю, а он дерг меня за саквояж.

«Наше,— говорит,— вам сорок одно да кланяться холодно́»,— да и мах от меня.

«Ах,— говорю,— ты варвар! ах, мерзавец ты этакой!» Все это еще за одну надсмешку только считаю. Но с этим словом глядь, а саквояжа-то моего нет.

«Батюшки! — заорала я что было у меня силы, во всю мою глотку.— Батюшки! — ору,— помогите! догоните его, варвара! догоните его, злодея!» И сама-то, знаешь, бегу-натыкаюсь и людей-то за руки ловлю, тащу: помогите, мол, защитите: саквояж мой сейчас унес какой-то варвар! Бегу, бегу, ажно ноженьки мои стали, а его, злодея, и след простыл. Ну, и то сказать, где ж мне, дыне этакой, его, пса подчегарого, догнать! Обернусь так-то на народ, крикну: «Варвары! что ж вы глазеете! креста на вас нет, что ли?» Ну, бегла, бегла да и стала. Стала и реву. Так ревма и реву, как дура. Сижу на тунбе да и реву. Собрался около меня народ, толкует: «Пьяная, должно быть».

«Ах вы, варвары,— говорю,— этакие! Сами вы пьяные, а у меня саквояж сейчас из рук украдено».

Тут городовой подошел. «Пойдем,— говорит,— тетка, в квартал».

Приводит меня городовой в квартал, я опять закричала.

Смотрю, из двери идет квартальный поручик и говорит:

«Что ты здесь, женщина, этак шумишь?»

«Помилуйте,— говорю,— ваше высокоблагородие, меня так и так сейчас обкрадено».

«Написать,— говорит,— бумагу».

Написали.

«Теперь иди,— говорит,— с богом».

Я пошла.

Прихожу через день: «Что,— говорю,— мой саквояж, ваше благородие?»

«Иди,— говорит,— бумаги твои пошли, ожидай».

Ожидаю я, ожидаю; вдруг в часть меня требуют. Привели в этакую большую комнату, и множество там лежит этих саквояжев. Частный майор, вежливый этакой мужчина и собою красив, узнайте, говорит, ваш саквояж.

Посмотрела я — всё не мои саквояжи.

«Нет-с,— говорю,— ваше высокоблагородие, нет здесь моего саквояжа».

«Выдайте,— приказывает,— ей бумагу».

«А в чем,— спрашиваю,— ваше высокоблагородие, мне будет бумага?»

«В том,— говорит,— матушка, что вас обкрадено».

«Что ж,— докладываю ему,— мне по этой бумаге, ваше высокоблагородие?»

«А что ж, матушка, я вам еще могу сделать?»

Дали мне эту бумагу, что меня точно обкрадено, и идите, говорят, в благочинную управу. Прихожу я нонче в благочинную управу, подаю эту бумагу; сейчас выходит из дверей какой-то член, в полковницком одеянии, повел меня в комнату, где видимо-невидимо лежит этих саквояжев.

«Смотрите»,— говорит.

«Вижу, мол, ваше высокоблагородие; ну только моего саквояжа нет».

«Ну, погодите,— говорит,— сейчас вам генерал на бумаге подпишет».

Сижу я и жду-жду, жду-жду; приезжает генерал: подали ему мою бумагу, он и подписал.

«Что ж это такое генерал подписали на моей бумаге?» — спрашиваю чиновника.

«А подписали,— отвечает,— что вас обкрадено». Держу эту бумагу при себе.

— Держите,— говорю,— Домна Платоновна.

— Неравно сыщется.

— Что ж, на грех мастера нет.

— Ох, именно уж нет на грех мастера! Что б это мне, кабы знатье-то, остаться у нее, у Кошеверихи-то, переночевать.

— Да хоть бы,— говорю,— уж на извозчика-то вы не пожалели.

— Об извозчике ты не говори; извозчик все равно такой же плут. Одна ведь у них у всех, у подлецов, стачка.

— Ну где,— говорю,— так уж у всех одна стачка! Разве их мало, что ли?

— Да вот ты поспорь! Я уж это мошенничество вот как знаю.

Домна Платоновна поднесла вверх крепко сжатый кулак и посмотрела на него с некоторой гордостью.

— Со мной извозчик-то, когда я еще глупа была, лучше гораздо сделал,— начала она, опуская руку.— С вывалом, подлец, вез, да и обобрал.

— Как это,— говорю,— с вывалом?

— А так, с вывалом, да и полно: ездила я зимой на Петербургскую сторону, барыне одной мантиль кружевную в кадетский корпус возила. Такая была барынька маленькая и из себя нежная, ну, а станет торговаться — раскричится, настоящая примадона. Выхожу я от нее, от этой барыньки, а уж темнеет. Зимой рано, знаешь, темнеет. Спешу это, спешу, чтоб до пришпекта скорей, а из-за угла извозчик, и этакой будто вохловатый мужичок. Я, говорит, дешево свезу.

«Пятиалтынный, мол, к Знаменью»,— даю ему.

— Ну, как же это,— перебиваю,— разве можно давать так дешево, Домна Платоновна!

— Ну вот, а видишь, можно было. «Ближней дорогой,— говорит,— поедем». Все равно! Села я в сани — саквояжа тогда у меня еще не было: в платочке тоже все носила. Он меня, этот черт извозчик, и повез ближней дорогой, где-то по-за крепостью, да на Неву, да все по льду, да по льду, да вдруг как перед этим, перед берегом, насупротив самой Литейной, каа-ак меня чебурахнет в ухаб. Так меня, знаешь, будто снизу-то кто под самое под донышко-то чук! — я и вылетела... Вылетела я в одну сторону, а узелок и бог его знает куда отлетел. Подымаюсь я, вся чуня-чуней, потому вода по колдобинам стояла. «Варвар! — кричу на него,— что ты это, варвар, со мной сделал?» А он отвечает: «Ведь это,— говорит,— здесь ближняя дорога, здесь без вывала невозможно».— «Как,— говорю,— тиран ты этакой, невозможно? Разве так,— говорю,— возят?» А он, подлец, опять свое говорит: «Здесь, купчиха, завсегда с вывалом; я потому,— говорит,— пятиалтынный и взял, чтобы этой ближней дорогой ехать». Ну, говори ты с ним, с извергом! Обтираюсь я только да оглядываюсь; где мой узелочек-то, оглядываюсь, потому как раскинуло нас совсем врозь друг от друга. Вдруг откуда ни возьмись этакой офицер, или вроде как штатский какой с усами: «Ах ты, бездельник этакой! — говорит,—

мерзавец! везешь ты этакую даму полную и этак неосторожно?» — а сам к нему к зубам так и подсыкается.

«Садитесь,— говорит,— сударыня, садитесь, я вас застегну».

«Узелок,— говорю,— милостивый государь, я обронила, как он, изверг, встряхнул-то меня».

«Вот,— говорит,— вам ваш узелок»,— и подает.

«Ступай, подлец,— крикнул на извозчика,— да смотрри! А вы,— говорит,— сударыня, ежели он опять вас вывалит, так вы его без всяких околичностей в морду».

«Где,— отвечаю,— нам, женчинам, с ними, с мереньями, справиться».

Поехали.

Только, знаешь, на Гагаринскую взъехали — гляжу, мой извозчик чего-то пересмеивается.

«Чего, мол, умный молодец, еще зубы скалишь?»

«Да так,— говорит,— намеднясь я тут дешево жида вез, да как вспомню это, и не удержусь».

«Чего ж,— говорю,— смеяться?»

«Да как же,— говорит,— не смеяться, когда он мордою-то прямо в лужу, да как вскочит, да кричит *юх*, а сам все вертится».

«Чего же,— спрашиваю,— это он так юхал?»

«А уж так,— говорит,— видно, это у них по религии».

Ну, тут и я начала смеяться.

Как вздумаю этого жида, так и не могу воздержаться, как он бегает да кричит это *юх, юх*.

«Пустая же самая,— говорю,— после этого их и религия».

Приехали мы к дому к нашему, встаю я и говорю: «Хоша бы стоило тебя,— говорю,— изверга, наказать и хоть пятачок с тебя вычесть, ну, только греха одного боясь: нá тебе твой пятиалтынный».

«Помилуйте,— говорит,— сударыня, я тут ничем не причинен: этой ближней дорогой никак без вывала невозможно; а вам,— говорит,— матушка, ничего: с того растете».

«Ах, бездельник ты,— говорю,— бездельник! Жаль,— говорю,— что давешний барин мало тебе в шею-то наклал».

А он отвечает: «Смотри,— говорит,— ваше степенство, не оброни того, чтó он тебе-то наклал»,— да с этим *нно!* на лошаденку и поехал.

Пришла я домой, поставила самоварчик и к узелку: думаю, не подмок ли товар; а в узелке-то, как глянула, так и обмерла. Обмерла, я тебе говорю, совсем обмерла. Хочу взвесть голос, и никак не взведу; хочу идти, и ножки мои гнутся.

— Да что ж там такое было, Домна Платоновна?

— Что — стыдно сказать что: гадости одни были.

— Какие гадости?

— Ну известно, какие бывают гадости: шароварки скинутые — вот что было.

— Да как же,— говорю,— это так вышло?

— А вот и рассуждай ты теперь, как вышло. Меня попервоначалу это-то больше и испугало, что как он на Неве скинуть мог их да в узелок завязать. Вижу и себе не верю. Прибежала я в квартал, кричу: батюшки, не мой узел.

«Знаем,— говорят,— что *немой;* рассказывай толком».

Рассказала.

Повели меня в сыскную полицию. Там опять рассказала. Сыскной рассмеялся.

«Это, верно,— говорит,— он, подлец, из бани шел».

А враг его знает, откуда он шел, только как это он мне этот узелок подсунул?

— В темноте,— говорю,— не мудрено, Домна Платоновна.

— Нет, я к тому, что ты говоришь извозчик-то: не оброни, говорит, что́ накладено! Вот тебе и накладено, и разумей, значит, к чему эти его слова-то были.

— Вам бы,— говорю,— надо тогда же, садясь в сани, на узелок посмотреть.

— Да как, мой друг, хочешь смотри, а уж как обмошенничать тебя, так все равно обмошенничают.

— Ну, это,— говорю,— уж вы того...

— Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты сделай свое одолжение: в глазах тебя самого не тем, чем ты есть, сделают. Я тебе вот какой случай скажу, как в глаза-то нашего брата обделывают. Иду я — вскоре это еще как из своего места сюда приехала,— и надо мне было идти через Апраксин. Тогда там теснота была, не то что теперь, после пожару — теперь прелесть как хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну, иду я, иду себе. Вдруг откуда ни возьмись молодец этакой, из себя красивый: «Купи,— говорит,— тетенька, рубашку». Смотрю, держит в руках ситцевую рубашку, совсем новую, и ситец преотличный такой — никак не меньше как гривен шесть за аршин надо дать.

«Что ж,— спрашиваю,— за нее хочешь?»

«Два с полтиной».

«А что,— говорю,— из половинки уступишь?»

«Из какой половины?»

«А из любой,— говорю,— из какой хочешь». Потому что я знаю, что в торговле за всякую вещь всегда половину надо давать.

«Нет,— отвечает,— тетка, тебе, видно, не покупать хороших вещей»,— и из рук рубашку, знаешь, дергает.

«Дай же»,— говорю, потому вижу, рубашка отличная, целковых три кому не надо стоит.

«Бери,— говорю,— рупь».

«Пусти,— говорит,— мадам!» — дернул и, вижу, свертывает ее под полу и оглядывается. Известное дело, думаю, краденая; подумала так и иду, а он вдруг из-за линии выскакивает: «Давай,— говорит,— тетка, скорей деньги. Бог с тобой совсем: твое, видно, счастье владеть».

Я ему это в руки рупь-бумажку даю, а он мне самую эту рубаху скомканную отдает.

«Владай,— говорит,— тетенька», а сам верть назад и пошел.

Я положила в карман портмоне, да покупку-то эту свою разворачиваю, ан гляжу — хлоп у меня к ногам что-то упало. Гляжу — мочалка старая, вот что в небели бывает. Я тогда еще этих петербургских обстоятельств всех не знала, дивуюсь: что, мол, это такое? да на руки-то свои глядь, а у меня в руках лоскут! Того же самого ситца, что́ рубашка была, так лоскуток один с пол-аршина. А эти мереньё приказчики грохочут: «К нам,— трещат,— тетенька, пожалуйте; у нас,— говорят,— есть и фас-канифас и для глупых баб припас». А другой опять подходит: «У нас,— говорит,— тетенька, для вашей милости саван есть подержанный чудесный». Я уж это все мимо ушей пущаю: шут, думаю, с вами совсем. Даже, я тебе говорю, сомлела я; страх на меня напал, что́ это за лоскут такой? Была рубашка, а стал лоскут. Нет, друг мой, они как захотят, так всё сделают. Ты Егупова полковника знаешь?

— Нет, не знаю.

— Ну как, чай, не знать! Красивый такой, брюхастый: отличный мужчина. Девять лошадей под ним на войне убили, а он жив остался: в газетах писано было об этом.

— Я его все-таки, Домна Платоновна, не знаю.

— Что нам с ним один варвар сделал? Это, я тебе говорю, роман, да еще и романов-то таких немного — на театре разве только можно представить.

— Матушка,— говорю,— вы уж не мучьте, рассказывайте!

— Да, эту историю уж точно что стоит рассказать. Как он только называется?.. есть тут землемер... Кумовеев ни то Макавеев, в седьмой роте в Измайловском он жил.

— Бог с ним.

— Бог с ним? Нет, не бог с ним, а разве черт с ним, так это ему больше кстати.

— Да это я только о фамилии-то.

— Да, о фамилии — ну, это пожалуй; фамилия ничего — фамилия простая, а что сам уж подлец, так самый первый в столице подлец. Пристал: «Жени меня, Домна Платоновна!»

«Изволь,— говорю,— женю; отчего,— говорю,— не женить? — женю».

Из себя он тварь этакая видная, в лице белый и усики этак твердо носит.

Ну, начинаю я его сватать; отягощаюсь, хожу, выискала ему невесту из купечества — дом свой на Песках, и девушка порядочная, полная, румяная; в носике вот тут-то в самой в переносице хоть и был маленький изъянец, но ничего это — потому от золотухи это было. Хожу я, и его, подлеца, с собою вожу, и совсем уж у нас дело стало на мази. Тут уж я, разумеется, надзираю за ним как не надо лучше, потому что это надо делать безотходительно, да уж и был такой и слух, что он с одной девицей из купечества обручившись и деньги двести серебра на окипировку себе забрал, а им дал женитьбенную расписку, но расписка эта оказалась коварная, и ничего с ним по ней сделать не могли. Ну, уж знавши такое про человека, разумеется, смотришь в оба — нет-нет да и завернешь с визитом. Только прихожу, сударь мой, раз один к нему — а он, надо тебе знать, две комнаты занимал: в одной так у него спальния его была, а в другой вроде зальца. Вхожу это и вижу, дверь из зальцы в спальню к нему затворена, а какой-то этакой господин под окном, надо полагать вояжный;[1] потому ледунка у него через плечо была, и сидит в кресле и трубку курит. Это-то вот он самый, полковник-то Егупов, и будет.

«Что,— я говорю, этак сама-то к нему оборачиваюсь,— или,— говорю,— хозяина дома нет?»

А он мне на это таково сурово махнул головой и ничего не ответил, так что я не узнала: дома землемер или его нету.

Ну, думаю, может, у него там дамка какая, потому что хоть он и жениться собирается, ну а все же. Села я себе и сижу. Но нехорошо же, знаешь, так в молчанку сидеть, чтоб подумали, что ты уж и слова сказать не умеешь.

«Погода,— говорю,— стоит нынче какая преотличная».

Он это сейчас же на мои слова вскинул на меня глазами, да, как словно из бочки, как рявкнет: «Что,— говорит,— такое?»

«Погода,— опять говорю,— стоит очень приятная».

«Врешь,— говорит,— пыль большая».

Пыль таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тут же подумала, чтó ты, мол, это такой? Из каких таких взялся, что очень уж рычишь сердито?

«Вы,— говорю ему опять,— как Степану Матвеевичу — сродственник будете или приятели только, знакомые?»

---

[1] Путешествующий, проезжий *(франц.)*.

«Приятель»,— отвечает.

«Отличный,— говорю,— человек Степан Матвеевич».

«Мошенник,— говорит,— первой руки».

Ну, думаю, верно Степана Матвеевича дома нет.

«Вы,— говорю,— давно их изволите знать?»

«Да знал,— говорит,— еще когда баба девкой была».

«Это,— отвечаю,— сударь, и с тех пор, как я их зазнала, может, не одна уж девка бабой ходит, ну только я не хочу греха на душу брать — ничего за ними худого не замечала».

А он ко мне этак гордо:

«Да у тебя на чердаке-то что́,— говорит,— напхано? — сено!»

«Извините,— говорю,— милостивый государь, у меня, слава моему создателю, пока еще на плечах не чердак, а голова, и не сено в ней, а то же самое, что и у всякого человека, что́ богом туда приназначено».

«Толкуй!» — говорит.

«Мужик ты,— думаю себе,— мужиком тебе и быть».

А он в это время вдруг меня и спрашивает:

«Ты,— говорит,— его брата Максима Матвеева знаешь?»

«Не знаю,— говорю,— сударь: кого не знаю, про того и лгать не хочу, что знаю».

«Этот,— говорит,— плут, а тот и еще почище. Глухой».

«Как,— говорю,— глухой?»

«А совсем-таки,— говорит,— глухой: одно ухо глухо, а в другом золотуха, и обоими не слышит».

«Скажите,— говорю,— как удивительно!»

«Ничего,— говорит,— тут нет удивительного».

«Нет, я, мол, только к тому, что один брат такой красавец, а другой — глух».

«Ну да; то-то совсем ничего в этом и нет удивительного; вон у меня у сестры на роже красное пятно, как лягушка точно сидит: что ж мне-то тут такого!»

«Родительница,— говорю,— верно, в своем интересе чем испугалась?»

«Самовар,— говорит,— ей девка на пузо вывернула».

Ну, я тут-то вежливо пожалела.

«Долго ли,— говорю,— с этими, с быстроглазыми, до греха»,— а он опять и начинает:

«Ты,— говорит,— если только не совсем ты дура, так разбери: он, этот глухой брат-то его, на лошадей охотник меняться».

«Так-с»,— говорю.

«Ну, а я его вздумал от этого отучить, взял да ему слепого коня и променял, что лбом в забор лезет».

«Так-с»,— говорю.

«А теперь мне у него для завода бычок понадобился, я у него этого бычка и купил и деньги отдал; а он, выходит, совсем не бык, а вол».

«Ах,— говорю,— боже мой, какая оказия! Ведь это,— говорю,— не годится».

«Уж разумеется,— говорит,— когда вол, так не годится. А вот я ему, глухому, за это вот какую шутку отшучу: у меня на этого его брата, Степана Матвеича, расписка во сто рублей есть, а у них денег нет; ну, так я им себя теперь и покажу».

«Это,— говорю,— точно, что можете показать».

«Так ты,— говорит,— так и знай, что этот Максим Матвеич — каналья, и я вот его только дождусь и сейчас его в яму».

«Я, мол, их точно в тонкость не знаю, а что сватаючи их, сама я их порочить не должна».

«Сватаешь!» — вскрикнул.

«Сватаю-с».

«Ах ты,— говорит,— дура ты, дура! Нешто ты не знаешь, что он женатый?»

«Не может,— говорю,— быть!»

«Вот тебе и не может, когда трое детей есть».

«Ах, скажите,— говорю,— пожалуйста!» «Ну, Степан,— думаю,— Матвеич, отличную ж вы было со мной штуку подшутили!» — и говорю, что, стало быть же, говорю, как я его теперь замечаю, он, однако, фортель!

А он, этот полковник Егупов, говорит: «Ты если хочешь кого сватать, так самое лучшее дело — меня сосватай».

«Извольте, мол».

«Нет, я,— говорит,— это тебе без всяких шуток, вправду говорю».

«Да извольте,— отвечаю,— извольте!»

«Ты мне, кажется, не веришь?»

«Нет-с, отчего же: это, мол, действительно, если человек имеет расположение от рассеянной жизни увольниться, то самое первое дело ему жениться на хорошей девушке».

«Или,— говорит,— хоть на вдове, но чтоб только с деньгами».

«Да, мол, или на вдове».

Пошли у нас тут с ним разговоры; дал он мне свой адрес, и стала я к нему ходить. Что только тоже я с ним, с аспидом, помучилась! Из себя страшный-большой и этакой фантастический — никогда он не бывает в одном положении, а всякого принимает по фантазии. Есть, разумеется, у людей разное расположение, ну только такого мужчину, как этот Егупов, не дай господи никакой жене на свете. Станет, бывало, бельма выпучит, а сам, как клоп, кровью нальется — орет: «Я тебя кверху дном поставлю и выворочу. Сей-

час наизнанку будешь!» Глядя на это, как он беснуется, думаешь: «Ах, обиду какую кровную ему кто нанес!» — а он сердит оттого, что не тем боком корова почесалась. Ну, однако, сосватала я и его на одной вдове на купеческой. Такая-то, тоже ему под пару, точно на заказ была спечена, туша присноблаженная. Ну-с, сударь ты мой, отбылись смотрины, и сговор назначили.

Приезжаем мы с ним на этот сговор, много гостей — родственники с невестиной стороны и знакомые, всё хорошего поколения, значительного, и смотрю, промеж гостей, в одном угле на стуле сидит этот землемер Степан Матвеич.

Очень это мне не показалось, что он тут, но ничего я не сказала.

Верно, думаю, должно быть, его из ямы выпустили, он и пришел по знакомству.

Ну, впрочем, идет все как следует. Прошла помолвка, прошло образование, и все ничего. Правда, дядя невестин, Колобов Семен Иваныч, купец, пьяный пришел и начал было врать, что это, говорит, совсем не полковник, а Федоровой банщицы сын. «Лизни,— говорит,— его кто-нибудь языком в ухо, у него такая привычка, что он сейчас за это драться станет. Я,— болтает,— его знаю; это он одел эполеты, чтоб пофорсить, но я с него эти эполеты сейчас сорву», ну, только этого же не допустили, и Семена Иваныча самого за это сейчас отвели в пустую половину, в холодную.

Но вдруг, во время самого благословения, отец невестин поднимает образ, а по зале как что-то загудет! Тот опять поднимает икону, а по зале опять гу-у-у-у! — и вдруг явственно выговаривает:

«Нечего,— говорит,— петь Исаю, когда Мануил в чреве».

Господи! даже оторол на всех напал. Невесте конфуз; Егупов, гляжу, тоже бельмами-то своими на меня.

Ну что, думаю, ты-то! ты-то что, батюшка, на меня остребенился, как черт на попа?

А в зале опять как застонет:

«К небесам в поле пыль летит, к женатому жениху — жена катит, богу молится, слезьми обливается».

Бросились туда-сюда — никого нет.

Боже мой, что тут поднялось! Невестин отец образ поставил да ко мне, чтоб бить; а я, видючи, что дело до меня доходит, хвост повыше подобрамши, да от него драла. Егупов божится, что он сроду женат не был: говорит, хоть справки наведите, а глас все свое, так для всех даже внимательно: «Не вдавайте,— говорит,— рабы, отроковицу на брак скверный». Все дело в расстрой! — Что ж, ты думаешь, все это было?.. Приходит ко мне после этого через

неделю Египов сам и говорит: «А знаешь,— говорит,— Домна, ведь это все подлец землемер пупком говорил!»

— Ну, как так,— спрашиваю,— Домна Платоновна, пупком?

— А пупком, или чревом там, что ли, бес его лукавый знает, чем он это каверзил. То есть я тебе говорю, что все это они нонче один перед другим ухитряются, один перед другим выдумывают, и вот ты увидишь, что они чисто все государство запутают и изнищут.

Я даже смутился при выражении Домною Платоновною совершенно неожиданных мною опасений за судьбы российского государства. Домна Платоновна, всеконечно, заметила это и пожелала полюбоваться производимым ею политическим эффектом.

— Да, право, ей-богу! — продолжала она ноткою выше.— Ты только сам, помилуй, скажи, что́ хитростев всяких настало? Тот летит по воздуху, что́ птице одной назначено; тот рыбою плавлет и на дно морское опускается; тот теперь — как на Адмиралтейской площади — огонь серный ест; этот животом говорит; другой — еще что другое, что́ человеку непоказанное — делает... Господи! бес, лукавый сам, и тот уж им повинуется, и все опять же таки не к пользе, а ко вреду. Со мной ведь один раз было же, что была я отдана бесам на поругание!

— Матушка,— говорю,— неужто и это было?

— Было.

— Так не томите, рассказывайте.

— Давно это, лет, может быть, двенадцать тому будет, молода я еще в те поры была и неопытна, и задумала я, овдовевши, торговать. Ну, чем, думаю, торговать? Лучше нечем, по женскому делу, как холстом, потому — женщина больше в этом понимает, что́ к чему принадлежит. Накуплю, думаю, на ярманке холста и сяду у ворот на скамеечке и буду продавать. Поехала я на ярманку, накупила холста, и надо мне домой ворочаться. Как, думаю, теперь мне с холстом домой ворочаться? А на двор на постоялый, хлоп, въезжает троешник.

«Везли мы,— сказывает,— из Киева, в коренную, на семи тройках орех, да только орех мы этот подмочили, и теперь,— говорит,— сделало с нас купечество вычет, и едем мы к дворам совсем без заработка».

«Где ж,— спрашиваю,— твои товарищи?»

«А товарищи,— отвечает,— кто куда в свои места поехали, а я думаю, не найду ли хоть седочков каких».

«Откуда же,— пытаюсь,— из каких местов ты сам?»

«А я куракинский,— говорит,— из села из Куракина».

Как раз это мне к своему месту. «Вот,— говорю,— я тебе одна седачка готовая».

Поговорили мы с ним и на рубле серебра порешили, что пойдет он по дворам, чтоб еще седоков собрать, а завтра чтоб в ранний обед и ехать.

Смотрю, завтра это вдруг валит к нам на двор один человек, другой, пятый, восьмой, и всё мужчины из торговцев, и красики такие полные. Вижу, у одного мешок, у другого — сумка, у третьего — чемодан, да еще ружье у одного.

«Куда ж,— говорю извозчику,— ты это нас всех запихаешь?»

«Ничего,— говорит,— улезете — повозка большая, сто пудов возим». Я, признаться, было хоть и остаться рада, да рупь-то ему отдан, и ехать опять не с кем.

С горем с таким и с неудовольствием, ну, однако, поехала. Только что за заставу мы выехали, сейчас один из этих седоков говорит: «Стой у кабака!» Пили они тут много и извозчика поят. Поехали. Опять с версту отъехали, гляжу — другой кричит: «Стой,— говорит,— здесь Иван Иваныч Елкин живет, никак,— говорит,— его минать не должно».

Раз они с десять этак останавливались всё у своего Ивана Иваныча Елкина.

Вижу я, что дело этак уж к ночи и что извозчик наш распьяным-пьяно-пьян сделался.

«Ты,— говорю,— не смей больше пить».

«Отчего это так,— отвечает,— не смей? Я и так,— говорит,— не смелый, я все это не смеючи действоваю».

«Мужик,— говорю,— ты, и больше ничего».

«Ну-к что ж, что мужик! а мне,— говорит,— абы водка».

«Тварь-то, глупец,— учу его,— пожалел бы свою!»

«А вот я,— говорит,— ее жалею»,— да с этим словом мах своим кнутовищем и пошел задувать. Телега-то так и подскакивает. Того только и смотрю, что сейчас опрокинемся, и жизни нашей конец. А те пьяные все заливаются. Один гармонию вынул, другой песню орет, третий из ружья стреляет. Я только молюсь: «Пятница Просковея, спаси и помилуй!»

Неслись мы, неслись во весь кульер, и стали кони наши наконец приставать, и поехали мы опять шагом. На дворе уж этак смерклось, и не то чтобы, как сказать, дождь ишел, а все будто туман брызгает. Руки у меня просто страсть как набрякли держамшись, и уж я рада-радешенька, что наконец мы едем тихо; сижу уж и голосу не подаю. А у тех тем часом, слышу, разговор пошел: один сказывает, что разбойники тут по дороге шляются, а другой отвечает ему, что он разбойников не боится, потому что у него ружье два раза стрелять может. Опять еще какой-то о мертвецах заговорил: я, рассказывает, мертвую кость имею, кого, говорит, этою костью обведу, тот сейчас мертвым сном заснет и не подымется; а

другой хвастается, что у него есть свеча из мертвого сала. Я это все слушала, и вдруг все словно кто меня стал за нос водить, и ударил на меня сон, и в одну минуту я заснула.

Только крепко я заснуть никак не могла, потому что все нас, словно орехи в решете, протряхивало, и во сне мне слышится, как будто кто-то говорит: «Как бы,— говорит,— нам эту чертову бабу от себя вон выкинуть, а то ног некуда протянуть». Но я все сплю.

Вдруг, сударь ты мой, слышу крик, визг, гам. Что такое? Гляжу — ночь, повозка наша стоит, и около нее всё вертятся, да кричат, а что́ кричат — не разобрать.

«Шурле-мурле, шире-мире-кравермир»,— орет один.

Наш это, что с ружьем-то ехал, бац из одного ружья — пистолет лопнул, а стрельбы нет, бац из другого — пистолет опять лопнул, а стрельбы нет.

Вдруг этот, что кричал-то, опять как заорет: шире-мире-кравермир! да с этим словом хап меня под руки-то из телеги да на поле, да ну вертеть, ну крутить. Боже мой, думаю, что ж это такое! Гляну, гляну вокруг себя — всё рожи такие темные, да всё вертятся и меня крутят да кричат: шире-мире! да за ноги меня, да ну раскачивать.

«Батюшка! — взмолилась я, такое над собой в первый раз видючи,— Никола божий амченский! триех дев непорочный невестителю! чистоты усердной хранителю! не допусти же ты им хоть наготу-то мою недостойную видеть!»

Только что я это в сердце своем проговорила, и вдруг чувствую, что тишина вокруг меня стала необъятная, и лежу будто я в поле, в зелени такой изумрудной, и передо мною, перед ногами моими плывет небольшое этакое озерцо, но пречистое, препрозрачное, и вокруг него, словно бахрома густая, стоит молодой тростник и таково тихо шатается.

Забыла я тут и про молитву, и все смотрю на этот тростник, словно сроду я его не видала.

Вдруг вижу я что же? Вижу, что с этого с озера поднимается туман, такой сизый, легкий туман, и, точно настоящая пелена, так по полю и расстилается. А тут под туманом на самой на середине озера вдруг кружочек этакой, как будто рыбка плеснулась, и выходит из этого кружочка человек, так маленький, росту не больше как с петуха будет; личико крошечное; в синеньком кафтанчике, а на головке зеленый картузик держит.

«Удивительный,— думаю,— какой человек, будто как куколка хорошая»,— и все на него смотрю, и глаз с него не спускаю, и совсем его даже не боюсь, вот таки ни капли не боюсь.

Только он, смотрю, начинает всходить-всходить, и все ко мне ближе, ближе и, на конец того дела, прыг прямо ко мне на грудь.

Не на самую, знаешь, на грудь, а над грудью стоит на воздухе и кланяется. Таково преважно поднял свой картузик и здравствуется.

Смех меня на него разбирает ужасный: «Где ты,— думаю,— такой смешной взялся?»

А он в это время хлоп свой картузик опять и говорит... да ведь что же говорит-то!

«Давай,— говорит,— Домочка, сотворим с тобой любовь!»

Так меня смех и разорвал.

«Ах ты,— говорю,— шиш ты этакой! Ну, какую ты можешь иметь любовь?»

А он вдруг задом ко мне верть и запел молодым кочетком: кука-реку-ку-ку!

Вдруг тут зазвенело, вдруг застучало, вдруг заиграло: стон, я тебе говорю, стоит. Боже мой, думаю, что ж это такое? Лягушки, карпии, лещи, раки, кто на скрыпку, кто на гитаре, кто в барабаны бьют; тот пляшет, тот скачет, того вверх вскидывает!

«Ах,— думаю,— плохо это! Ах, совсем это нехорошо! Огражду я себя,— думаю,— молитвой», да хотела так-то зачитать: «Да воскреснет бог»,—а на место того говорю: «Взвейся, выше понесися»,— и в это время слышу в животе у меня бум-бурум-бум, бум-бурум-бум.

«Что это, мол, я такое: тарбан, что ль?» — и гляжу, точно я тарбан. Стоит надо мной давешний человечек маленький и так-то на мне нарезывает.

«Ох,— думаю,— батюшки! ох, святые угодники!» — а он все по мне смычком-то пилит-пилит, и такое на мне выигрывает, и вальсы, и кадрели всякие, а другие еще поджигают: «Тарабань жесче, жесче тарабань!» — кричат.

Боль, тебе говорю, в животе непереносная, а все гуду. И так целую ночь целехонькую на мне тарабанили; целую ночь до бела до света была я им, крещеный человек, заместо тарбана; на утешение им, бесам, служила.

— Это,— говорю,— ужасно.

— И очень даже, мой друг, ужасно. Но тем это еще было ужаснее, что утром, как оттарабанили они на мне всю эту свою музыку, я оглядываюсь и вижу, что место мне совсем незнакомое: поле, лужица этакая точно есть большая, вроде озерца, и тростник, и все, как я видела, а с неба солнце печет жарко, и прямо мне во всю наружность. Гляжу, тут же и мой сверточек с холстами и сумочка — всё в целости; а так невдалеке деревушка. Я встала, доплелась до деревушки, наняла мужика, да к вечеру домой и доехала.

— И что же вы, Домна Платоновна, уверены, что все это с вами действительно приключилось?

— А то врать я, что ли, на себя стану?

— Нет, я говорю про то, что именно так ли все это было-то?

— Так и было, как я тебе сказываю. А ты вот подивись, как я им наготы-то своей не открыла.

Я подивился.

— Да; вот и с бесом да совладала, а с лукавым человеком так вышло раз иначе.

— Как же вышло?

— Слушай. Купила я для одной купчихи мебель, на Гороховой у выезжих. Были комоды, столы, кровати и детская короватка с этаким с тесьменным дном. Заплатила я тринадцать рублей деньги, выставила все в коридор и пошла за извозчиком. Взяла за рупь за сорок к Николе Морскому извозчика ломового и укладываем с ним мебель, а хозяева, у которых купила-то я, на ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдруг откуда ни возьмись дворники, татары, «халам-балам»: как ты смеешь, орут, вещи брать? Я туда, я сюда — не спускают. А тут дождь, а тут извозчик стоять не хочет. Боже мой! Насилу я надумалась: ну, ведите, говорю, меня в квартал — я, говорю, квартального жена. И только это сказала, входят на двор эти господа, у которых мебель купила. «Продана,— говорят,— точно, ей эта мебель продана». Ну, извозчик мой говорит: садись. Думаю, и точно, замест того, чтоб на живейного тратить, сяду я в короватку детскую. Высоко они эту короватку, на самом на верху воза над комодой утвердили, но я вскарабкалась и села. Только что ж бы ты думал? Не успела я со двора выехать, как слышу, низок-то подо мною тресь-тресь-тресь.

«Ах,— думаю,— батюшки, ведь это я проваливаюсь!» И с этим словом хотела встать на ноги, да трах — и просунулась. Так верхом, как жандар, на одной тесемке и сижу. Срам, я тебе говорю, просто насмерть! Одежа вся взбилась, а ноги голые над комодой мотаются; народ дивуется; дворники кричат: «Закройся, квартальничиха»,— а закрыться нечем. Вот он варвар какой!

— Это кто же,— говорю,— варвар?

— Да извозчик-то: где же, скажи ты, пожалуй, зевает на лошадь, а на пассажира и не посмотрит. Мало ведь чуть не всю Гороховую я так проехала, да уж городовой, спасибо ему, остановил. «Что это,— говорит,— за мерзость такая? Это не позволено, что ты показываешь?» Вот как я посветила наготой-то.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Домна Платоновна! — говорю,— а что — давно я желал вас спросить — молодою такой вы остались после супруга, неужто у вас никакого своего сердечного дела не было?

— Какого это сердечного?

— Ну, не полюбили вы кого-нибудь?
— Полно глупости болтать!
— Отчего ж,— говорю,— это глупости?
— Да оттого,— отвечает,— глупости, что хорошо этими любвями заниматься, у кого есть приспешники да доспешники, а как я одна, и постоянно я отягощаюсь, и постоянно веду жизнь прекратительную, так мне это совсем даже и не на уме и некстати.
— Даже и не на уме?
— И ни вот столичко! — Домна Платоновна черкнула ногтем по ногтю и добавила: — а к тому же я тебе скажу, что вся эта любовь — вздор. Так напустит человек на себя шаль такую: «Ах, мол, умираю! жить без него или без нее не могу!» — вот и все. По-моему, то любовь, если человек женщине как следует помогает — вот это любовь, а что женщина, она всегда должна себя помнить и содержать на примечании.
— Так,— говорю,— стало быть, ничем вы, Домна Платоновна, богу и не грешны?
— А тебе какое дело до моих грехов? Хоша бы чем я и грешна была, то мой грех, не твой, а ты не поп мой, чтоб меня исповедовать.
— Нет, я говорю это, Домна Платоновна, только к тому, что молоды вы овдовели и видно, что очень вы были хороши.
— Хороша не хороша,— отвечает,— а в дурных не ставили.
— То-то,— я говорю,— это и теперь видно.
Домна Платоновна поправила бровь и глубоко задумалась.
— Я и сама,— начала она потихоньку,— много так раз рассуждала: скажи мне, господи, лежит на мне один грех или нет? И ни от кого добиться не могу. Научила меня раз одна монашка с моих слов списать всю эту историю и подать ее на духу священнику,— я и послушалась, и монашка списала, да я, шедши к церкви, все и обронила.
— Что ж это такое, Домна Платоновна, за грех был?
— Не разберу: не то грех, не то мечтание.
— Ну, хоть про мечтание скажите.
— Издаля это начинать очень приходится. Это еще как мы с мужем жили.
— Ну как же, голубушка, вы жили?
— А жили ничего. Домик у нас был хоша и небольшой, но по предместности был очень выгодный, потому что на самый базар выходил, а базары у нас для хозяйственного употребления частые, только что нечего на них выбрать, вот в чем главная цель. Жили мы не в больших достатках, ну и не в бедности; торговали и рыбой, и салом, и печенкой, и всяким товаром. Муж мой, Федор Ильич, был человек молодой, но этакой мудреный, из себя был су-

хой, но губы имел необыкновенные. Я таких губ ни у кого даже после и не видывала. Нраву он, не тем будь помянут, был пронзительного — спорильщик и упротивный; а я тоже в девках воительница была. Вышедши замуж, вела я себя сначала очень даже прилично, но это его нисколько совсем не восхищало, и всякий день натощак мы с ним буйственно сражались. Любви у нас с ним большой не было, и согласья столько же, потому оба мы собрались с ним воители, да и нельзя было с ним не воевать, потому, бывало, как ты его ни голубь, а он все на тебя тетерится, однако жили не разводились и восемь лет прожили. Конечно, жили не без неприятностей, но до драки настоящей у нас не часто доходило. Раз один, точно, дал он мне, покойник, подзатыльника, но только, разумеется, и моей тут немножко было причины, потому что стала я ему волосы подравнивать, да ножницами — кусочек уха ему и отстригнула. Детей у нас не было, но были у нас на Нижнем городе кум и кума Прасковья Ивановна, у которых я детей крестила. Были они люди небогатые тоже, портной он назывался и диплон от общества имел, но шить ничего не шил, а по покойникам пасалтырь читал и пел в соборе на крылосе. По добычливости же, если что добыть по домашнему, все больше кума отягощалась, потому что она полезной бабой была, детей правила и навью кость сводила.

Вот один раз, это уж на последнем году мужниной жизни (все уж тут валилось, как перед пропастью), сделайся эта кума Прасковья Ивановна именинница. Сделайся она именинница, и пошли мы к ней на именины, и застал нас там у нее дождь, и такой дождь, что как из ведра окатывает; а у меня на ту пору еще голова разболелась, потому выпила я у нее три пунша с кисляркой, а эта кислярская для головы нет ее подлее. Взяла я и прилегла в другой комнатке на диванчике.

«Ты,— говорю,— кума, с гостями еще посиди, а я тут крошечку полежу».

А она: «Ах, как можно на этом диване: тут твердо; на постель ложись».

Я и легла и сейчас заснула. Нет тут моей вины?

— Никакой,— говорю.

— Ну, теперь же слушай. Сплю я и чую, что как будто кто-то меня обнимает, и таки, знаешь, не на шутку обнимает. Думаю, это муж Федор Ильич; но как будто и не Федор Ильич, потому что он был сложения духовного и из себя этакой секретный,— а проснуться не могу. Только проспавши свое время, встаю, гляжу — утро, и лежу я на куминой постели, а возле меня кум. Я мах этак, знаешь, перепрыгнула скорей через него с кровати-то, трясусь вся от страху и гляжу — на полу на перинке лежит кума, а с ней мой

Федор Ильич... Толк я тут-то куму, гляжу — и та схватилась и крестится.

«Что же это,— говорю,— кума, такое? как это сделалось?»

«Ах,— говорит,— кумонька! Ах я, мерзкая этакая! Это все я сама,— говорит,— настроила, потому они еще, проводя гостей, допивать сели, а я тут впотьмах-то тебя не стала будить, да и прилегла тут, где вам было постлано».

Я даже плюнула.

«Что ж теперь,— говорю,— нам с тобой делать?»

А она мне отвечает: «Нам с тобой нечего больше делать, как надо про это молчать».

Это я, вот сколько тому лет прошло, первому тебе про это и рассказала, потому что тяжело мне это ужасно, и всякий раз, как я это вздумаю, так я этот сон свой проклясть совсем готова.

— Вы,— говорю,— Домна Платоновна, не сокрушайтесь, потому что ведь это вышло мимо воли вашей.

— А еще бы,— говорит,— как? Я и так-то себя немало измучила и истерзала. Горе-таки горем, как Федор Ильич вскорости тут помер, потому не своею он помер смертью, а дрова, сажени на берегу завалились, задавили его. О петербургских обстоятельствах, чтоб как чем себя развеселить, я и понятия тогда не имела; но как вспомню, бывало, все это после его смерти-то, сяду вечерком одна-одинешенька под окошечко, пою: «Возьмите вы все золото, все почести назад»,— да сама льюсь, льюсь рекою, как глаза не выйдут. Так тяжко, так станет жутко, вспомнивши эти слова, что «друг нежный спит в сырой земле», что хоть надень на себя о́сил пенечный да и полезай в петлю. Продала все, всего решилась и уехала; думаю, пусть лучше хоть глаза мои на все это не глядят и уши мои не слышат.

— Это,— говорю,— Домна Платоновна, я вам верю; нет ничего несноснее, как если одолеет тоска.

— Спасибо тебе, милый, на добром слове, именно правду говоришь, что нет ничего несноснее, и утешь и обрадуй тебя за это слово царица небесная, что ты все это мог понять и почувствовать. Но не можешь ты понять всей обо мне тоски и жалости, если не открою я тебе всю мою настоящую обиду, как меня один раз обидели. Что это саквояж там пропал или что Леканидка там неблагодарная — все это вздор. А был у меня на свете один такой день, что молила я господа, что пошли ты хоть змея, хоть скорпия, чтоб очи мои сейчас выпил и сердце мое высосал. И кто ж меня обидел? Испулатка, нехристь, турка! А кто ему помогал? Свои приятели, миром святым мазаные.

Домна Платоновна горько-прегорько заплакала.

— Курьерша одна моя знакомая,— начала она, утираючи

слезы,— жила в Лопатине доме, на Невском, и пристал к ней этот пленный турка Испулатка. Она за него меня и просит: «Домна Платоновна! определи,— говорит,— хоть ты его, черта, к какому-нибудь месту!» — «Куда ж,— думаю,— турку определить? Кроме как куда-нибудь арапом, никуда его не определишь» — и нашла я ему арапскую должность. Нашла, и прихожу, и говорю: «Так и так,— говорю,— иди и определяйся».

Тут они и затеяли магарычи пить, потому что он уже своей поганой веры избавился, крестился и мог вино пить.

«Не хочу я,— говорю,— ничего»,— ну, только, однако, выпила. Этакой уж у меня характер глупый, что всегда я попервоначалу скажу «нет», а потом выпью. Так и тут: выпила и осатанела, и у нее, у этой курьерши, легла с нею на постели.

— Ну-с?

— Ну, вот тебе и все, а нынче зашиваюсь.

— Как зашиваетесь?

— А так, что если где уж придется неминуючи ночевать, то я совсем с ногами, вроде как в мешок, и зашиваюсь. И даже так тебе скажу, что и совсем на сон свой подлый не надеясь, я даже и постоянно нынче на ночь зашиваюсь.

Домна Платоновна тяжело вздохнула и опустила свою скорбную голову.

— Вот тебе уж, кажется, и знаю петербургские обстоятельства, а однако что̀ над собой допустила! — произнесла она после долгого раздумья, простилась и пошла к себе на Знаменскую.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Через несколько лет привелось мне свезти в одну из временных тифозных больниц одного бедняка. Сложив его на койку, я искал, кому бы его препоручить хоть на малейшую ласку и внимание.

— Старшо́й,— говорят.

— Ну, попросите,— прошу,— старшу́ю.

Входит женщина с отцветшим лицом и отвисшими мешками щек у челюстей.

— Чем,— говорит,— батюшка, служить прикажете?

— Матушка,— восклицаю,— Домна Платоновна?

— Я, сударь, я.

— Как вы здесь?

— Бог так велел.

— Поберегите,— прошу,— моего больного.

— Как своего родного поберегу.

— Что ж ваша торговля?

— А вот моя торговля: землю продать, да небо купить. Решилась я, друг мой, своей торговли. Зайди,— шепчет,— ко мне.

Я зашел. Каморочка сырая, ни мебели, ни шторки, только койка да столик с самоваром и сундучок крашеный.

— Будем,— говорит,— чай пить.

— Нет,— отвечаю,— покорно вас благодарю, некогда.

— Ну так заходи когда другим разом. Я тебе рада, потому я разбита, друг мой, в последняя разбита.

— Что же с вами такое случилось?

— Уста мои этого рассказать не могут, и сердцу моему очень больно, и, сделай милость, ты меня не спрашивай.

— И отчего,— говорю,— вы это так вдруг осунулись?

— Осунулась! что ты, господь с тобой! ни капли я не осунулась.

Домна Платоновна торопливо выхватила из кармана крошечное складное зеркальце, поглядела на свои блеклые щеки и заговорила:

— Ни крошечки я не осунулась, и то это теперь к вечеру, а с утра я еще гораздо свежее бываю.

Смотрю я на Домну Платоновну и понять не могу, что́ в ней такое? а только вижу, что что-то такое странное.

Показалось мне, что, кроме того, что все ее лицо поблекло и обвисло, будто оно еще слегка подштукатурено и подкрашено, а тут еще эта тревога при моем замечании, что она осунулась... Непонятная, думаю, притча!

Не прошло после этого месяца, как вдруг является ко мне какой-то солдат из больницы и неотступно требует меня сейчас к Домне Платоновне.

Взял извозчика и приезжаю. На самых воротах встречает меня сама Домна Платоновна и прямо кидается мне на грудь с плачем и рыданием.

— Съезди,— говорит,— ты, миленький, сделай милость, в часть.

— Зачем, Домна Платоновна?

— Узнай ты там насчет одного человека, похлопочи за него. Я, бог даст, со временем сама тебе услужу.

— Да вы,— говорю,— не плачьте только и не дрожите.

— Не могу,— отвечает,— не дрожать, потому что это нутреннее, изнутри колотит. А этой услуги я тебе в жизнь не забуду, потому что все меня теперь оставили.

— Хорошо — но за кого же просить-то и о чем просить?

Старуха замялась, и блеклые щеки ее задергались.

— Фортопьяницицкий ученик там арестован вчера, Валерочка, Валерьян Иванов, так за него узнай и попроси.

Поехал я в часть. Сказали мне там, что действительно есть арестованный молодой человек Валерьян Иванов, что был он учеником у фортепьянного мастера, обокрал своего хозяина, взят с поличным и, по всем вероятностям, пойдет по тяжелой дороге Владимирской.

— Сколько же ему лет? — расспрашиваю.

— Лет,— говорят,— как раз двадцать один год минул.

«Что,— думаю,— за чудеса такие и что такое он, этот Валерка, моей Домне Платоновне?»

Приезжаю в больницу и застаю Домну Платоновну в ее каморке: сидит, сложивши руки, на краю кровати, и совсем помертвелая.

— Знаю,— говорит,— все, сделай милость, больше не сказывай. Я фершала посылала узнать и все знаю. Огненным прещением пресекается перед смертью душа моя.

Вижу, моя воительница совсем сбрендила: распалась и угасла в час один.

— Боже мой! — говорит, глядя на бедный больничный образочек.— Боженька! миленький! да поди же к тебе моя молитва прямо столбушком: вынь ты из меня душу, из старой дуры, да укроти мое сердце негодное.

— Да что ж,— говорю,— вам такое?

— Мне?.. Люблю я его, душечка; люблю я его несносно, мой ангел; без ума, без разума люблю я его, старая дура. Я его обула, я его одела, я на него дула, пыль с него обдувала. Театрашник такой; все, бывало, кортит ему дома; все он клонится как бы в цирк, как бы в театр; я ему последнее отдавала. Станешь, бывало, только просить: «Валерочка, друг мой! сокровище благих! не клонись ты к этому цирку; что тебе этот цирк?» Так затопочет, закричит и руками намеряется. Вот тебе и цирк!.. Не позволял он, чтобы я говорила с ним, так я издаля, бывало, только на него смотрю до прошу: «Валерочка! жизненочек! сокровище благих! не якшайся ты с кем по́падя; не пей ты много». Все он мое презрел... Когда б дворника не нанимала, чтоб слух об нем подавал, и этого горя б, может, не знала. Боженька! миленький! Господи, да что ж это? да что ж это будет! — вскрикнула она и с этим словом упала перед образом на колена и еще горче заплакала, кивая своею седою головою.

— Все,— заговорила она, подымаясь через несколько минут на ноги и тоскливо водя угасшими глазами по своей унылой каморке,— все ему отдала, ничего у меня больше нет. Нечего мне ему дать больше, голубчику... Хоть бы сходить к нему...

— Ну,— говорю,— сходите...

— Не велит он мне ему показываться, не смею я к нему идти,— а сама дрожмя дрожит, бедная старуха.

Помолчал я и, чтоб отрезвить ее хоть немножко, спрашиваю:

— Сколько вам, Домна Платоновна, нынче годочков?

— Что ты такое,— говорит,— сказал?

— Сколько, мол, вам лет?

— А не знаю, право, сколько... в прошлом году в фебрие, кажется, сорок семь было.

— И откуда ж это,— спрашиваю,— он у вас взялся, этот Валерка? Где вы его себе откопали, на свое горе?

— Из наших мест,— отвечает, утирая слезы.— Кумин племянник он. Кума его ко мне прислала, чтоб к месту определить. Скажи, пожалуйста,— пищит опять, плачучи, воительница,— жаль ли хоть тебе меня, дуру неповитую?

— Очень,— отвечаю,— жаль.

— А людям ведь небось и не жаль, смех им небось только. И всякий, если кто когда-нибудь про эту историю узнает, посмеется — непременно посмеется, а не пожалеет,— а я все люблю, и все без радости, и все без счастья без всякого. Бог с ними, люди! не понять им, какая это беда, если прилучится такое над человеком не ко времени. Ходила я к сталоверу,— говорит: «Это тебе аггел сатаны дан в плоть... Не возносись». Пошла к священнику, говорю: «Вот, батюшка, что́ со мною, так и так, говорю,— сил моих над собой нет»; ну, священник меня хорошо пощунял: читай, говорит, раба, канон «Утоли моя печали». Я теперь и канон это читаю и к месту такому нарочно определилась, чтоб никаких смущений мне не было; ну, только... Валерушка! цыпленок ты мой! сокровище благих! Что ты это над собою сделал?..

Домна Платоновна припала головой к окну и заколотила лбом о подоконник.

Так я и оставил мою воительницу в этом убитом положении. Через месяц дали мне знать из больницы, что Домна Платоновна вдруг окончила свою прекратительную жизнь. Умерла она от быстрого истощения сил. Лежала она в гробике черном такая маленькая, сухенькая, точно в самом деле все хрящики ее изныли и косточки прилегли к суставам. Смерть ее была совершенно безболезненна, тиха и спокойна. Домна Платоновна соборовалась маслом и до последней минуты все молилась, а отпуская предсмертный вздох, велела отнести ко мне свой сундучок, подушки и подаренную ей кем-то банку варенья, с тем чтобы я нашел случай передать все это «тому человеку, про которого сам знаю», то есть Валерке.

<1866>

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дело было о святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу,— везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:

— Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

— Кто там? — окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

— Мы,— ответили глухо из-за окна.

— Ну-у, а чего еще надо?

— Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли.

— А много ли вас?

— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро,— говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек.

— Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

— Пусти хоть малость обогреться!

— А кто же вы такие?

— Извозчики.

— Порожнем или с возами?

— С возами, родной, шкурье везем.

— Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!

— А что же им делать? — спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке.

— Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать,— отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.

— Не осуждайте, милостивый государь, хозяина,— заговорил он,— он это с практики берет и внушает правильно — со шкурьем безопасно.

— Да? — отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

— Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

— Это почему?

— А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.

— А кого теперь еще понесет черт? — молвила шуба.

— А ты слушай,— отозвался хозяин,— ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона и богородичный лик.

— Это верно,— поддержал рыженький человечек.— Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.

— А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел,— отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

— Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику,— проговорила шуба.

— Да-с, ее и имел.

— Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?

— Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

— Что вы, шутите или смеетесь?

— Боже меня сохрани таким делом шутить!

— Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?

— Это, милостивый государь, целая большая история.

— А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

— Извольте-с.

— Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

— Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

— Ну как хотите, только скорее сказывайте: как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?

— Извольте-с, я начинаю.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукомеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу, и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы всё самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!

И что были за во имя разные и Деисусы, и нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с деяниями, каковые, например: Индикт, праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество,

Шестоднев, Целебник, Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского, и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: пресвятая владычица в саду молится, а пред ней все древеса кипарисы и олинфы до земли преклоняются, а другая ангел-хранитель, Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на владычицу, как пред ее чистотою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела... радость! Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами, в знак повсеместного отвсюду слышания; одеянье горит, рясны златыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно! дивно!.. Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселиила художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: владычицу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчовый кошель на темной пестряди и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с богородичною иконой, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели и играет... то есть просто сердцу и уму восхищение! все

шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили всё вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнию своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроялось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами, пути были что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать: занятна ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?

— Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.

— Извольте-с, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высоконькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких, и так возвели, как должно, лествицу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе

рядом казаромку сгородили. На нас глядючи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует... Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами и слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо-господь и явися нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист как кабан — одна

пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щаповатый: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность терпкого пития, которое надлежало нам испить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекать их надо, а каждый тот болт,— по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии,— отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все на это наш Марой, ковач, изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колоникой из тележного колеса с песковым жвиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут:

«Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!»

А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто как его господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни всё причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая божия благодать творит дивеса, каких мы ни-

когда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первыя. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чаи пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверцы и такие-то и вот этакие-то, святые, праведные, присноблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит:

— Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этакие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим, и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.

«Я слыхала,— говорит,— что к вам божие благословение видимо,— говорит,— проявляется».

А тот сейчас и подхватывает:

«Как же,— отвечает,— матушка, проявляется; весьма зримо проявляется».

«Видимо?»

«Видимо,— говорит,— государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал».

Барынька так и всплеснула ручонками.

«Ах,— говорит,— как интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете,— говорит,— прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?».

«Можно-с,— отвечает Пимен,— отчего же-с; очень можно! Только,— говорит,— в таковых случаях надо всегда, чтобы от вас жертвенный елей теплился».

Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

«Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю».

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял,— и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свещи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун, и ленивый нетяг, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

«Дело трудное; надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами вопиять».

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастие этому ее блудяге-сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы всё ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и премениться одним дивесам на другие.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда пред-

виделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

«Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали».

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:

«Хорошо, государыня, я повелю».

«Да чтоб они хорошенько,— говорит,— молились, потому мне это очень нужно!»

«Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю,— заспокоил ее Пимен,— я их голодом запощу, пока не вымолят»,— взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстает.

«Я,— говорит,— как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду».

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим; у нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

«Ах, прекрасно,— отвечает,— прекрасно; я очень рада, что есть такой ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампады, а я приеду посмотреть».

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен поснимали да попрятали в коробьи, а из коробей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то расфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами так и метет и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора.

«У нас,— говорим,— таковой ангела нет».

И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему: вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная.

— Вам этакая красота не нравится? — перебила рассказчика медвежья шуба.

— Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться? — отвечал он.

— У вас, что же, почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?

— Кочку! — повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик.— Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

«Чего вы? она добрая».

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра и обличье нет, но бог там с нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их

по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспокойно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою, Лука Кирилов?» А он говорит: «После скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтил и невером никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.

Вот-с я ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне наопашку, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленоватая.

«Что вы,— говорю,— второродительница, на таком месте усевшись?»

А она отвечает:

«А где же мне, Марочка, притулиться?»

Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.

«Что это, думаю себе, она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?»

«А зачем же,— говорю,— вы в чуланчике у себя не ляжете?»

«Нельзя,— говорит,— Марочка, там в большой горнице дед Марой молится».

«Ага! вот,— думаю,— так и есть, что что-нибудь по вере сталось»,— а тетка Михайлица и начинает:

«Ты ведь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи сталось?»

«Нет, мол, второродительница, не знаю».

«Ах, страсти!»

«Расскажите же скорее,ворородительница».

«Ах, не знаю как, можно ли это рассказать?»

«Отчего же,— говорю,— не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?»

«Знаю, родной мой,— отвечает,— что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупа я и бесталанна, а вот погоди — дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет».

Но я никак не мог, чтобы дождаться, и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.

А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:

«У нас, дитя, сею ночью ангел-хранитель сошел».

Меня от всего этого открытия в трепет бросило.

«Говорите,— прошу,— скорее: как это диво сталося и кто были оного дивозрители?»

А она отвечает:

«Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час, и одна я не спала».

И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:

«Уснув,— говорит,— помолившись, не помню я сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело, и река золу несет да в завертах около быков крутит и вглубь глотает, сосет». А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице, вся в дырьях, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу стремит высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» — потому что чувствиями ей далося знать, что эта птица что-то предвозвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь»,— и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тощение, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Исусе Христе! что это такое: овец у нас во всей нашей пришлой слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?»

И в ту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава богу,— думает,— что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирилыч,— кличет,— Кирилыч! Прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое-с молозиво в избу вскочило»,— а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не вымыловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Исусово вспомяни», но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кроватки и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» — кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец,— говорит,— что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как измрамран нагробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:

«Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича».

Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:

«Ангел господень, да пролиются стопы твоя аможе хощеши!»

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:

«Эй вы, раскольники: кто у вас тут набольший?»

Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо набольшего? А он отвечает:

«Того самого,— говорит,— что к барыне ходил, которого Пименом звать».

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: что такое за дело? на что его в ночи по Пимена послали?

Солдат говорит:

«Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили».

А что такое именно, рассказать не может.

«Слыхал-де,— говорит,— как будто барин их запечатал, а они его запечатлели».

Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит:

«Что же ты, шпилман ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!»

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали.

Через час ворочается наш Пимен и ботвит будто бодр, а видно, что ему жестоце не по себе.

Лука его и допрашивает:

«Говори,— говорит,— говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?»

А он говорит:

«Ничего».

Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— С барином, за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать, того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взяток не беру»,— а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять: «Не могу!» — они двадцать. Он: «Что же вы,— говорит,— не понимаете, что ли, что *я не могу,* я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят:

«Ази-язи, васе сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи толь-

ко дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно поцивать: нам ничего больше не нужно».

Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатовал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повытаскали и опять их тою же самою печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят:

«А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйте с ревизией».

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

«Давайте же скорее мою печать».

А жиды говорят:

«А давайте зи наши деньги».

Барин: «Что? как?» А те на своем стали.

«Мы зи,— говорят,— деньги под залог оставляли».

Тот опять:

«Как под залог?»

« А как зи,— говорят,— мы под залог».

«Врете,— говорит,— вы, подлецы этакие, христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали».

А они друг друга поталкивают и смеются.

«Гёрш-ту,— говорят,— слышь, мы будто совсем дали... Гм, гм! Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать?» («Хабар» по-ихнему взятка).

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят: «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки грозят: «Если нынче,— говорят,— пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется,

не нашел, да поскорее назад, да к жене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно,— говорит,— твою приданую деревнишку продать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог». А она отвечает: «Что ты,— говорит,— сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим,— говорит,— это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого там случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо,— говорит,— съездить за Днепр и привезть мне раскольницкого старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте,— говорит,— я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили... Жиды... понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем сам бог помогает, то вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при этаком обороте восчувствовал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротитися и клятися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада, и знать того не захотела. «Нет, да мне,— говорит,— хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские староверы, люди капитальные, а мы простые нивари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осаждила: «Что вы, что вы,— говорит,— мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой,

как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего,— а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: « с меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты, шпилман этакий,— говорит,— шпилман; нужно было тебе с ними знаться да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделывайся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился, я и домекнул так, что, верно, он ударился ту барыню умилостивлять. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услыхал шум многих голосов и, обернувшись, увидал несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнагощенными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы пострадовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать... Кои не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут... Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выспреннею горячею верой

одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камение живо и несокрушимое.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирою своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампады гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они: «Кто же у вас поп?» А он отвечает: «У нас нет попа!» А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши, в чем дело, да «связать,— говорят,— его, под арест!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котёлки нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиние смотрит и плещами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелася, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да, по счастию их, впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

«Стой, Христов народушко, не дерзничайте! — а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутом иконы, молвит: — Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники — отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?»

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:

«Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!»

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

«Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораста икон, извольте вам по три

рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте».

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

«Прочь! — а шепотом шепнул: — Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку».

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

«Бог с вами, если так: губите всё как хотите, а у нас таких денег нет».

А барин как завопиет излиха:

«Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить?» — и тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то и мошенниками, и говорит:

«Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как!» — да, накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь, в слезе растворенная...

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцати лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтитель с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброузден.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содействителем, сквозь иглины уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости сообразования не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» — и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствили! Не кладите,— говорит,— сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой — мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощию подменить икону иным в соответствие сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд по закожью: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела. «Его,— бают,— запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем»,— и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни

привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

«Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит».

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

«Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела».

Но владыко сего не послушал и сказал:

«Сему не должно потворствовать».

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велося не жестокостью, а божиим смотрением.

Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и воцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

«Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере».

А я отвечаю:

«Кому в какой вере быть — это дело божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк велит, братски обличаю».

Он при имени пророка так и задрожал.

«Не говори,— говорит,— мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что «пророки мучат живущих на земле», и даже в том знамение имею»,— и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «бог шельму метит», но только сдавил я это слово в устах и молвил:

«Что же, молись,— говорю,— и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоятии чист будешь».

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла всё яснее

обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч...

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что, дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

«Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?»

Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаеваем от жалости.

«Что же,— говорит,— вы думаете делать?»

«Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукой опаленный».

«Да чем,— говорит,— он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?»

«Дорог он,— отвечаем,— нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет».

«А как,— говорит,— вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?»

«Ну, уж на этот счет,— отвечаем,— ваша милость не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап смолы не допустят».

«Вы в этом уверены?»

«Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера».

Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:

«Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?»

«Нет,— говорим,— на небольшое время».

«Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь».

Мы благодарим, но говорим:

«Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь».

Он говорит:

«Это почему так?»

А мы отвечаем:

«Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет да и нигде вблизи не отыщется».

«Пустяки,— говорит,— я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет».

«Нет-с,— отвечаем,— вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может».

Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близь явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

«А где же,— говорит,— есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?»

«Очень,— докладываю,— они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть,— говорю,— в слободе Мстере один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же,— говорю,— нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся».

«Это опять почему?» — пытает.

«А потому,— ответствую,— что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает».

«Так как же,— говорит,— быть?»

«Сам,— говорю,— не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев: и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским

письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап, так нам потрафить может один мастер Севастьян с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать — неизвестно».

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

«Довольно дивные,— говорит,— вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать».

«Отчего же,— говорю,— сударь, искусства не постигать: это дело художество божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают».

«Может ли,— говорит,— это быть?»

«Все равно,— отвечаю,— как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий».

«По каким приметам?»

«А есть,— говорю,— разница в приеме как перевода рисунка, так и в плави, в пробелах, лицевых движках и в оживке».

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть? А я отвечаю:

«Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось».

«Где же они делись?»

«А не знаю,— говорю,— на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли».

«Это,— говорит,— быть не может».

«Напротив,— отвечаю,— вполне статочно и примеры тому есть: в Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела».

«А как она в Рим попала?»

«Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал».

Англичанин улыбнулся и задумался и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

«Ну, а у нас,— говорю,— верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела».

«А если таковая,— говорит,— ваша образованная невежественность, так отчего же в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?»

«Некем,— отвечаю,— нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлется и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка, и лук красноперый богом чтили; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращаемся от него, поелику есть отчее предание, что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду».

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:

«Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь».

Я отвечаю:

«Я уже все кончил»,— а он говорит:

«Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?»

Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новегороде звездное небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам бога Саваофа стоят седмь крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих; а на порогах сени пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим; на других ступенях царь Давид в венце, Исаия-пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может,

как-то: книга с семью печатями — дар премудрости, седмисвещный подсвечник — дар разума; седмь очес — дар совета; седмь трубных рогов — дар крепости; десная рука посреди седми звезд — дар видения; седмь курильниц — дар благочестия; седмь молоний — дар страха божия. «Вот,— говорю,— таковое изображение гореносно!»

А англичанин отвечает:

«Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?»

«А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе бога вознестись».

«Да ведь это же,— говорит,— всякий из Писания и из молитв может уразуметь».

«Ну, никак нет,— ответствую.— Писание не всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затмение: иной слышит глашение о «великия и богатыя милости» и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностию кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги, и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред господом».

Тут англичанин встает с места и весело говорит:

«А вы же, чудаки, чего себе молите?»

«Мы,— отвечаю,— молим христианския кончины живота и доброго ответа на Страшном судилище».

Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена англичанка и пред свечою на длинных спицах вязанье делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

«Добри люди, добри русски люди!»

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько

отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» — и затем, оправясь, продолжал снова:

— По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин — знать, приятна ему эта доброта в жене — глядит на нее, ажно весь гордостию сияет, и все жену по головке гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, гут», или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит:

«Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает, и жене моей в вашем роде напишет — она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает».

А она сквозь слез улыбается и частит:

«Ни-ни-ни: это он, а я особая»,— да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.

«Муж,— говорит,— мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую».

Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит:

«Нет,— говорит,— не смейте ей отказывать и берите, что она дает,— и сам отвернулся и говорит: — и ступайте, чудаки, вон!»

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.

Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню пакибытия восприяли!

Теперь далее отсюда, милостивые государи, зачинается преполовение моей повести, и я вам вкратце изложу: как я, взяв своего среброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратилися.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— В путь шествующему человеку первое дело сопутник; с умным и добрым товарищем и холод и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а

для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами всё, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу: оле тебе, Москва! оле тебе, древлего русского общества преславная царица! не были мы, старые верители, и тобою утешены.

Не охота бы говорить, а нельзя премолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно: но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали.

Изографы, разумеется, в Москве отыскались, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней; грунта́ кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унизить ни во что вменяют; или еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое художество хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают; амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди как черные цы-

гане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею, и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие этою нечестною меною даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся, как божьим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левой, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.

«Неужто же,— думаем,— такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.

Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?» — да и говорю:

«Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?»

А он отвечает:

«Нет,— говорит,— дядя, ничего: это я так».

«Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать».

А Левонтий отвечает:

«Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду».

«Отчего же,— говорю,— ты не пойдешь?»

«А так,— отвечает,— мне ноне что-то не по себе».

Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третий опять зову: «Пойдем, Левонтьюшка, пойдем, молодчик».

А он умильно кланяется и просит:

«Нету, дядюшка, голубчик белый: поволь мне дома остаться».

«Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а всё дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь».

А он:

«Ну родненький, ну батечка, ну Марк Александрыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может».

Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изо-

графами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит:

«Ты гляди, человече, этой иконе не покланяйся».

Я говорю:

«Почему?»

А он отвечает:

«Потому что она адописная»,— да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте сковырнул письмо, а там под низом опять чертик.

«Господи! — заплакал я,— да что же это такое?»

«А то,— говорит,— что ты не ему, а мне закажи».

И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой, и вижу, в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтиев голос, и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел я тихонько, чтоб он не слыхал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:

Кому повем печаль мою,
Кого призову ко рыданию.

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что

Продаша мя мои братия!

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплению за братский грех!..

Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев, они меня так растрогали, что я и сам захлипкал, а Левонтий, услыхав это, смолк и зовет меня:

«Дядя! а дядя!»

«Что,— говорю,— добрый молодец?»

«А знаешь ли ты,— говорит,— кто это наша мать, про которую тут поется?»

«Рахиль»,— отвечаю.

«Нет,— говорит,— это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать».

«Как же,— спрашиваю,— таинственно?»

«А так,— отвечает,— что это слово с преобразованием сказано».

«Ты,— говорю,— смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?»

«Нет,— отвечает,— я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас нас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем».

Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю:

«Знаешь что, Левонтьюшко: пойдем-ко мы отсюда скорее из Москвы в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит».

«Что же: пойдем,— отвечает,— здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище, и там,— говорит,— я слыхал, есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел».

«Старец Памва,— отвечаю со строгостию,— господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть?»

«А что же,— говорит,— за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать».

Я его пощунял, «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.

«Церковные,— говорю,— и на небо смотрят не с верою, а в Аристетилевы врата глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?»

А Левонтий отвечает:

«Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою премудростию создано».

Я от этого словно еще глупее стал и говорю:

«Церковные кофий пьют!»

«А что за беда,— отвечает Левонтий,— кофий боб, он был Давиду-царю в дарах принесен».

«Откуда,— говорю,— ты это все знаешь?»

«В книгах,— говорит,— читал».

«Ну так знай же, что в книгах не все писано».

«А что,— говорит,— там еще не написано?»

«Что? что не написано?» — А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему:

«Церковные,— говорю,— зайцев едят, а заяц поганый».

«Не погань,— говорит,— богом созданного, это грех».

«Как,— говорю,— не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?»

Но Левонтий засмеялся и говорит:

«Спи, дядя, ты невегласы глаголешь!»

Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю, и умолк я и лежу да только думаю:

«Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь.

Но только в волевращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву анахорита, которым Левонтий прельщался и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.

«Но,— думаю себе,— чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»

И идем мы опять мирно и благополучно и, наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян, точно, в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, и вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:

«Был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел!»

Бросимся вслед, не настигаем!

И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я говорю: «нам надо идти направо», а он спорит: «налево», и, наконец, чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и, наконец, вижу, не знаю, куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.

Я говорю отроку:

«Пойдем, Лева, назад!»

А он отвечает:

«Нет, не могу я, дядя, больше идти,— сил моих нет».

Я всхлопотался и говорю:

«Что тебе, дитятко?»

А он отвечает:

«Разве,— говорит,— ты не видишь, меня отрясовица бьет?»

И вижу, точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутелый пень и говорит:

«Ой, голова моя, голова! ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти; не могу больше шагу ступить!» — а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.

А дело под вечер.

Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие, как аркефовы древеса, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю:

«Левушка, батюшка, поневолься, авось до ночлежка дойдем».

А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит:

«Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся».

Я говорю:

«Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной».

А он говорит:

«Не спяй и бдяй сохранит».

Я думаю: «Господи! что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться, и слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает... «Владыко многомилостиве! — думаю,— это, верно, зверь, и сейчас он нас растерзает!» И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь: «Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час!» А треск-от все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит... Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку да гляжу, что будет, а зубами, как пуганый волк, так и ляскаю... И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное,— не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку да и говорит:

«Встань, брате!»





Очарованный странник

И что же вы изволите думать? вижу я, поднял он Левонтия, и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи, и говорит:

«Понеси-ко за мною!»

А Левонтий и понес.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичок взялся, и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет!

Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую летоpосль понадежнее, да за ними, и скоро их настиг и вижу: старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался: маленький и горбатенький; а бородка по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня не смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.

Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:

«Доброчестный человек!»

А он отзывается:

«Что тебе?»

«Куда ты нас ведешь?»

«Я,— говорит,— никого никуда не веду, всех господь ведет!»

И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет:

«Брате Мирон! а брате Мирон!»

А оттуда дерзый голос грубо отвечает:

«Опять ночью притащился. Ночуй в лесу! Не пущу!»

Но старичок опять давай проситься, молить ласково:

«Впусти, брате!»

Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я — это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:

«Спаси тебя бог, брате мой, за твою услугу».

«Господи! — помышляю,—куда это мы попали»,— и вдруг как молонья меня осветила и поразила.

«Спасе премилосердый! — взгадал я,— да уж это не Памва ли безгневный! Так лучше же бы,— думаю,— я в дебри лесной погиб,

или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров».

И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:

«Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?»

А он отвечает:

«Вся господня земля и благословенны вси живущие,— ложись, спи!»

«Нет, позволь,— говорю,— тебе объявиться, ведь мы по старой вере».

«Все,— говорит,— уды единого тела Христова! Он всех соберет!»

И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:

«Спите!»

И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое опасение наблюдая, говорю:

«Прости, божий человек, еще одно вопрошение...»

Он отвечает:

«Что вопрошать: бог все знает».

«Нет, скажи,— говорю,— мне: как твое имя?»

А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит:

«Зовут меня зовуткою, а величают уткою»,— и с этими пустыми словами пополоз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:

«Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а теперь впотьмах молись!»

«Не буду,— отвечает,— брате Мирон, не буду. Спаси тебя бог!»

И задул свечку.

Я шепчу:

«Отче! кто это на тебя так грубительно грозится?»

А он отвечает:

«Это служка мой Мирон... добрый человек, он блюдет меня».

«Ну, шабаш! — думаю,— это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный и безгневный. Вот когда беда! обрящел он нас и теперь истлит нас, как гагрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были». Держа этот

план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать.

А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой... самый необъяснимый: будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так, смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистись»,— а тот отвечает: «И очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковый лапо́ток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лапо́тки плетет, для простого себя миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается, и говорит:

«Полно, Марк, спать, пора дело делать».

Я отзываюсь:

«Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты всё знаешь?»

«Знаю,— говорит,— знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все, брате, все пути господнего ищут. Помогай господь твоему смирению, помогай!»

«Какое же,— говорю,— святой человек, мое смирение? ты смирен, а мое что за смирение в суете!»

А он отвечает:

«Ах нет, брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю».

И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал.

«Господи! — молится,— не прогневайся на меня за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!»

«Ну,— думаю,— нет: слава богу, это не Памва прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец». Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме небесного царства может отрицаться и молить, дабы послал его господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слыхал и,

сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоноговейную. Но, наконец, рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:

«Я, отче, все совершил: теперь благослови!»

А старец посмотрел на него и отвечает:

«Мир ти: почий!»

И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапóток плесть.

Тут я сразу вскочил и думаю:

«Нет; пойду скорее возьму Леву, и утечем отсюда без огляд-ки!» — и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия навзничь и ручки на груди сложил.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

«Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? — а шепотом шепчу ему: — Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!»

Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит... Ото-шел!.. Умер!..

Взвыл я не своим голосом:

«Памва! отец Памва, ты убил моего отрока!»

А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостию:

«Улетел наш Лева!»

Меня даже зло взяло.

«Да,— отвечаю сквозь слезы,— он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил!» — и, повергшись к ногам усопшего, стенал я и плакал над ним даже до вечера, когда пришли из мона-стырька иноки, опрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я, нетяг, спал, к церкви присоединился.

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согруби ему — он благословит, прибей его — он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет: недаром я его трепетал и опасался, что истлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «Жестче тер-зайте, ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь создавшим, и устыдится его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапóтком аду на по-

гибель создан! и, всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Как же он молится, каким образам и по каким книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, окроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг...

«Господи! — дерзаю рассуждать,— если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен».

И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуту его пред отходом отсюда видения.

И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый троскот, и отец Памва опять выходит с топором и с вязанкою дров и говорит:

«Что долго медлил? Поспешай Вавилон строить?»

Мне это слово показалось очень горько, и я сказал:

«За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь».

А он отвечает:

«Что есть Вавилон? столп кичения; не кичись правдою, а то ангел отступится».

Я говорю:

«Отче, знаешь ли, зачем я хожу?»

И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал и отвечает:

«Ангел тих, ангел кроток, во что ему повелит господь, он в то и одеется; что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел! Он в душе человечьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать...»

И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или... господь знает куда делся.

Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: «ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его»,— да вдруг думаю: «А что, если он сам ангел, и бог повелит ему в ином виде явиться мне: я умру, как Левонтий!» Взгадав это, я, сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать: шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому, что изограф Севастьян

был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал: витал в душе моей анахорит Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух божий в ноздрех человека сего».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли скоро и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились и англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плещми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, поелику и сам он был видом как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит:

«Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?»

А Севастьян отвечает:

«Отчего же? Чем мои руки несоответственны?»

«Да тебе,— говорит,— что-нибудь мелкое ими не вывесть».

Тот спрашивает:

«Почему?»

«А потому что гибкость состава перстов не позволит».

А Севастьян говорит:

«Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются».

Англичанин улыбается.

«Значит, ты,— говорит,— нам запечатленного ангела подведешь?»

«Отчего же,— отвечает,— я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей».

«Хорошо,— молвил Яков Яковлевич,— мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтоб ей нравилась».

«Какое же во имя?»

«А уж этого я,— говорит,— не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась».

Севастьян подумал и вопрошает:

«А о чем ваша супруга более богу молится?»

«Не знаю,— говорит,— друг мой; не знаю о чем, но, я думаю, вернее всего, о детях, чтоб из детей честные люди вышли».

Севастьян опять подумал и отвечает:

«Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю».

«Как же ты потрафишь?»

«Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно».

Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.

И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа-чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылевкасил крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоновья кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором — рождество пресвятыя Владычицы богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты; в третьем — Спасово пречистое рождество, и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль-птица, жидам запрещенная, коя пишется в означение, что идет сие не от жидовства, а от божества, все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В богородичном рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи. Едина жена держит святую Анну под плещи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба святую богородицу омывает в купели до пояса: посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокан, и в этой нижней палате сидит Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит пресвятую богородицу, а во-

круг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вохряна... Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ «Доброчадие», и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:

«Можешь ли ты еще мельче выразить?»

Севастьян отвечает:

«Могу».

«Так скопируй мне,— говорит,— в перстень женин портрет».

Но Севастьян говорит:

«Нет, вот уж этого я не могу».

«А почему?»

«А потому,— говорит,— что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть».

«Что за вздор такой!»

«Никак нет,— отвечает,— это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме святых икон, не писать!»

Яков Яковлевич говорит:

«А если я тебе пятьсот рублей дам за это?»

«Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас они останутся».

Англичанин просиял и шутя говорит жене:

«Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?»

А сам ей по-аглицки прибавляет: «Ох, мол, гут карахтер». Но только молвил в конце:

«Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может».

Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим.

«Ну так смотрите,— говорит,— я начинаю»,— и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыко на это ему ни то ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстает и домогает; а мы уже ждем, что порох огня.

— При сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спасово рождество. Но вы не числите тамошнее рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз невесть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постянет, а на другой опять растворит; реку то ледком засалит, то вспучит и несет крыги, как будто в весеннюю половодь... Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто *халепа*, так оно ей и пристало халепой быть.

В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось; цепи одни висят, а моста нет. Зато создал бог другой мост: река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе, и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:

«Завтра,— говорит,— ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу».

Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человечу! Вместо соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе Еспер-звезда горит.

Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он несуетно себе все приготовлял: яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, ста-

ренькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрепещут, то падают...

Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся, и прямо к нам... По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся:

«Боже отец духовом и ангелом: пощади рабы твои!»

И с этим моленьем упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:

«Эй, вы! Староверы! Вот вам привез!» — и подает узелок в белом платочке.

Лука принял узелок и замер: чувствует, что это что-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма с нашего ангела сорвана, а самой иконы нет.

Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:

«Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана».

Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно, досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:

«Да что же вы всё путаете! Вы же сами мне говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил; а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!»

Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.

«Твои,— говорит,— мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет».

Но Севастьян-изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и ответствует:

«Нет,— говорит,— ваша милость; наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это,— говорит,— только в обиду нам выдумано, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем. А у нас в подлиннике постанов-

лен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, повелено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить? Святого Неофита указано с птицею-голубем писать; Конона Градаря с цветком, Тимофея с ковчежцем, Георгия и Савву Стратилата с копьями, Фотия с корнавкой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить как ему фантазия его художества позволит, и потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить».

Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас, и нет от него никакого дальше решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище, и не знаем, вполне ли отчаяваться или еще чего ожидать, но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам: спустилась ужасная оттепель, и засеял дождь, небо среди дня все яко дым коптильный, а ночи темнеющие, даже Еспер-звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет... Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово рождество, а в самый сочельник ударил гром, полил ливень, и льет, и льет без уставу два дни и три дни: снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло... Мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу по мутной волне, у наших построек всю реку затерло: горой содит льдина на льдину, и прядают они и сами звенят, прости господи, точно демоны... Как стоят постройки и этакое несподиванное теснение терпят, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того; потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился — складает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать не можем.

Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что он мало с ума не сошел: всё, говорят, ходил да у всех спрашивал: «Куда деться? Куда деваться?» И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит:

«Знаешь что, мужик: пойдем вашего ангела красть?»

Лука отвечает:

«Согласен».

По Луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом злотаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять будто для ризы; а между тем как можно лучше в нее вглядится и дома напишет с нее подделок.

Затем, когда у настоящего злотаря риза будет готова, ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь, и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу, и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынесть. А на дворе за церковью наш человек чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок, и здесь изограф должен в продолжение времени, пока идет всенощная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать, таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало.

«Что же-с? Мы,— говорим,— на все согласны!»

«Только смотрите же,— говорит,— помните, что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите».

Лука Кирилов отвечает:

«Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую и подделок».

«Ну а если тебе что-нибудь помешает?»

«Что же такое мне может помешать?»

«Ну, вдруг ты умрешь или утонешь».

Лука думает: отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а впрочем, соображает, что действительно трафляется иногда и кладязь копающему обретать сокровище, а идущему на торг встречать пса беснуема, и отвечает:

«На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который, в случае моей неустойки, всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас».

«А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?»

«Ковач Марой»,— отвечает Лука.

«Это старик?»

«Да, он не молод».

«Но он, кажется, глуп?»

«Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет».

«Какой же,— говорит,— может быть дух у глупого человека?»

«Дух, сударь,— ответствует Лука,— бывает не по разуму: дух иде же хощет дышит, и все равно что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный».

Англичанин подумал и говорит:

«Хорошо, хорошо: это всё интересные ощущения. Ну, а как же он меня выручит, если я попадусь?»

«А вот как,— отвечает Лука,— вы будете в церкви у окна

стоять, а Марой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет, и в окно полезет и всю вину на себя примет».

Это англичанину очень понравилось.

«Любопытно,— говорит,— любопытно! А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?»

«Ну уж это, мол, дело взаимоверия».

«Взаимоверия,— повторяет.— Гм, гм, взаимоверия! Я за глупого мужика в каторгу, или он за меня под кнут? Гм, гм! Если он сдержит слово... под кнут... Это интересно».

Послали за Мароем и объяснили ему, в чем дело, а он и говорит:

«Ну так что же?»

«А ты не убежишь?» — говорит англичанин.

А Марой отвечает:

«Зачем?»

«А чтобы тебя плетьми не били да в Сибирь не сослали».

А Марой говорит:

«Экося!» — да больше и разговаривать не стал.

Англичанин так и радуется: весь ожил.

«Прелесть,— говорит,— как интересно».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навеслили мы наутро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег: он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы.

Спрашиваем:

«Видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить?»

«Видел,— отвечает,— и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал, но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю».

«Батюшка,— молим его,— порадей!»

«Ничего,— отвечает,— порадею!»

И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее.

К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан.

Наступал самый опасный час нашего воровства.

Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всенощной ударили, мы сели три человека в небольшую ладью: я, дед Марой да дядя Лука. Дед Марой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду.

А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла претемная, настоящая воровская.

Переехавши, Марой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления: как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всенощна пройдет? И кажется мне, что уже времени и невесть сколь много ушло; а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк, и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим, передавленным голосом говорит:

«Греби!»

Я беру весла, да никак со страха в уключины не попаду. Насилу справился и отвалил от берега да и спрашиваю:

«Добыли, дядя, ангела?»

«Со мной он, греби мощней!»

«Расскажи же,— пытаю,— как вы его достали?»

«Непорушно достали, как было сказано».

«А успеем ли назад взворотить?»

«Должны успеть: еще только великий прокимен вскричали. Греби! Куда ты гребешь?»

Я оглянулся: ах ты господи! и точно, я не туда гребу: все, кажись, как надлежит, впоперек течения держу, а нашей слободы нет,— это потому что снег и ветер такой, что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит.

Ну, однако, милостью божиею мы доставились; соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов: действует хладнокровно, но твердо: взял прежде икону в руки, и как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех познаменоваться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее и на свою подделку и говорит:

«Хороша! только надо ее маленько грязцой с шафраном усми-

рить!» А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч, и... пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с! Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониною не толще как листок самой тонкой писчей бумаги... Долго ли тут до греха: то есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такой холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку скомкал, скомкал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел, и, наконец, глянул сквозь холст на свет, а весь этот новенький списочек как сито сделался в трещинках... Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в средину краев, а на долонь набрал какой знал темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном вроде замазки и ну все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать... Живо он все это свершал, и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифили и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акция распечатления.

Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колене и, покрыв ею запечатленную икону, кричит:

«Давай каленый утюг!»

В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг.

Михайлица зацепила его и подает на ухвате, а Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку!.. От разу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает, и дым от поярка уже столбом валит, а Севастьян знай печет: одной рукой поярочек помалу поворачивает, а другою — утюгом действует, и все раз от разу неспешнее да сильнее налегает, и вдруг отбросил и утюг и поярок и поднял к свету икону, а печати как не бывало: крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лике, но зато светлобожественный лик весь виден...

Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и, минутою дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит:

«Ну, кончай же скорей!»

А тот отвечает:

«Моя акция кончена, я все сделал, за что брался».

«А печать наложить».

«Куда?»

«А вот сюда этому новому ангелу на лик, как у того было».

А Севастьян покачал головою и отвечает:

«Ну нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать».

«Так как же нам теперь быть?»

«А уже я,— говорит,— этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили сих деятелей получить, так теперь сами делайте».

Лука говорит:

«Что ты это! да мы ни за что не дерзнем!»

А изограф отвечает:

«И я не дерзну».

И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть, и говорит:

«Неужели вы еще не готовы?»

Говорим: и готовы и не готовы: важнейшее сделали, но ничтожного не можем.

А она немует по-своему:

«Что же вы ждете? Разве вы не слышите, чтó на дворе?»

Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели: в своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул: лед идет!

Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное, крыга на крыгу скачет, друг на дружку так и прядают, и шумят, и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет: все унесло... У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу... Стою и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей и узнав, в чем задержка, схватила икону и... выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит:

«Нате, готово!»

Мы глянули: у нового ангела на лике печать!

Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит:

«Лодку!»

Я открываюсь, что нет лодок, унесло.

А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что индо слышно, как эти цепи, на что толсты, в добрую половицу, а и то погромыхивают.

Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джемс!» — и пала неживая.

А мы стоим и одно чувствуем:

«Где же наше слово? что теперь будет с англичанином? что будет с дедом Мароем?»

А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон.

Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке:

«Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Мароя ветхую кожу станет палач терзать и доброчестное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти!» — и с этим словом перекрестился, выступил и пошел.

Я вскрикнул:

«Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь!» — да и кинулся за ним, чтоб удержать, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши, наземь бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул:

«Прочь! или насмерть ушибу!»

Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей-право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но... угодно вам — верьте, не угодно — нет, а только в это мгновение не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи, и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю:

«Заводи катавасию!»

Головщик наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста»,— а другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури вою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спущается... А далее? далее объяла его тьма, и не видно: идет он или уже упал и крыгами проклятыми его в пучину забуровало, и не знаем мы: молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Теперь что же-с происходило на том берегу? Преосвященный владыко архиерей своим правилом в главной церкви всенощную совершал, ничего не зная, что у него в это время в приделе крали; наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем приделе в алтаре и, скрав нашего ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался; а дед же Марой, свое слово наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы, как Лука не возвратится, сейчас англичанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой исправен стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь, мол, я — ответный вор, здесь!

И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаймоверии превозвысить, а к этим двум верам третия, еще сильнейшая двизает, но только не знают они, что та, третья вера, творит. Но вот как ударили в последний звон всенощной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Марой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердисловит:

«Перенеси бог! перенеси бог, перенеси бог! — а потом вдруг как вспрыгнет и сам словно пьяный пляшет, а сам кричит: — Перенес бог, перенес бог!»

Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел, думает:

«Ну, конец: глупый старик помешался, и я погиб»,— ан смотрит, Марой с Лукою уже обнимаются.

Дед Марой шавчит:

«Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел».

А дядя Лука говорит:

«Со мною не было фонарей».

«Откуда же светение?»

Лука отвечает:

«Я не знаю, я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал... точно меня кто под обе руки нес».

Марой говорит:

«Это ангелы,— я их видел, и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня».

А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отве-

чает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает. Но тот взял и кажет их назад.

«Что же,— говорит,— печати нет?»

Лука говорит:

«Как нет?»

«Да нет».

Ну, тут Лука перекрестился и говорит:

«Ну, кончено! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный ангел совершил, и я знаю, к чему оно».

И сразу бросился Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит:

«Так и так, я святотатец и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму посадить».

А владыка в меру чести своея все то выслушал и ответствует:

«Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы,— говорит,— плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел».

Дядя говорит:

«Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь».

А архиерей ответствует разрешительным словом:

«Властию, мне данною от бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься заутро принять пречистое тело Христово».

Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать: Лука Кирилов и дед Марой утром ворочаются и говорят:

«Отцы и братие, мы видели славу ангела господствующей церкви и все божественное о ней смотрение в добротолюбии ее иерарха и сами к оной освященным елеем примазались и тела и крови Спаса сегодня за обеднею приобщались».

А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех:

«И мы за тобой, дядя Лука!» — да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались, и едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но, наконец, один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось впросонье, и падение ангела, которого забеглая кошка или со-

бака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы.

— Понятно и то,— добавил слушатель,— что Лука по цепи перешел с веслом: каменщики известные мастера где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансир; понятно, пожалуй, и то, что Марой мог видеть около Луки светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности сильно перезябшему человеку мало ли что могло зарябить в глазах? Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Марой, по своему предсказанию, не преполовя дня умер...

— Да он и умер-с,— отозвался Марк.

— Прекрасно! И здесь ничего нет удивительного восьмидесятилетнему старику умереть после таких волнений и простуды; но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо: как могла исчезнуть печать с нового ангела, которого англичанка запечатала?

— Ну, а это уже самое простое-с,— весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою.

— Как же это могло случиться?

— А так: англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада... Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала.

— Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно.

— Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером, и даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наша братия, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлачки уже вылезают из-под снегу. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С Новым годом зато имею честь поздравить, и простите, Христа ради, меня, невежу!

<1873>

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен,— сказал этот путник,— что в настоящем случае непременно виновата рутина или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М... н...не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал,— откликнулся философ.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? по крайней мере, умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас не заметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит,— начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски, закрученных седых усов.— Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с,— отвечал богатырь-черноризец,— есть в московской епархии в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли,— так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском ок-

руге про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница,— пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталося: тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души,— куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?» — потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергий.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?»

А святой Сергий отвечает:

«Милости хощу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте,— говорит,— их: теперь нет их молитвенника»,— и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и всё кивают владыке грустно и жалостно, и всё сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват,— говорит,— в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика: «Ступай,— изволили сказать,— и к тому не согрешай, а за кого молился — молись»,— и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же *«должен»?*

— А потому, что «толцытеся»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах или иеродиакон?

— Нет, я еще просто в рясофоре.

— Все же, ведь уже это значит, вы инок?

— Н... да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают,— отозвался на это купец,— но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

— Значит, кантонист? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я *конэсер*.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководствования.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правою кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется,— она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал,— «бешеный усмиритель» он назывался, — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С божиею помощию-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего,— говорю,— это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую за-

ставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в однех шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода-Гаврипла из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: *«Чести моей никому не отдам»*. В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите,— говорю,— скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как,— говорят,— это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк... Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и

говорю: «Стой, собачье мясо, песья снедь!» да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

— Издох однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотел у меня секрет взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продал.

— Так за чем же дело стало?

— Так... он сам меня, должно быть, испугался.

— Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

— Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М... н...н... не знаю, как это объяснить.... впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— А чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

— Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

— Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

— Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от

кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на ворки корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил и в царский проезд один раз в седьмом номере был и старинною синею ассигнациею жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын*, значит, она, долго детей не имея, меня себе у бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто *Голован*. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с форейтором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестери-

ком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужасть! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ддди-ди-и-и-ттт-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседлывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну, а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там, на казенной дороге, нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыни дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям саженными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул

«дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаяся, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полсну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а *он* не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А *он* отвечает:

«Ты,— говорит,— меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет,— отвечаю.— Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем,— говорю,— тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то,— говорит,— это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленый сын*?»

«Как же,— говорю,— слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли,— говорит,— ты еще и то, что ты *сын обещанный?»*

«Как это так?»



Очарованный странник

«А так,— говорит,— что ты богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же,— говорю,— она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я,— говорит,— не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так,— говорит,— потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь,— говорит,— так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу,— отвечаю,— только какое же знамение?»

«А вот,— говорит,— тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно,— отвечаю,— согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж,— к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли,— и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом, лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда

попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе и здоровый мужик говорит мне:

«Ну что, неужели ты, малый, жив?»

Я отвечаю:

«Должно быть, жив».

«А помнишь ли,— говорит,— что с тобою было?»

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

«Да и где же,— говорит,— тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну, а теперь,— говорит,— если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть».

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

«Вот,— говорит,— мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны».

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

«Проси у меня, Голован, что хочешь,— я все тебе сделаю».

Я говорю:

«Я не знаю, чего просить!»

А он говорит:

«Ну, чего тебе хочется?»

А я думал-думал да говорю:

«Гармонию».

Граф засмеялся и говорит:

«Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию,— говорит,— ему сейчас же купить».

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:

«На,— говорит,— играй».

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я, сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Не успел я, по сем облагодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилося мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого, откуда ни возьмись, белая кошка какая-то мимо бежала, и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну,— думаю,— нет, зачем же, мол, это так делать?» — да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал,— так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо,— думаю,— теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я

наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

«Ага, ага! вот это кто! вот это кто!»

Я говорю:

«Что такое?»

«Это ты,— говорит,— Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?»

Я говорю:

«Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?»

«А как же ты,— говорит,— это смел?»

«А она, мол, как смела моих голубят есть?»

«Ну, важное дело твои голубята!»

«Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня».

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

«Что,— говорю,— за штука такая кошка».

А та стрекоза:

«Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала»,— да с этим ручкою хвать меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогожке снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся християны, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталося скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

«Что это,— говорит,— ты, батрак, делаешь?»

«А тебе, мол, что до меня за надобность?»

«Или,— пристает,— тебе жить худо?»

«Видно,— говорю,— не сахарно».

«Так чем своей рукой вешаться, пойдем,— говорит,— лучше с нами жить, авось иначе повиснешь».

«А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?»

«Воры,— говорит,— мы и воры и мошенники».

«Да; вот видишь,— говорю,— а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?»

«Случается,— говорит,— и это действуем».

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все. «А еще,— говорят,— спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

«Чтоб я,— говорит,— тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать».

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, знавши в конюшни все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

«Вот тебе твоя доля».

Мне это обидно показалось.

«Как,— говорю,— я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?»

«Потому,— отвечает,— что такая выросла».

«Это,— говорю,— глупости: почему же ты себе много берешь?»

«А опять,— говорит,— потому, что я мастер, а ты еще ученик».

«Что,— говорю,— ученик,— ты это все врешь»! Да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

«Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец».

А он отвечает:

«И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься».

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

«Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?»

«Нет,— говорю,— у меня один целковый есть, а десяти рублей нету».

«Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?»

«Да,— говорю,— это сережка».

«Серебряная?»

«Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный».

«Ну, скидавай,— говорит,— их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит».

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателеву печать приложил и говорит:

«Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай,— говорит,— и кому еще нужно — ко мне посылай».

«Ладно,— думаю,— хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и всё так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бра-

нится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

«Скажи правду: ты ведь беглый?»

Я говорю:

«Беглый».

«Вор,— говорит,— или душегубец, или просто бродяга?»

Я отвечаю:

«На что вам это расспрашивать?»

«А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен».

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

«Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты,— говорит,— верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру».

Я ужаснулся.

«Как,— говорю,— в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден».

«Нет, это пустяки,— говорит,— пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить».

«Помилуйте,— отвечаю,— тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?»

«Пустяки,— говорит,— ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится».

«Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен».

«А я,— говорит,— на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дой и тем молочком мою дочку воспитывай».

Я задумался и говорю:

«Конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только все бы,— говорю,— кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь».

«Нет, ты мне про женщин, пожалуйста,— отвечает,— не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?»

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше

съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать,— и коза-то и та к нам привыкла, бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

«Я,— говорит,— тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит».

Я понес, а лекарь говорит:

«Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать».

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать, да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскликались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымо-

чишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну,— думаю,— опять это мне про монашество пошло!» — и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу — дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

«Что надо?»

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

«Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!»

Я говорю:

«Ну так что же в этом такое?»

«Отдай,— говорит,— мне ее».

«С чего же ты это,— говорю,— взяла, что я ее тебе отдам?»

«Разве тебе,— плачет,— ее не жаль? видишь, как она ко мне жмется».

«Жаться, мол, она глупый ребенок — она тоже и ко мне жмется, а отдать я ее не отдам».

«Почему?»

«Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить».

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

«Ну, хорошо,— говорит,— ну, не хочешь дитя мне отдать, так, по крайней мере, не сказывай,— говорит,— моему мужу, а твоему

господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла».

«Это, мол, другое дело,— это я обещаю и исполню».

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бегит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

«Кури,— говорит,— пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить».

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехою и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?.. с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

«Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать».

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала всё мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

«Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай,— говорит,— что я тебе скажу: нынче,— говорит,— *он* сам сюда к нам придет».

Я спрашиваю:

«Кто это такой?»

Она отвечает:

«Ремонтер».

Я говорю:

«Ну так что ж мне за причина?»

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я то есть ей ее дочку отдал.

«Ну, уж вот этого,— говорю,— никогда не будет».

«Отчего же, Иван? отчего же? — пристает.— Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?»

«Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне».

Она плакать, а я говорю:

«Ты лучше не плачь, потому что мне все равно».

Она говорит:

«Ты бессердечный, ты каменный».

А я отвечаю:

«Совсем, мол, я не каменный, а такой же как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его».

Она убеждает, что ведь, посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

«Опять-таки,— отвечаю,— это не мое дело».

«Неужто же,— вскрикивает она,— неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?»

«А что же,— говорю,— если ты, презрев закон и религию...»

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтер, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздразнить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

«Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги,— говорит,— раскинем, у него глаза разбежатся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка»,— и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

«Вот,— говорит,— тут ровно тысяча рублей,— отдай нам дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь».

А я нарочно невежничаю, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

«Нет,— говорю,— это твое средство, ваше благородие, не подействует»,— а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

«Тубо,— пиль, апорт, подними!»

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцыю,— что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

«Вот тебе,— говорю,— и храбрость твою под ногой придавлю».

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее да с кулачонками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

«Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!»

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хвать за другую и говорю:

«Ну, тяни его: на чию половину больше оторвется».

Он кричит:

«Подлец, подлец, изверг!» — и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бегит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

«Держи их, Иван! Держи!»

«Ну как же,— думаю себе,— так я тебе и стану их держать!

Пускай любятся!» — да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

«Нате вам этого пострела! Только уже теперь и меня,— говорю,— увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту».

Она говорит:

«Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить».

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

«Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя».

Я говорю:

«Почему же?»

«А потому,— отвечает,— что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет».

«Нет, у меня был,— говорю,— паспорт, только фальшивый».

«Ну вот видишь,— отвечает,— а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с богом куда хочешь».

А мне, признаюсь, ужасть как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

«Ну, прощайте,— говорю,— покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что».

«Что,— спрашивает,— такое?»

«А то,— отвечаю,— что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил».

Он рассмеялся и говорит:

«Ну что это, бог с тобой, ты добрый мужик».

«Нет-с, это,— отвечаю, — мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил».

«Это,— отвечает,— правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем вас и повелеваем *вас* почитать и уважать».

«Ну, позвольте же,— говорю,— я этого никак дальше снесть не могу...»

«А что же,— говорит,— теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь».

«Вынуть,— говорю,— нельзя, а по крайности, для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить»,— и взял обе щеки перед ним надул.

«Да за что же? — говорит,— за что же я тебя стану бить?»

«Да так,— отвечаю,— для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил».

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

«Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?»

А я говорю:

«Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте,— говорю,— меня с обеих сторон ударить»,— и опять щеки надул; а он вдруг вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

«Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут».

«А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?»

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею... «Шабаш,— думаю,— пойду в полицию и объявлюсь, но только,— думаю,— опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посереди их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

«Нешто ты,— говорит,— его не знаешь: это хан Джангар».

«Что, мол, еще за хан Джангар?»

А тот и говорит:

«Хан Джангар,— говорит,— первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь».

«Разве,— говорю,— эта степь не под нами?»

«Нет, она,— отвечает,— под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине,— говорит,— хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться».

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуй великолепный, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навытяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости всё вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтораста и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить,— сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один

вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! — думаю себе,— ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татартище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталь сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты,— думаю,— милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел,— но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг, тут еще торг не был кончен и никому она не досталась, как видим, из-за Суры, от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет, и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице, и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

«Моя кобылица».

А хан отвечает:

«Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают».

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

«Сто монетов больше всех даю!»

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня, и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей, и говорит:

«Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!»

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит. А он отвечает:

«Это,— говорит,— дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он,— говорит,— не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня или двух, что конэсеры не знать что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку знавши, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...»

«Диво,— говорю,— какая лошадь!»

«Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всереди косяка при-

гонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?»

«А что, мол, такое: из-за чего нам биться?»

«А из-за того,— отвечает,— что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет».

«Что же они,— спрашиваю,— очень, что ли, богаты?»

«И богатые,— отвечает,— и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худищий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев,— оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают».

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступилися от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и всё хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и всё трясутся да кричат; один кричит:

«Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов» (значить пять лошадей),— а другой вопит:

«Врет твоя мордам, я даю десять».

Бакшей Отучев кричит:

«Я даю пятнадцать голов».

А Чепкун Емгурчеев:

«Двадцать».

Бакшей:

«Двадцать пять».

А Чепкун:

«Тридцать».

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, а Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню»,— и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тор-

мошат их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

«Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?»

«А вот видишь,— говорит,— этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили».

«Как же,— спрашиваю,— можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может».

«Отчего же,— отвечает,— азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят».

Я любопытствую:

«Что же, мол, такое это значит: «наперепор».

А тот мне отвечает:

«Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается».

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев оба будто стишали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

«Сгода́!» — дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

«Сгода́: поладили!»

И оба враз с себя и халаты долой, и бешметы, и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

«Сейчас, бачка, сейчас».

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнял их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите,— говорит,— обе штуки ровные».

«Ровные,— кричат татарва,— все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают».

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «Подождите»,— и сам им

эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются... Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенели и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

«Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?»

«Да,— отвечает,— тоже такой поединок, только это,— говорит,— не насчет чести, а чтобы не расходоваться».

«И что же,— говорю,— они эдак могут друг друга долго сечь?»

«А сколько им,— говорит,— похочется и сколько силы станет».

А те всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет»,— а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет»,— и кому хочется, об заклад держат — те за Чепкуна, а те за Бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

«Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет».

А я говорю:

«Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят».

А тот мне отвечает:

«Сидят-то,— говорит,— они еще оба ровно, да не одна в них повадка».

«Что же,— говорю,— по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает».

«А вот то,— отвечает,— и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет».

«Что это,— думаю,— такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же,— размышляю,— должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

«Скажи,— говорю,— милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасаешься?»

А он говорит:

«Экой ты пригородник глупый! ты гляди,— говорит,— какая у Бакшея спина».

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

«А видишь,— говорит,— как он бьет?»

Гляжу, и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

«Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?»

«Что же, мол, такое нутрём?» — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

«Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет».

«Что же,— спрашиваю,— стало быть, Чепкун надежней?»

«Непременно,— отвечает,— надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, а спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрохвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея запорет. Понимаешь ты это теперь?»

«Теперь,— говорю,— понимаю,— и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?»

«А еще самое главное,— указует мой знакомец,— замечай,— говорит,— как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет,— это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет».

Я все эти его любопытные приметы на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул, и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тот мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

«Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея, садись — теперь твоя кобыла».

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

«Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай».

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот,— думаю,— все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет»,— а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

«Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет».

Я говорю:

«Чему же еще быть? все кончено».

«Нет,— говорит,— не кончено, ты смотри,— говорит,— как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское».

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит,— по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны,— настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища, и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа,

по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородина какая здоровая и свежая. Кричит: «Что,— говорит,— по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татарином сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю:

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татарином... что же, секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на óпух бить, чтобы кровь не спущать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как запороли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало,— отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите,— продолжал он,— это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицыю ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацыю не по-

ложить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказчика.

— А вот наверное этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пущал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тьфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как,— говорят,— ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он,— говорят,— тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя,— говорят,— по христианству надо судить. Пойдем,— говорят,— в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князья: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

— То есть позвольте... как же они вас скрыли?

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

— И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы,— говорят,— тебя очень лю-

бим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь,— коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру дам или калганного корня, и пройдет, а сабуру у них много было,— в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

— А у вас что же с ногами случилось?

— Подщетинен я был после первого раза.

— Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были подщетинены?

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты,— говорят,— нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет»,— и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши,— всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь,— говорят,— здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никуда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волосто этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно,

а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это,— говорю,— вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, чтó ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же,— говорю,— это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты,— говорят,— присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи».

«Тьфу вы, подлецы!»— думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал,— скука смертная одолела, и стал присноравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастие, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел не хуже ли́са, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскали меня и взяли и подщетинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо,— отвечал Иван Северьяныч,— да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь,— говорят,— тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери,— говорят,— брат, себе теперь Наташу,— мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она

скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да,— отвечал он,— эта вышла поутешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разно... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же,— запытал опять один из слушателей,— как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-за́ды, и мало-за́ды, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх,— говорит,— Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я,— говорит,— было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы,— отвечаю ему,— ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья,— говорю,— слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так,— говорит,— и видел, что из них,— говорит,— настоящих охотников нет, а всё только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетинят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетиненный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что,— говорят,— тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить,— Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что,— говорю,— мне их больше? мне больше не надо».

«Нет,— говорят,— ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тятькой кричать будут».

«Ну,— говорю,— легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парою принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их всё так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек — так *Иван*, а женщина — *Наташа*, а мальчиков они *Кольками* кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери»,— но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую — все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля, делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь пáлом по траве пойдет,— суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чириканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник... И когда на восходе солнца туман росою садится, будто прохладой пахнёт, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенесть можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не

на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи и, глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются,— это и называется тюбенькуют... Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно, по крайней мере, запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уже более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте,— говорит,— мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги»,— он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастия отлучен, и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный, и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку,

чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы своей монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидать свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуй бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и *плененных*», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же,— думаю,— молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятятся.

Я говорю:

«Что такое?»

«Ничего,— говорят,— из вашей стороны два муллы пришли, от

белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять».

Я бросился, говорю:

«Где они?»

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-за́дов и мало-за́дов, и мамов, и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

«А что? а что! видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета».

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

«Нет,— я говорю,— я, точно, русский! Отцы,— говорю,— духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу».

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: всё проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтися»,— и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

«Попугайте,— говорю,— их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я,— говорю,— здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть».

А они отвечают:

«Что,— говорят,— сыне: выкупу у нас нет, а пугать,— говорят,— нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем».

«Так что же,— говорю,— стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?»

«А что же,— говорят,— все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у бога много милости, может быть он тебя и избавит».

«Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил».

«А ты,— говорят,— не отчаявайся, потому что это большой грех!»

«Да я,— говорю,— не отчаяваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите».

«Нет,— отвечают,— ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны».

«Все?» — говорю.

«Да,— отвечают,— все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу,— говорят,— рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать».

И показывают мне книжку.

«Вот ведь,— говорят,— видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано,— это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!»

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

«У нас на озере, тятька, человек лежит».

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкуру и снимет,— а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх,— думаю,— не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святый боже» над ним пропел,— а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только всё без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им бога смирного проповедывают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азият смирного бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые... очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Иовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Иовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Но не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем... Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин батюшки как клялся, что денег у него нет, что его бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

«Стой,— говорят,— давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пужаться, так срубили ее и в сухой колодец кинули.

— Вот тебе и проповедуй им!

— Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были?!

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки, и всего по кусочкам из песку повытаскали, и наконец добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрошенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригонили к нам два человека, ежели только можно их за человеков считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось? — лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подущают. Слышу я, этот рыжий,— говорить он много не умеет, а толь-

ко выговорит вроде как по-русски «нат-шаль-ник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните,— говорят,— а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, чтó он им сделать может в степи зимою с своим огнем,— ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужасть как интересно, и все мы хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотреть: что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки рано и ждем... Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как вьюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

«Цыть! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали».

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел... зашипело и опять лопнуло...

«Ну,— думаю,— однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер,— как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое сделается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слыхать этого, разумеется, никому нельзя, этакой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуметь, кони шарахаются и всё в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробегли, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем... Кони как зынули на то, да и понеслись... Татарва

и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Алла! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память... Вот тут как все наши ба́тыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там... бббаххх, звездами рассыпало... «Эге,— думаю себе,— да это, должно, не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали»,— да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат кто где упал да только ногами дрыгают... Я было попервоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адъю-мусью!»

Да еще трубку с вертуном выпустил... Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли... Огонь погас, а они всё лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

«Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?», потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

«Прости,— говорят,— Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и всё прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно, уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

«Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости,— говорят,— что мы в твоего бога не верили».

«Ага,— думаю,— вон оно как я их пугнул»,— да говорю: «Ну уж нет, братцы, врете, этого я вам за противность релегии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою... Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что же: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего бога верить».

«Не губи,— отвечают,— мы все под вашего бога согласны подойти».

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «во имя отца и сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел...

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретешь. Мне на четвертый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:

«Садись,— кричит,— веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя бога нет?»

«Как,— говорит,— нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок».

«Кто же,— говорю,— твой бог?»

«А у меня,— говорит,— всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок... все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!.. гм... все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос,— говорю,— стало быть, тебе не бог?»

«Нет,— говорит,— и он бок, и богородица бок, и Николач бок...»

«Какой,— говорю,— Николач?»

«А что один на зиму, один на лето живет».

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

«Всегда,— говорю,— его почитай, потому что он русский»,— и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.

«Как же,— говорит,— я Николача почитаю: я ему на зиму пущай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Кереметп бычка жертвую».

Я и рассердился.

«Как же,— говорю,— ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Кереметп поганой целого бычка! Пошел прочь,— говорю,— не хочу я с тобою... я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят... Должно быть, думаю, христиане... Подполоз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют,— ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего,— говорят,— здесь своя нацыя, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, господи благослови, за свое возвращение!» — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

«Пей еще! — говорят,— ишь ты без нее как зачичкался».

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный: все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если,— говорит,— нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я,— говорю,— я от вас не пойду; а у вас небось тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить,— говорит,— у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же,— говорит,— тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду,— говорит,— тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

«Я,— говорит,— над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».

Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф

остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия...

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было... столько лет не причащамшись... ждал...»

«Ну, мало ли,— говорит,— что; ты ждал, а зачем ты,— говорит,— татарок при себе вместо жен держал... Ты знаешь ли,— говорит,— что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты,— говорит,— этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же,— думаю,— делать: останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена»,— но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я,— говорят,— не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть».

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерениев у меня никаких определительных не было, но на мою долю бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как! магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее влияние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла *ваша* собственная поги-

бель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с; с большим моим удовольствием.

— Так пожалуйста.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь преет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина, и угощенья, и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и всё магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно,

преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

«Открой,— говорит,— братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование».

Ну, а он пристает:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь,— вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен и говорит: «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело,— говорю,— если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок, за обрез и за грудной соколок или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную лато́ху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики,— их обрезывают,— а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой,— барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким мане-

ром ращенная шеротка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подымется и глаз освежеет, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнет». И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: назавтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

«Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать».

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты,— будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу намнет; а эта, когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет»,— и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности.

Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» — Он все этак шутил, звал меня *почти полупочтенный,* но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечу, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои,— говорит,— так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднешнему?»

«Вы,— отвечает,— изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько,— спрашиваю,— вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеется и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаю».

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

«Нет, ты,— говорит,— лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж это,— отвечаю,— покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь! — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться: — Ну, пожалуйста,— говорит,— не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда,— отвечал он.— Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт».

«Хорошо-с,— говорит,— извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

— А с вами что же случалось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит *выходы?*

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпущаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по них и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьете?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М... н... н... это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покороче удастся, в части посидишь или в канаве выспишься, и доволен, и отойдет. В таковых случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет... Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял, или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попущаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И наконец стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить, и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать и всё по самым

невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить... Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я, их прятавши и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул из себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, послюнивши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь»,— а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить... А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру... Тут его, в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

«Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет».

Те ему не верят и смеются, а он сказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне,— говорит,— я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне

водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробою жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это восчувствовал и руку мне подает.

«Верно,— говорит,— ты происхождения из господских людей?»

«Да,— говорю,— из господских».

«Сейчас,— говорит,— и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси [1],— говорит,— тебе за это».

Я говорю:

«Ничего, иди с богом».

«Нет,— отвечает,— я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду».

«Ну, мол, пожалуй, садись».

Он возле меня и сел и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

«Что это... ты чай пьешь?»

«Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей».

«Спасибо,— отвечает,— только я чаю пить не могу».

«Отчего?»

«А оттого,— говорит,— что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!..» — И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете.

«Подумай,— говорит,— ты, какой я человек? Я — говорит,— самим богом в один год с императором создан и ему ровесник».

«Ну так что же, мол, такое?»

«А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я,— говорит,— нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем».— И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз

[1] Большое спасибо *(франц.)*.

уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются, и в конце говорит:

«Они,— говорит,— необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное: но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу».

«Зачем же,— рассуждаю,— этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось».

«Бросить? — отвечает.— А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно».

«Почему же,— говорю,— нельзя?»

«А нельзя,— отвечает,— по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют».

«Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этаку вредную пакость бросить, этому я верить не хочу».

«Да, вот ты,— отвечает,— не хочешь этому верить... Так и все говорят... А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет: рад ли он этому будет или нет?»

«Спаси, мол, господи! Нет, я думаю, не обрадуется».

«А-га! — говорит.— Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня, по крайней мере, за это, и вели мне еще графин водки подать!»

Я постучал еще графинчик, и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он продолжает таковые слова:

«Оно,— говорит,— это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я,— говорит,— хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил, и наконец, будучи во всем сам виноват, еще на бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть».

«И что же,— спрашиваю,— теперь ты уже на этот характер не ропщешь?»

«Не ропщу,— отвечает,— потому что оно хотя хуже, но зато лучше».

«Как это, мол, так: я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?»

«А так,— отвечает,— что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я,— говорит,— теперь все равно что Иов на гноище, и в этом,— говорит,— все мое счастье и спасение»,— и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

«А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял».

«Ну, где же,— говорю,— возможно такого человека найти! Никто на это не согласится».

«Отчего так? — отвечает,— да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек».

Я говорю:

«Ты шутишь?»

Но он вдруг вскакивает и говорит:

«Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай».

«Ну как,— говорю,— я могу это испытывать?»

«А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование: я вот, видишь,— я сейчас пьян... Так или нет: пьян я?»

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый, и весь осоловевши, и на ногах покачивается, и говорю:

«Да разумеется, что ты пьян».

А он отвечает:

«Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

«А ну-ка погляди теперь на меня? пьян я теперь или нет?»

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

«Что же это значит: какой это секрет?»

А он отвечает:

«Это,— говорит,— не секрет, а это называется магнетизм».

«Не понимаю, мол, что это такое?»

«Такая воля,— говорит,— особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я,— говорит,— это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести».

«Так сведи,— говорю,— сделай милость, с меня!»

«А ты,— говорит,— разве пьешь?»

«Пью,— говорю,— и временем даже очень усердно пью».

«Ну так не робей же,— говорит,— это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю: все с тебя сниму».

«Ах, сделай милость, прошу, сними!»

«Изволь,— говорит,— любезный, изволь: я тебе это за твое угощение сделаю; сниму и на себя возьму»,— и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

«На что тебе две рюмки?»

«Одна,— говорит,— для меня, другая — для тебя!»

«Я, мол, пить не стану».

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

«Тссс! силянс! [1] молчать! Ты теперь кто? — больной».

«Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной».

«А я,— говорит,— лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство»,— и с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать.

Помахал, помахал и приказывает:

«Пей!»

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось и он приказывает: «Дай,— думаю,— ни для чего иного, а для любопытства выпью!» — и выпил.

«Хороша ли,— спрашивает,— вкусна ли, или горька?»

«Не знаю, мол, как тебе сказать».

«А это значит,— говорит,— что ты мало принял»,— и налил вторую рюмку и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?»

---

[1] Молчание *(франц.)*.

Я пошутил, говорю:

«Эта что-то тяжела показалась».

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

«Эта легче,— и затем уже сам в графин стучу, и его потчую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

«Шу, силянс... атанде[1]»,— и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит:

«Теперь готово, можешь *принимать, как сказано*».

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследи всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

«Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой ходишь».

А он говорит:

«Шу, силянс! любовь — наша святыня!»

«Пустяки, мол».

«Мужик,— говорит,— ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть».

«Да, пустяки, мол, оно и есть».

«Да ты понимаешь ли,— говорит,— что такое «краса, природы совершенство»?

«Да,— говорю,— я в лошади красоту понимаю».

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

«Разве лошадь,— говорит,— краса, природы совершенство?»

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят... «пожалуйте вон», а сами подхватили нас обоих под ручки, и за порог выставили, и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе

---

[1] Подождите *(франц.)*.

понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях нет.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь,— думаю,— вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премягкие: по небу звезды как лампады навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает... А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? вместе нас вон выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так:

«Слышишь, ты? — говорю,— магнетизер, где ты?»

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

«Я вот он».

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

«Подойди-ка,— говорю,— еще поближе». И как он подошел, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой? как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

«Что ты такое,— говорю,— лопочешь?»

А он опять по-французски:

«Ди-ка-ти-ли-ка-типе».

«Да перестань,— говорю,— дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл».

Отвечает:

«Ди-ка-ти-ли-ка-типе: я магнетизер».

«Тьфу, мол, ты, пострел этакой! — и на минутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой...

«Ах ты, будь ты проклят,— думаю,— и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

«Кто ты такой?»

Он опять говорит:

«Магнетизер».

«Провались же,— говорю,— ты от меня: может быть, ты черт?»

«Не совсем,— говорит,— так, а около того».

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

«За что же ты меня ударил? я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?»

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

«Да кто же ты, мол, такой?»

Он говорит:

«Я твой довечный друг».

«Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?»

«Нет,— говорит,— я тебе такое пти-ком-пё представлю, что ты себя иным человеком ощутишь.

«Ну, перестань,— говорю,— пожалуйста, врать».

«Истинно,— говорит,— истинно: такое пти-ком-пё...»

«Да не болтай ты,— говорю,— черт, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-ком-пё!»

«Я,— отвечает,— тебе в жизни новое понятие дам».

«Ну, вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?»

«А такое,— говорит,— что ты постигнешь красу, природы совершенство».

«Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?»

«А вот пойдем,— говорит,— сейчас увидишь».

«Хорошо, мол, пойдем».

И пошли. Идем оба, шатаемся, но всё идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

«Стой! говори мне, кто ты? иначе я не пойду».

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню, и спрашиваю:

«Отчего же это я позабываю, кто ты такой?»

А он отвечает:

«Это,— говорит,— и есть действие от моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пущу».

И вдруг повернул меня к себе спиною и ну у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать... Так чудно: копается там, точно хочет мне взлезть в голову.

Я говорю:

«Послушай, ты... кто ты такой! что ты там роешься?»

«Погоди,—отвечает,— стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю».

«Хорошо,— говорю,— что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь?»

Он отпирается.

«Ну так постой, мол, я деньги попробую».

Попробовал — деньги целы.

«Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор»,— а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот,— думаю,— штуку он со мной сделал!»

«А где же теперь,— спрашиваю,— мое зрение?»

«А твоего,— говорит,— теперь уже нет».

«Что, мол, это за вздор, что нет?»

«Так,— отвечает,— своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету».

«Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь».

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты, и в середине светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

«Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпься».

А он мне на это отвечает:

«Погоди,— говорит,— еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести».

Я говорю:

«Чего, мол, такого я не могу перенести?»

«А того,— говорит,— что в воздушных сферах теперь происходит».

«Что же я, мол, ничего особенного не слышу?»

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

«Ты,— говорит,— чтобы слышать, подражай примерно́ гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою».

«Нет,— думаю,— да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

«Так,— говорит,— купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовныя».

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

«Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись,— говорит,— и подкрепись!»

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал, и наконец что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький, махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

«Раскрой рот».

Я говорю:

«Зачем?» — а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

«Соси,— говорит,— смелее; это магнитный сахар-ментор: он тебя подкрепит».

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда впотьмах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведает,

но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждать? мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение... Теперь ночь,— все спят, а зачем тут свет?.. Ну, а лучше, мол, попробовать... зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только обольщение глаз, а не живые люди... так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня... томная-претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед:

«Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам *от него* польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим».

И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

«Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать! Голоса есть хорошие».

И с этим дверь передо мною тихо навстежь распахнул... Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что лю-

стра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди... очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер... Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно всё умерло... Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух,— думаю,— да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи,— только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации: а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

«Грушка!» — и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами... ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

«Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!»

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сли-

ве на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет... «Вот она,— думаю,— где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

«Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно».

А он отвечает:

«У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают».

А я, это слышучи, думаю:

«Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд, рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не пущают, и зовут:

«Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!»

И та выходит и... враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:

«Не обидь: погости у нас на этом месте».

«Ну уж тебя ли,— говорю,— кому обидеть можно»,— и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул... Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но сóлу не делает, и мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно... «Эх ты,— думаю,— доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелося ее послушать: и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

«Груша! Груша! «Челнок», Груша! «Челнок»!»

Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете... их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает, а я как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-лá-ла. Джа-ла-ла.
Джа-лá-ла прингалá!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та гара!
Гей гоп-гай, та гара!

И потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя... На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю да и кончено, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела,

песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

Ты восчувствуй, мила́я,
Как люблю тебя, драгая! —

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи, печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается... Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актерки в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит... Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалеем: танцуй!» — деньги ей так просто зря под

ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает... Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя всуе мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю»,— да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед Грушею вприсядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилась, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того... даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынище, ажно гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя... Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? а сам на нее с дерзостью кричу: «Ходи шибче»,— да все под ноги ей лебедей, да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десяток остался... «Тьфу ты,— думаю,— черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

«Сторонись, душа, а то оболью!» — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Ну, и что же далее? — вопросили Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как *он* обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника встать, но никак края не





Очарованный странник

найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет... Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазию во все стороны и все не найду края, и наконец думаю: ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а наместо того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все...

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать... и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот... магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил... Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «как бы хуже не было, если питье бросить»,— и пошел его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?.. Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?

— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить. Я говорю:

«Ну уже это оставьте: у меня ничего денег нет».

Он думает, шутка, а я говорю:

«Нет, исправди, у меня без вас большой выход был».

Он спрашивает:

«Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?..»

Я говорю:

«Я их сразу цыганке бросил...»

Он не верит.

Я говорю:

«Ну, не верьте; а я вам правду говорю».

Он было озлился и говорит:

«Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять,— а потом, это вдруг отменив, и говорит: — Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный».

И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

«Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить».

Он отвечает:

«Пошел к черту».

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь.

«Что,— говорит,— это значит?»

«Да оттрепите же,— прошу,— меня, по крайней мере, как следует!»

А он отвечает:

«А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю».

«Помилуйте,— говорю,— как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало».

А он отвечает:

«А что, братец, делать, когда ты артист».

«Как,— говорю,— это так?»

«Так,— отвечает,— так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист.

«И понять,— говорю,— не могу».

«Ты,— говорит,— не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист».

«Ну, вот это,— думаю,— понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался».

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

«Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было».

Я во все глаза на него вылупился.

«Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно».

«Ну, ты,— отвечает,— очень не пугайся: бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор полсотни тысяч отдал».

Я так и ахнул:

«Как,— говорю,— полсотни тысяч! за цыганку? да стоит ли она этого, аспидка?»

«Ну, вот это,— отвечает,— вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили... Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить».

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю:

«Этакая, мол, сумма! целые пятьдесят тысяч!»

«Да, да,— говорит,— и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал... все, что хочешь, дал бы».

«А вам бы,— говорю,— плюнуть, и больше ничего».

«Не мог,— говорит,— братец, не мог плюнуть».

«Отчего же?»

«Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?..»

Я губы закусил и только уже молча головой трясу:

«Правда, мол, правда!»

«Мне,— говорит князь,— знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?»

«Что же,— говорю,— тут непонятного, краса, природы совершенство...»

«Как же ты это понимаешь?»

«А так,— отвечаю,— и понимаю, что краса, природы совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть... даже радость!»

«Молодец,— отвечает мой князь,— молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премногомалозначащий Иван Северьянович! именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть».

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

«Как,— говорю,— будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?»

А он отвечает:

«А то как же иначе? разумеется, здесь».

«Может ли,— говорю,— это быть?»

«А вот ты,— говорит,— постой, я ее сейчас приведу. Ты артист,— от тебя я ее не скрою».

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю:

«Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть! Наскучит!» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят: князь впереди идет и в одной руке гитару с широкою алой лентой несет, а другою Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничищи черные по щекам как будто птичьи крылья шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому сафьяновому башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел, индо колени разломило, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от томноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут... И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет: «Что?»

А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю:

«Пти-ком-пё»,— говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут»,— да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь... тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной»,— да и ну рыдать. И поет и рыдает: «Успокой меня, неспокойного, осчастливь меня, несчастливого». Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и

пению и все стала тишать, усмиряться и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову...

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — вопросил некто рассказчика.

— Нет-с: еще не тут, а позже,— отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Видите,— начал Иван Северьяныч,— мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именьице, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налицо не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

«Садись,— говорит,— послушай».

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало, ее попросит петь, а она скажет:

«Перед кем я стану петь! Ты,— говорит,— холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась».

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь

у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

«А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи».

Я говорю:

«Чем же они плохи? Слава богу, живете как надо, и все у вас есть».

А он вдруг обиделся.

«Как,— говорит,— вы, мой полупочтеннейший, глупы, «все есть»? что же это такое у меня *есть?*»

Да все, мол, что нужно».

«Неправда,— говорит,— я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?»

«Вот,— думаю,— что тебя огорчает»,— и говорю:

«Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина и меду».

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

«Конечно... конечно... разумеется... но только... Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал...»

«А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?»

Князь вспыхнул.

«Ты,— говорит,— братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом».

«А-га! — думаю,— вот ты что, брат, запел?» — и говорю:

«Что же, мол, теперь делать?»

«Давай,— говорит,— станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили».

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает... Накупили обельму, а продажи нет... Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере... Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении... в

тягости. Скучает. «Мало,— говорит,— его вижу»,— а перемогает себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

«Ты бы,— говорит,— изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая».

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает.

«Береги,— говорит,— ее, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит».

Я говорю:

«Почему же это так? ведь это слово любовное».

«Любовное,— отвечает,— да глупое и надоедное».

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

«Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович,— возговорит,— ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит».

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

«Чего,— говорю,— очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится».

А она всплачет, и руками себя в грудь бьет, и говорит:

«Нет, скажи же ты мне... не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?»

«У господ,— говорю,— у соседей или в городе».

«А нет ли,— говорит,— там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился, или не задумал ли он, лиходей мой, жениться?» — А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю:

«Кто его знает, что он делает»,— потому что мы его мало в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

«Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи».

Пристает она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал не спроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенье Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней захаживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

«Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился».

Она отвечает:

«Ну что же; очень рада. Только отчего же,— говорит,— ты к князю не едешь, на его квартиру?»

«А разве,— говорю,— он здесь, в городе?»

«Здесь,— отвечает.— Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит».

«Какое, мол, еще дело?»

«Фабрику,— говорит,— суконную в аренду берет».

«Господи! мол, еще что такое он задумал?»

«А что,— говорит,— разве это худо?»

«Ничего,— говорю,— только что-то мне это удивительно».

Она улыбается.

«Нет, а ты,— говорит,— вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть».

«И что же,— говорю,— вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?»

Она пожала плечами и отвечает:

«Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит»,— и с этим вздох-

нула и задумалась, сидит опустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши... та ведь больше ничего, как начнет свое «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое... Я ее и взревновал.

«Ох,— думаю себе,— как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

«Князенька к нам приехал!»

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

«Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда в гардеробную, за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем».

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи Семеновны мне был лодиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Семеновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь как вошел, и говорит:

«Здравствуй, старый друг! испытанный!»

А она ему отвечает:

«Здравствуйте, князь! Чему я обязана?»

А он ей:

«Об этом,— говорит,— после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать,— и мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

«Здорова?»

«Здорова»,— говорит.

«И выросла небось?»

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

«Разумеется,— говорит,— выросла».

Князь спрашивает:

«Надеюсь, что ты мне ее покажешь?»

«Отчего же,— отвечает,— с удовольствием»,— и встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которою я угощаюсь.

«Выведите,— говорит,— нянюшка, Людочку к князю».

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит:

«О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут! — и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: — «Посиди»,— а сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленах и говорит:

«Хочешь, мой анфан [1], в карете покататься?»

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенье Семеновне:

«Же ву при [2],— говорит,— пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается».

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, «непременно надобно», и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгенья Семеновна нехотя говорит нянюшке:

«Оденьте ее и поезжайте».

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытьем на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: «Вот же когда мой час настал и я теперь настоящее исследую, что́ у кого против Груши есть в мыслях вредного?»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна, и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажают.

[1] Дитя *(франц.)*.
[2] Я вас прошу *(франц.)*.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

«Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?»

А он отвечает:

«Ну что там дело!.. дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому».

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

«Что же,— говорит,— ты: я прошу,— мне говорить с тобой надо».

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

«Ну, мол, посиди, посиди, по-старому»,— и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

«Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?»

«Что же это,— спрашивает князь,— стало быть, без разговора все начистоту выкладать?»

«Конечно,— говорит,— объясняйте прямо, в чем дело? мы ведь с вами коротко знакомы,— церемониться нечего».

«Мне деньги нужны»,— говорит князь.

Та молчит и смотрит.

«И не много денег»,— молвил князь.

«А сколько?»

«Теперь всего тысяч двадцать».

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать,— что: «Я,— говорит,— суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер; я,— говорит,— все переделаю, все старое уничтожу и выброшу и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно».

Евгенья Семеновна говорит:

«Где же их достать?»

А князь отвечает:

«Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень неумен, а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут... тогда... я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам...»

И он замолк, а барыня помолчала, воздохнула и начинает:

«Расчет,— говорит,— ваш, князь, верен».

«Не правда ли?»

«Верен,— говорит,— верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились...»

«Да».

«Да; и тогда...»

«Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею».

«Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимите всем этим на фу-фу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее приданое, в самом деле разбогатеете».

«Ты так думаешь?» — говорит князь.

А барыня отвечает:

«А вы разве иначе думаете?»

«А ну, если ты,— говорит,— все понимаешь, так дай бог твоими устами да нам мед пить».

«Нам?»

«Конечно,— говорит,— тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам».

Барыня отвечает:

«Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен».

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой; а ты ее мать, я у тебя прошу... разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь...»

А она отвечает:

«Ах, полноте,— говорит,— князь, то ли я вам,— говорит,— верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла».

«Ах да,— говорит,— ты про это... Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно... Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?»

«Присылайте,— говорит,— я подпишу».

«А тебе не страшно?»

«Нет,— говорит,— я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться».

«И не жаль? говори: не жаль? верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? или просто сожалеешь? а?»

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

«Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная».

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается:

«Нет,— говорит,— кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай»,— и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгенья Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит:

«А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?»

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

«Ах, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!»

«А вы,— говорит,— будто про нее так и позабыли?»

«Ей-богу,— говорит,— позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь действительно надо устроить».

«Устраивайте,— отвечает Евгенья Семеновна,— только хорошенечко: она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого».

«Ничего,— отвечает,— как-нибудь успокоится».

«Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?»

«Страсть надоела; но, слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья».

«Что же вам из этого?» — спрашивает Евгенья Семеновна.

«Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить».

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

«Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?»

А князь отвечает:

«Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать».

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастие так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать

не могу... Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменилось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? а про нее никто и не ведает; и люди-то в прислуге всё новые, наемные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допреж сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни вспрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом, или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил... От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снесть и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою. А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне

таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом.

«Сестрица моя, моя,— говорю,— Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись мне; откликнися мне; покажися мне на минуточку!» И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне и повисло и колотится...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши...

«Родная моя! — говорю,— голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилася? Ничего,— говорю,— не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвою не испугаюсь».

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

«Я жива».

«Ну, и слава, мол, богу».

«Только я,— говорит,— сюда умереть вырвалась».

«Что ты,— говорю,— бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи заместо милой сестры».

А она отвечает:

«Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоем слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить».

Пытаю ее:

«Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?»

А она отвечает:

«Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю».

«Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?»

«Не-е-е-т,— отвечает,— я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!»

Вижу, вся женщина в расстройстве и в исступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась и где вся ее красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

«Скажи,— говорю,— мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?»

А она вдруг улыбнулась и говорит:

«Что?.. чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал милсердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь...»

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

«Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошуся и твоей молодой жене горло перееем».

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

«А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал... Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует...»

Она это стала слушать, и вечищами своими черными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

«Любил,— говорит,— любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет... Глупый он, глупый!.. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила».

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

«Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?»

А она всплескивает руками и говорит:

«Ах, ни черезо что ничего не было, а все через одно измен-

ство... Нравиться ему я перестала, вот и вся причина,— и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлепать.— Он,— говорит,— платьев мне по своему вкусу таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями, я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит: «Скинь; не идет тебе»; не надену их, в роспашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела...»

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

«Я,— говорит,— давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел...»

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

— Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было: а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится... Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала... Сердце болело, и дитя подкатывало... думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет!» Все во мне затрепетало... Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое марéвое платье с кружевом, лиф без горлышка... Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится... я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила... вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

«Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!» — да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота с нею сделалась.

«А прочудилась я,— говорит,— у себя в горнице... на диване лежу и все вспоминаю: во сне или наяву я его обнимала; но только была,— говорит,— со мною ужасная слабость»,— и долго она его не видала... Все посылала за ним, а он не ишел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

«Что же ты меня совсем бросил-позабыл?»

А он говорит:

«У меня есть дела».

Она отвечает:

«Какие,— говорит,— такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бралиянтовый!» — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею...

«На счастье,— говорит,— мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезниял и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

«Зачем ты такие грязные шнурки носишь?»

А я говорю:

«Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота».

А он:

«Тьфу, тьфу, тьфу»,— заплевал, заплевал и ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

«Поедем в коляске кататься!» — и притворился, будто ласковый, и в голову меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельнею — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых красных юбках и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особливо от этих однодворок, замутило, и сердце мое сжалось.

«Что это,— спрашиваю его,— какая здесь станция?»

А он отвечает:

«Это ты здесь теперь будешь жить».

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал...»

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

«Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-однодворки стерегут и глаз не спущают... Томилась я, да наконец вздумала притвориться и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да всё за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по кожуре примечаю — куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

«Давайте,— говорю,— ласковые, в жмурки по полянке бегать».

Они согласились.

«А наместо глаз,— говорю,— станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить».

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричат, а я, хоть тягостная, ударилась быстрей коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала целую ночь и наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

«Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать,— вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо!» — и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

«Ты мне все равно что милый брат».

Я говорю:

«И ты мне все равно что сестра милая»,— а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

«Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час».

«Говори,— отвечаю,— что тебе хочется?»

«Нет; ты,— говорит,— прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану».

Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

«Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты,— говорит,— страшней поклянись».

«Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать».

«Ну так я же,— говорит,— за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай».

Я сдуру пообещался, а она говорит:

«Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь».

«Хорошо»,— говорю,— и взял да ее душу проклял.

«Ну, так послушай же,— говорит,— теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих,— говорит,— больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругатель-

ство. Если я еще день проживу, я и *его* и *ее* порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку... Пожалей меня, родной мой, мой миленый брат; ударь меня раз ножом против сердца».

Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает:

«Ты,— говорит,— поживешь, ты богу отмолишь и за мою душу и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла... Н... н... н... у...»

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди:

— Нож у меня из кармана достала... розняла... из ручки лезвие выправила... и в руки мне сует... А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...

«Не убьешь,— говорит,— меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной».

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку спихнул...

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но наконец кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?..

— Залилась,— отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумеется-с.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луковочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстра-

дать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатилась, покатилася, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно, она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и невмоготу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

«Садись, бедный человек, мы тебя подвезем».

Я сел. Они едут и убиваются.

«Горе,— говорят,— у нас: сына в солдаты берут; а капиталу не имеем, нанять не на что».

Я старичков пожалел и говорю:

«Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет».

А они говорят:

«Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым».

«Что же,— отвечаю,— мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно».

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день богу за себя молил, через Предтечу-ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии, так и зовется андийская, которая по Аварии, зовется аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счету, этих татаров, побили, но кои переправились за Койсу,— те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что да-

ром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится:

«Помилуй бог,— говорит,— как вода тепла: все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьею парою и мало стало охотников, потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит:

«Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?»

Я и подумал:

«Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, господи, час мой!» — и вышел, разделся, «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названая, прими за себя кровь мою!» — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву... Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен, но только достиг берега... Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из

себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

«Ой, помилуй бог,— говорит,— какой ты, Петр Сердюков, молодец!»

А я отвечаю:

«Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет».

Он вопрошает:

«В чем твой грех?»

А я отвечаю:

«Я,— говорю,— на своем веку много неповинных душ погубил»,— да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит:

«Помилуй бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю».

Я говорю:

«Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?»

«Хорошо,— говорит,— и об этом пошлю».

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать: чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

«Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я,— говорит,— очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй бог как хорошо».

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все

на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

«Поздравляем,— говорят,— тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй бог, как спокойно,— и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал.— Ступай,— говорит,— он твою карьеру и благополучие совершит». Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливило мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на *фиту*? что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како: много на них фамилиев начинается, и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повеситься, но я благодаря бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на страстной неделе или перед масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в средине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что всё по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчаются и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: всё за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и всё это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шутки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и этого принца от моих рук спасать должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись, а он ее допекает, лезет к ней, и когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало: я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой

фей, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так я взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил,— здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут),— я запрягу; а скажут: «отец Измаил, отпрягай»,— я откладываю.

— Позвольте,— говорим,— так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались... при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так... достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Д-д-а-с. Да и вообще зачем? я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет... не верят, так и в монастырь светскую ложь занес и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем иное. Один из наших сопутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и вопросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Всё разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и *его*, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользовать. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано: «Противустаньте дьяволу, и побежит от вас», и ты,— говорит,— противустань». И тут наставил меня так делать, «что ты,— говорит,— как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумей, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени. Колени у человека,— говорит,— первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твое протягновение на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и

не искушать, авось-де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакого, брал, потому что он другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил, а потом *он* понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим... *он*-то... Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с; что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросеночек издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну и слава богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам,— хоть это против правила,— а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с; положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут...

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются, и чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например... чем могут досаждать?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшому: дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются... Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось; но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву,— нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает... мешает спать, да и все туг. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда в конюшню ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пужаный?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось,— говорит,— и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь *пресердитый* и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать».

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги,— я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно»,— отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр-апостол написан, и в руке у него ключи от царства небесного.

«Вот это-то,— говорит,— и самое важное есть *ключи:* ты этою дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне этою дверью заставляться да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопаски еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! просто ушам своим не верю, что это можно, ан нет: дышит, да и только! да еще мало этого, что дышит, а прет дверь... При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад... А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче щелк... Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал да как лизнет меня в ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бякнул на месте. «Ну,— думаю,— так тебе и надо» — а вместо того, утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Так и прорубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с; отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда напереди у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на мокрого спаса, на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит:

«Поставь, батюшка, празднику».

Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать,— две уронил. Стал их вправлять, ан, гля-

жу,— четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут... Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник... а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же,— думаю,— если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

«За что,— говорит,— вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили, на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молол. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать?!

— Да-с, я в погребу наконец в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершаюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть,— говорит,— помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи всё на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского, и ког-

да, случалось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под ряски газету кинет.

«Читай,— говорит,— и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келии пресвятая владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник божий Тихон стал тогда просить богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда,— говорит,— все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапу всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? На конец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас, и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается реченное: «Егда рекут мир, нападает внезапу всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать, молитесь, мол, о покорении под нозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!.. все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что, говорят, наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевесть и поставить мне образ *«Благое молчание»,* пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, но в Саваофовых чинах заместо венца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все *«Благому молчанию»* молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

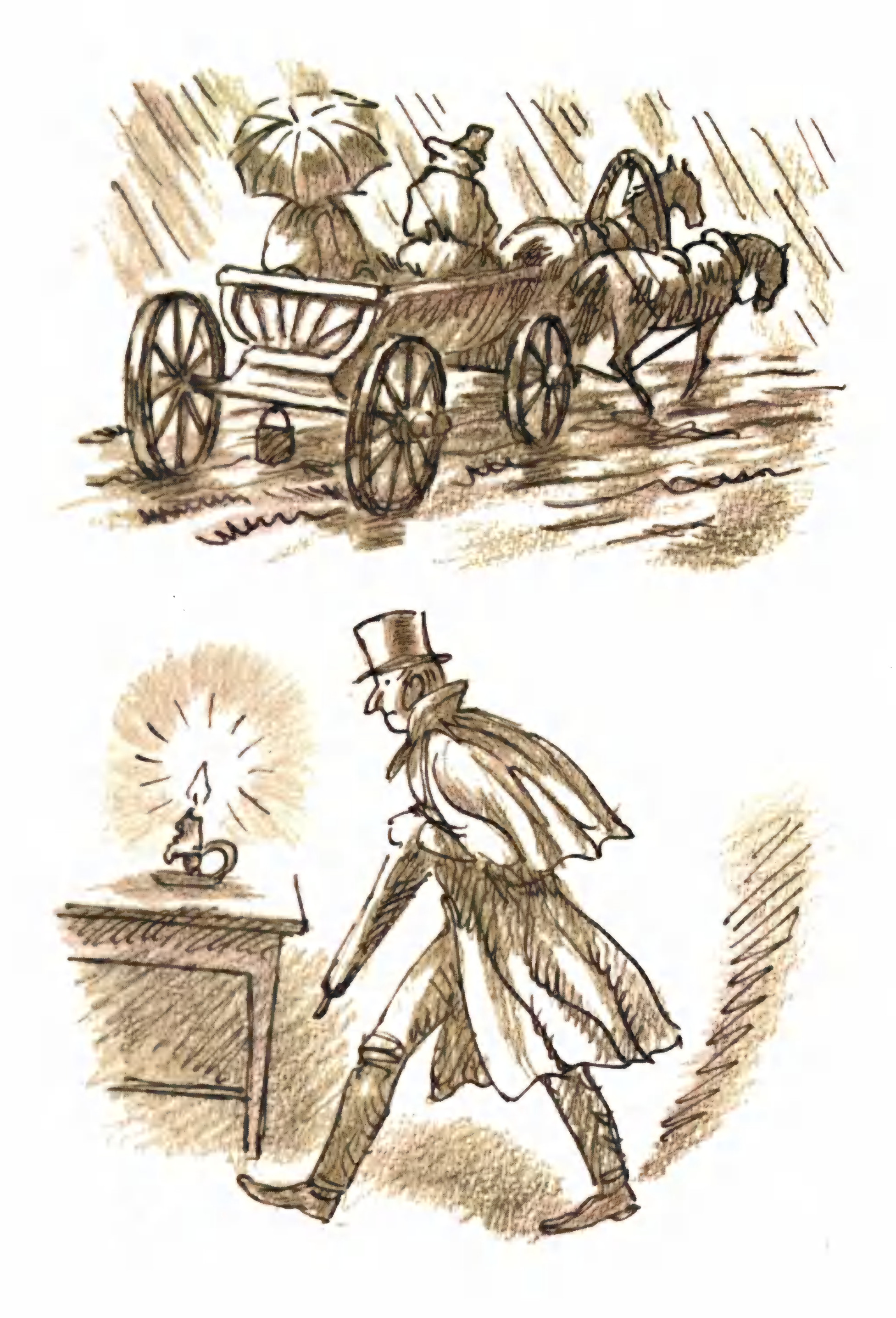
«Экий,— говорит,— ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют».

Я говорю:

«Что же делать? Верно, так нужно».

А он, все выслушавши, игумену сказал:

«Я,— говорит,— его не могу разобрать, что он такое: так про-



Железная воля

сто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это,— говорит,— по вашей части, а я в этом несведущ, мнение же мое такое: прогоните,— говорит,— его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть, он засиделся на месте».

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте: как же это вы опять про войну говорите?

— Да-с.

— Стало быть, вам *«Благое молчание»* не помогло?

— Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все свое внушает: «ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать?

— Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.

<1873>

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ

Ржа железо точит.

Русск. поговорка

I

Мы во всю мочь спорили, очень сильно напирая на то, что у немцев железная воля, а у нас ее нет — и что потому нам, слабовольным людям, с немцами опасно спорить — и едва ли можно справиться. Словом, мы вели спор, самый в наше время

обыкновенный и, признаться сказать, довольно скучный, но неотвязный.

Из всех из нас один только старик Федор Афанасьевич Вочнев не приставал к этому спору, а преспокойно занимался разливанием чая; но когда чай был разлит и мы разобрали свои стаканы, Вочнев молвил:

— Слушал я, слушал, господа, про что вы толкуете, и вижу, что просто вы из пустого в порожнее перепускаете. Ну, положим, что у господ немцев есть хорошая, твердая воля, а у нас она похрамывает,— все это правда, но все-таки в отчаяние-то отчего тут приходить? ровно не от чего.

— Как не от чего? и мы и они чувствуем, что у нас с ними непременно будет столкновение.

— Ну что же такое, если и будет?

— Они нас вздуют.

— Ну, как же!

— Да разумеется, вздуют.

— Полноте, пожалуйста: не так-то это просто нас вздуть.

— А отчего же не просто: не на союзы ли вы надеетесь? — Кроме авоськи с небоськой, батюшка мой, не найдется союзов.

— Пускай и так,— только опять: зачем же так пренебрегать авоськой с небоськой? Нехорошо, воля ваша, нехорошо. Во-первых, они очень добрые и теплые русские ребята, способные кинуться, когда надобно, и в огонь и в воду, а это чего-нибудь да стоит в наше практическое время.

— Да, только не в деле с немцами.

— Нет-с: именно в деле с немцем, который без расчета шагу не ступит и, как говорят, без инструмента с кровати не свалится; а во-вторых, не слишком ли вы много уже придаете значения воле и расчетам? Мне при этом всегда вспоминаются довольно циничные, но справедливые слова одного русского генерала, который говорил про немцев: какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять ее. И впрямь, господа; нельзя же совсем на это не понадеяться.

— Это на глупость-то?

— Да, зовите, пожалуй, глупостью, а пожалуй, и удалью молодого и свежего народа.

— Ну, батюшка, это мы уже слышали: надоела уже нам эта сказка про свежесть и тысячелетнюю молодость.

— Что же? и вы мне тоже ужасно надоели с этим немецким железом: и железный-то у них граф, и железная-то у них воля, и поедят-то они нас поедом. Тпфу ты, чтобы им скорей все это насквозь прошло! Да что это вы, господа, совсем ума, что ли, рехну-

лись? Ну, железные они, так и железные, а мы тесто простое, мягкое, сырое, непропеченное тесто,— ну, а вы бы вспомнили, что и тесто в массе топором не разрубишь, а, пожалуй, еще и топор там потеряешь.

— Ага, это вы насчет старинного аргумента, что, мол, мы всех шапками закидаем?

— Нет, я совсем не об этих аргументах. Таким похвальбам я даю так же мало значения, как вашим страхам; а я просто говорю о природе вещей, как видел и как знаю, что бывает при встрече немецкого железа с русским тестом.

— Верно, какой-нибудь маленький случай, от которого сделаны очень широкие обобщения.

— Да, случай и обобщения; а только, по правде сказать, не понимаю: почему вы против обобщения случаев? На мой взгляд, не глупее вас был тот англичанин, который, выслушав содержание «Мертвых душ» Гоголя, воскликнул: «О, этот народ неодолим».— «Почему же?» — говорят. Он только удивился и отвечал: «Да неужто кто-нибудь может надеяться победить такой народ, из которого мог произойти такой подлец, как Чичиков».

Мы невольно засмеялись и заметили Вочневу, что он, однако, престранно хвалит своих земляков, но он опять сделал косую мину и отвечал:

— Извините меня, вы все стали такая не свободная направленская узость, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить. Я вам простое дело рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвыкать от этой гадости, а учиться брать дело просто; я не хвалю моих земляков и не порицаю их, а только говорю вам, что они себя отстоят,— и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся; а если вам непонятно и интересно, как подобные вещи случаются, то я, пожалуй, вам что-нибудь и расскажу про железную волю.

— А не длинно это, Федор Афанасьич?

— Н-нет! не длинно; это совсем маленькая история, которую как начнем, так и покончим за чаем.

— А если маленькая, так валяйте; маленькую историю можно и про немца слушать.

— Сидеть же смирно — история начинается.

II

— Вскоре после Крымской войны (я не виноват, господа, что у нас все новые истории восходят своими началами к этому времени) я заразился модною тогда ересью, за которую не раз осуждал себя впоследствии, то есть я бросил довольно удачно начатую

казенную службу и пошел служить в одну из вновь образованных в то время торговых компаний. Она теперь давно уже лопнула, и память о ней погибла даже без шума. Частною службою я надеялся достать себе «честные» средства для существования и независимости от прихоти начальства и неожиданностей, висящих над каждым служащим человеком по известному пункту, на основании которого он может быть уволен без объяснения. Словом, я думал, что вырвался на свободу, как будто свобода так и начинается за воротами казенного здания; но не в этом дело.

Хозяева дела, при котором я пристроился, были англичане: их было двое, оба они были женаты, имели довольно большие семейства и играли один на флейте, а другой на виолончели. Они были люди очень добрые и оба довольно практические. Последнее я заключаю потому, что, основательно разорившись на своих предприятиях, они поняли, что Россия имеет свои особенности, с которыми нельзя не считаться. Тогда они взялись за дело на простой русский лад и снова разбогатели чисто по-английски. Но в то время, с которого начинается мой рассказ, они еще были люди неопытные, или, как у нас говорят, «сырые», и затрачивали привезенные сюда капиталы с глупейшею самоуверенностию.

Операции у нас были большие и очень сложные: мы и землю пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты — словом, хотели эксплуатировать все, к чему край представлял какие-либо удобства. За все это мы взялись сразу, и работа у нас кипела: мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы и набирали людей всякого сорта, впрочем, все более по преимуществу из иностранцев. Из русских высшего, по экономическому значению, ранга только и был один я — и то потому, что в числе моих обязанностей было хождение по делам, в чем я, разумеется, был сведущее иностранцев. Зато иностранцы составили у нас целую колонию; хозяева настроили нам довольно однообразные, но весьма красивые и удобные флигеля, и мы сели в этих коттеджах вокруг огромного старинного барского дома, в котором разместились сами принципалы.

Дом, построенный с разными причудами, был так велик и поместителен, что в нем могли свободно и со всякими удобствами расположиться даже два английские семейства. Над домом вверху, в полукруглом куполе была Эолова арфа, с которой, впрочем, давно были сорваны струны, а внизу под этим самым куполом — огромнейший концертный зал, где отличались в прежнее время крепостные музыканты и певчие, распроданные поодиночке прежним владельцем в то время, когда слухи об эмансипации стали казаться вероятными. Мои господа, англичане, давали в этом зале

квартеты из Гайдена, на которые в качестве публики собирали всех служащих, не исключая нарядчиков, конторщиков и счетчиков.

Делалось это в целях «облагорожения вкуса», но только цель эта мало достигалась, потому что классические квартеты Гайдена простолюдинам не нравились и даже нагоняли на них тоску. Мне они откровенно жаловались, что «им нет хуже, как эту гадину слушать», но тем не менее эту «гадину» они все-таки слушали, пока всем нам не была послана судьбою другая, более веселая забава, что случилось с прибытием к нам из Германии нового колониста, инженера Гуго Карловича Пекторалиса. Этот человек прибыл к нам из маленького городка Доберана, что лежит при озере Плау в Мекленбург-Шверине, и самое его прибытие к нам уже имело свой интерес.

Так как Гуго Пекторалис и есть тот герой, о котором я поведу свой рассказ, то я вдамся о нем в небольшие подробности.

III

— Пекторалис был выписан в Россию вместе с машинами, которые он должен был привезти, поставить, пустить в ход и наблюдать за ними. Почему наши англичане взяли этого немца, а не своего англичанина и отчего они самые машины заказали в маленьком немецком Доберане — я наверно не знаю. Кажется, это случилось так, что один из англичан видел где-то машины этой фабрики и, облюбовав их, пренебрег некоторыми условиями патриотизма. Карман ведь не свой брат — и над английскими патриотами свои права предъявляет. Впрочем, останавливайте меня, пожалуйста, чтобы я не забалтывался.

Машины назначались для паровой мельницы и лесопильни, для которых уже были готовы здания. Высылкою их и инженера мы очень торопили — и фабрикант известил нас, что машины шли в Петербург морем с самыми последними фрахтами. Об инженере же, которого мы просили послать, чтобы он прибыл ранее машин и мог сделать нужные для них приспособления в постройках, нам писали, что такой инженер нам будет немедленно послан; что зовут его Гуго Пекторалис; что он знаток своего дела и имеет железную волю для того, чтобы сделать все, за что возьмется.

Я был тогда по компанейским делам в Петербурге, и на мою долю пало принять из таможни машины и отправить их в нашу глушь, а также взять с собою Гуго Пекторалиса, который должен был очень скоро приехать и явиться в «Сарептский дом», Асмус Симонзен и К^0,— известный нам более под именем «горчичного дома». Но в высылке этих машин и инженера вышло какое-то

qui pro quo:[1] машины запоздали и пришли очень поздно, а инженер упредил наши ожидания и приехал в Петербург раньше времени. Только что я прибыл в «горчичный дом», чтобы сообщить для ожидаемого Пекторалиса мой адрес, мне отвечали, что он уже с неделю тому назад как проехал.

Это неприятное для меня и очень рискованное для Пекторалиса событие случилось в конце октября, который в тот год, как назло, выдался особенно лют и ненастен. Снегу и морозов еще не было, но шли проливные дожди, сменявшиеся пронизывающими туманами; северные ветры дули так, что, казалось, хотели выдуть мозг костей, а грязь повсеместно была такая невылазная, что можно было представить, какой ад должны представлять теперь грунтовые почтовые дороги. Положение опрометчивого, как мне казалось, иностранца, который в такое время пустился один в такой далекий путь, не зная ни наших дорог, ни наших порядков,— казалось мне просто ужасным, и я в своих предположениях не ошибся. Действительность даже превзошла мои ожидания.

Я осведомился в «горчичном доме»: владеет ли, по крайней мере, приехавший Пекторалис хотя сколько-нибудь русским языком,— и получил ответ отрицательный. Пекторалис не только не говорил, но и не понимал ни слова по-русски. На мой вопрос: довольно ли с ним было денег, мне отвечали, что ему выданы «за счет компании» прогонные и суточные на десять дней и что он более ничего не требовал.

Дело все осложнялось. Принимая в расчет тогдашний способ езды на почтовых, сопряженный с беспрестанными задержками,— Пекторалис мог застрять где-нибудь и, чего доброго, дойти, пожалуй, до прошения милостыни.

«Зачем вы не удержали его? Зачем не уговорили его хоть подождать попутчика?» — пенял я в «горчичном доме», но там отвечали, что они уговаривали и представляли туристу все трудности пути; но что он непоколебимо стоял на своем, что он дал слово ехать не останавливаясь — и так поедет; а трудностей никаких не боится, потому что имеет *железную волю*.

В большой тревоге я написал своим принципалам все, как случилось, и просил их употребить все зависящие от них меры к тому, чтобы предупредить несчастия, какие могли встретить бедного путника; но, писавши об этом, я, по правде сказать, и сам хорошенько не знал, как это сделать, чтобы перенять на дороге Пекторалиса и довезти его к месту под охраною надежного проводника. Я сам в эту пору никак не мог оставить Петербурга, где

---

[1] Недоразумение *(лат.)*.

меня задерживали довольно важные получения, и притом он так давно уехал, что я едва ли мог бы его догнать. Если же будет послан кто-нибудь навстречу этой железной воле, то кто поручится, что этот посол встретит Пекторалиса и узнает его?

Я тогда еще думал, что, встретив Пекторалиса, его можно не узнать. Это происходило, конечно, оттого, что немцы, у которых я о нем расспрашивал, не умели сообщить его примет. Аккуратные и бесталанные, они давали мне только общие, так сказать, самые паспортные приметы, которые могут свободно приходиться чуть не к каждому. По их словам, Пекторалис был молодой человек лет от двадцати восьми до тридцати; роста немного выше среднего, худощав, брюнет, с серыми глазами и веселым, твердым выражением лица. Надеюсь, что тут немного такого, по чему бы, встретив человека, можно было сейчас узнать его. Самое рельефное, что я мог удержать в памяти из всего этого описания, это «твердое и веселое выражение», но кто же это из простых людей такой знаток в определении выражений, чтобы сейчас приметить его и — «стой, брат, не ты ли Пекторалис?». Да и, наконец, самое это выражение могло измениться — могло достаточно размокнуть, и остыть на русской осенней сырости и стуже.

Выходило, что, кроме того, что мною было написано в пользу этого чудака, я более уже не мог для него ничего сделать — и волею-неволею я этим утешился, и притом же, получив внезапно неожиданные распоряжения о поездках на юг, не имел и досуга думать о Пекторалисе. Между тем прошел октябрь и половина ноября; в беспрестанных переездах я не имел о Пекторалисе никакого слуха и возвращался домой только под исход ноября, объехав в это время много городов.

Погода тогда уже значительно изменилась: дожди окончились, стояла сухая холодная ко́лоть, и всякий день порхал сухой мелкий снежок.

Во Владимире я нашел покинутый мною тарантас, который мог еще служить свою службу, так как на колесах было удобнее ехать, чем на санях,— и я тронулся в путь в моем экипаже.

Пути мне от Владимира оставалось около тысячи верст; я надеялся проехать это расстояние дней в шесть, но несносная тряска так меня измаяла, что я давал себе частые передышки и ехал гораздо медленнее. На пятый день к вечеру я насилу добрался до Василева Майдана и тут имел самую неожиданную и даже невероятную встречу.

Не знаю, как теперь, а тогда Василев Майдан была холодная, бесприютная станция в открытом поле. Довольно безобразный, обшитый тесом дом, с двумя казенными колоннами на подъезде, смотрел неприветливо и нелюдимо — и на самом деле, сколько мне

известно, дом этот был холоден; но тем не менее я так устал, что решился здесь заночевать.

Несмотря на то, что по мерцавшему в окнах пассажирской комнаты огоньку я мог подозревать, что тут уже есть люди, расположившиеся на ночлег,— решимость моя дать себе роздых была тверда, и за нее-то я и был вознагражден самою приятною неожиданностию.

— Вы встретили здесь Пекторалиса? — перебил некто нетерпеливо рассказчика.

— Кого бы я тут ни встретил,— отвечал он,— я вас прошу ждать, чтобы я вам сам рассказал об этом, и не перебивать меня.

— А если это интересно?

— Тем лучше, вы постарайтесь это записать и отдать для фельетона интересной газеты. Теперь вопрос о немецкой воле и нашем безволии в моде — и мы можем доставить этим небезынтересное чтение.

IV

— Отдав приказ своему человеку внесть кошму, шубу и другие необходимые вещи, я велел ямщику задвинуть тарантас на двор, а сам ощупью прошел через просторные темные сени и начал ошаривать руками дверь. Насилу я ее нашел и начал дергать, но пазы туго набухли — и дверь не подавалась. Сколько я ни дергал, собственные мои силы, вероятно, оказались бы совершенно недостаточными, если бы мне на помощь не подоспела чья-то добрая рука, или, лучше сказать, добрая нога, потому что дверь мне была открыта с внутренней стороны толчком ноги. Я едва успел отскочить — и тогда увидал пред собою на пороге человека в обыкновенной городской цилиндрической шляпе и широчайшем клеенчатом плаще, на пуговице которого у воротника висел на шнурке большой дождевой зонтик.

Лицо этого незнакомца я в первую минуту не рассмотрел, но, признаться, чуть не обругал его за то, что он едва не сшиб меня дверью с ног. Но что меня удивило и заставило обратить на него особенное внимание — это то, что он не вышел в отворенную им дверь, как я мог этого ожидать, а, напротив, снова возвратился назад и начал преспокойно шагать из угла в угол по отвратительной, пустой комнате, едва-едва освещенной сильно оплывшею сальною свечою.

Я обратился к нему с вопросом: не знает ли он, где здесь на этой станции помещается смотритель или какой-нибудь другой жив-человек.

«Ich verstehe gar nichts russisch» [1],— отвечал незнакомец.

[1] Я ничего не понимаю по-русски *(нем.)*.

Я заговорил с ним по-немецки.

Он, видимо, обрадовался звукам родного языка и отвечал, что смотрителя нет, что он был, да давно куда-то ушел.

«А вы, вероятно, ждете здесь лошадей?»

«О! да, я жду лошадей».

«И неужто лошадей нет?»

«Не знаю, право, я не получаю».

«Да вы спрашивали?»

«Нет, я не умею говорить по-русски».

«Ни слова?»

«Да, «можно», «не можно», «таможно», «подрожно»...— пролепетал он, высыпав, очевидно, весь словарь своих познаний.— Скажут «можно» — я еду, «не можно» — не еду, «подрожно» — я дам подрожно, вот и все».

Батюшки мои, думаю себе: вот антик-то! и начинаю его осматривать... Что за наряд!.. Сапоги обыкновенные, но из них из-за голенищ выходят длиннейшие красные шерстяные чулки, которые закрывают его ноги выше колен и поддерживаются на половине ляжек синими женскими подвязками. Из-под жилета на живот спускается гарусная красная вязаная фуфайка; поверх жилета видна серая куртка из халатного драпа, с зеленою оторочкою, и поверх всего этот совсем не приходящий по сезону клеенчатый плащ и зонтик, привешенный к его пуговице у самой шеи.

Весь багаж проезжающего состоял из самого небольшого цилиндрического свертка в клеенчатом же чехле, который лежал на столе, а на нем довольно простая записная книжка и более ничего.

«Это удивительно!» — воскликнул я и чуть не спросил его: «Неужто вы так вот это и едете?» — но сейчас же спохватился, чтобы не сказать неловкости — и, обратясь к вошедшему в это время смотрителю, велел подать себе самовар и затопить камин.

Чужестранец все прохаживался, но, увидев, что принесли дрова и зажгли их в камине, вдруг несказанно обрадовался и проговорил:

«Ага, «можно», а я тут третий день — и третий день все сюда на камин пальцем показывал, а мне отвечали «не можно».

«Как, вы тут уже третий день?»

«О да, я третий день,— отвечал он спокойно.— А что такое?»

«Да зачем же вы сидите здесь третий день?»

«Не знаю, я всегда так сижу».

«Как всегда, на каждой станции?»

«О да, непременно на каждой; как выехал из Москвы, так везде и сижу, а потом опять еду».

«На каждой станции вы сидите по три дня?»

«О да, по три дня... Впрочем, позвольте, я на одной просидел два дня, у меня это записано; но зато на другой четыре, это тоже записано».

«И что же вы делаете на станциях?»

«Ничего».

«Извините меня, может быть, вы нравы изучаете, заметки ваши пишете?»

Тогда это было в моде.

«Да, я смотрю, что со мною делают».

«Да зачем же вы это позволяете все с собою делать?»

«Ну... как быть!..— отвечал он,— видите, я не умею по-русски говорить — и я должен всем подчиниться. Я это так себе положил; но зато потом...»

«Что же будет потом?»

«Я буду всё подчинять».

«Вот как!»

«О да; непременно!»

«Но как вы могли пуститься в такой путь, не зная языка?»

«О, это было необходимо нужно; у нас было такое условие, чтобы я ехал не останавливаясь,— и я еду не останавливаясь. Я такой человек, который всегда точно исполняет то, что он обещал»,— отвечал незнакомец — и при этом лицо его, которого я до сих пор себе не определил, вдруг приняло «веселое и твердое выражение».

«Боже, что за чудак!» — думаю себе и говорю: «Но вы извините меня, пожалуйста, разве этак ехать, как вы едете,— значит «ехать не останавливаясь»?»

«А как же? я все еду, все еду; как только мне скажут «можно», я сейчас еду — и для этого, вы видите, я даже не раздеваюсь. О, я очень давно, очень давно не раздеваюсь».

«Чист же,— я думаю,— ты, должно быть, мой голубчик!» И говорю ему:

«Извините, мне странно, как вы собою распорядились».

«А что?»

«Да вам бы лучше поискать в Москве русского попутчика, с которым бы вы ехали гораздо скорее и спокойнее».

«Для этого надо было останавливаться».

«Но вы очень скоро наверстали бы эту остановку».

«Я решил и дал слово не останавливаться».

«Но ведь вы, по вашим же словам, на всякой станции останавливаетесь».

«О да, но это не по моей воле».

«Согласен, но зачем же это и как вы это можете выносить?»

«О, я все могу выносить, потому что у меня железная воля!»

«Боже мой! — воскликнул я,— у вас железная воля?»

«Да, у меня железная воля; и у моего отца, и у моего деда была железная воля,— и у меня тоже железная воля».

«Железная воля!.. вы, верно, из Доберана, что в Мекленбурге?»

Он удивился и отвечал:

«Да, я из Доберана».

«И едете на заводы в Р.?»

«Да, я еду туда».

«Вас зовут Гуго Пекторалис?»

«О да, да! я инженер Гуго Пекторалис, но как вы это узнали?»

Я не вытерпел более, вскочил с места, обнял Пекторалиса, как будто старого друга, и повлек его к самовару, за которым обогрел его пуншем и рассказал, что узнал его по его железной воле.

«Вот как! — воскликнул он, придя в неописанный восторг,— и, подняв руки кверху, проговорил: — О мой отец, о мой гроссфатер! [1] слышите ли вы это и довольны ли вашим Гуго?»

«Они непременно должны быть вами довольны,— отвечал я,— но вы садитесь-ка скорее к столу и отогревайтесь чаем. Вы, я думаю, черт знает как назяблись!»

«Да, я зяб; здесь холодно; о, как холодно! Я это все записал».

«У вас и платье совсем не такое, как нужно: оно не греет».

«Это правда: оно даже совсем не греет,— вот только и греют, что одни чулки; но у меня железная воля,— и вы видите, как хорошо иметь железную волю».

«Нет,— говорю,— не вижу».

«Как же не видите: я известен прежде, чем я приехал; я сдержал свое слово и жив, я могу умереть с полным к себе уважением, без всякой слабости».

«Но позвольте узнать, кому вы это дали такое слово, о котором говорите?»

Он широко отмахнул правою рукою с вытянутым пальцем — и, медленно наводя его на свою грудь, отвечал:

«Себе».

«Себе! Но ведь позвольте мне вам заметить: это почти упрямство».

«О нет, не упрямство».

---

[1] Дедушка *(нем.)*.

«Обещания даются по соображениям — и исполняются по обстоятельствам».

Немец сделал полупрезрительную гримасу и отвечал, что он не признает такого правила; что у него все, что он раз себе сказал, должно быть сделано; что этим только и приобретается настоящая железная воля.

«Быть господином себе и тогда стать господином для других — вот что должно, чего я хочу и что я буду преследовать».

«Ну,— думаю,— ты, брат, кажется, приехал сюда нас удивлять — смотри же только, сам на нас не удивись!»

V

— Мы переночевали вместе с Пекторалисом и почти целую ночь провели без сна. Назябшийся немец поместился на креслах перед камином и ни за что не хотел расстаться с этим теплым местом; но он чесался, как блошливый пудель,— и эти кресла под ним беспрестанно двигались и беспрестанно будили меня своим шумом. Я не раз убеждал его перелечь на диван; но он упорно от этого отказывался. Рано утром мы встали, напились чаю и поехали. В первом же городе я послал его с своим человеком в баню; велел хорошенько отмыть, одеть в чистое белье — и с этих пор мы с ним ехали безостановочно, и он не чесался. Я вынул тоже Пекторалиса и из его клеенки, завернул его в запасную овчинную шубу моего человека — и он у меня отогрелся и сделался чрезвычайно жив и словоохотлив. Он во время своего медлительного путешествия не только иззябся, но и наголодался, потому что его порционных денег ему не стало, да он и из тех что-то вначале же выслал в свой Доберан и во все остальное время питался чуть не одною своею железною волею. Но зато он и сделал немало наблюдений и заметок, не лишенных некоторой оригинальности. Ему постоянно бросалось в глаза то, что еще никем не взято в России и что можно взять уменьем, настойчивостью и, главное, «железною волею».

Я очень им был доволен и за себя и за всех обитателей нашей колонии, которым я рассчитывал привезти немалую потеху в лице этого оригинала, уже заранее изловчавшегося произвести в России большие захваты при содействии своей железной воли.

Что он нахватает — вы это увидите из развития нашей истории, а теперь идем по порядку.

Во-первых, этот Пекторалис оказался очень хорошим,— конечно, не гениальным, но опытным, сведущим и искусным инженером. Благодаря его твердости и настойчивости дело, для которого он приехал, пошло превосходно, несмотря на многие неожиданные пре-

пятствия. Машины, для установки которых он приехал, оказались изготовленными во многих частях весьма неточно и не из доброкачественного материала. Списываться об этом и требовать новых частей было некогда, потому что заводы ждали перемола хлеба, и Пекторалис много вещей сделал сам. Детали эти с грехом пополам отливали на ничтожном, плохоньком чугунном заводишке в городе у некоего ленивейшего мещанина, по прозванию Сафроныч, а Пекторалис отделывал их, работая сам на самоточке. Уладить все это возможно было действительно только при содействии железной воли. Услуги Пекторалиса были замечены и вознаграждены прибавкою ему жалованья, которое у него поднялось теперь до полуторы тысячи рублей в год.

Когда я объявил ему об этой прибавке, он поблагодарил за нее с достоинством и сейчас же присел к столу и начал что-то высчитывать, а потом уставил глаза в потолок и проговорил:

«Это, значит, не изменяя моего решения, сокращает срок ровно на один год одиннадцать месяцев».

«Что вы считаете?»

«Я суммирую... одни мои соображения».

«Ах, извините за нескромность».

«О, ничего, ничего: у меня есть известные ожидания, которые зависят от получения известных средств».

«И эта прибавка, о которой я вам принес известие, конечно, сокращает срок ожидания?»

«Вы отгадали: оно сокращает его ровно на год одиннадцать месяцев. Я должен сейчас написать об этом в Германию. Скажите, когда у нас едут в город на почту?»

«Едут сегодня».

«Сегодня? очень жаль: я не успею описать все как следует».

«Ну что за вздор! — говорю,— много ли нужно времени, чтобы известить о деле своего компаниона или контрагента?»

«Контрагента,— повторил он за мною и, улыбнувшись, добавил: — О, если бы вы знали, какой этот контрагент!»

«А что? конечно, это какой-нибудь сухой формалист?»

«А вот и нет: это очень красивая и молодая девушка».

«Девушка? Ого, Гуго Карлыч, какие вы за собою грешки скрываете!»

«Грешки? — переспросил он и, помотав головою, добавил: — Никаких грешков у меня не было, нет и не может быть таких грешков. Это очень, очень важное, обстоятельное и солидное дело, которое зависит от того, когда у меня будет три тысячи талеров. Тогда вы увидите меня...»

«Наверху блаженства?»

«Ну, нет еще,— не совсем наверху, но близко. Наверху блаженства я могу быть только тогда, когда у меня будет десять тысяч талеров».

«Не значит ли все это попросту, что вы собираетесь жениться и что у вас в вашем Доберане или где-нибудь около него есть хорошенькая, милая девица, которая имеет частицу вашей железной воли?»

«Именно, именно, вы совершенно правы».

«Ну, и вы, как настоящие люди крепкой воли, дали друг другу слово: отложить ваше бракосочетание до тех пор, пока у вас будет три тысячи талеров?»

«Именно, именно: вы прекрасно угадываете».

«Да и не трудно,— говорю,— угадывать-то!»

«Однако как это, на ваш русский характер, разве возможно?»

«Ну что, мол, еще там про наш русский характер: где уже нам с вами за одним столом чай пить, когда мы по-вашему морщиться не умеем».

«Да ведь и это,— говорит,— еще не все, что вы отгадали».

«А что же еще-то?»

«О, это важная практика, очень важная практика, очень важная практика, для которой я себя так строго и держу».

«Держи,— думаю,— брат, держи!..» — и ушел, оставив его писать письмо к своей далекой невесте.

Через час он явился с письмом, которое просил отправить,— и, оставшись у меня пить чай, был необыкновенно словоохотлив и уносился мечтами далее горизонта. И все помечтает, помечтает — и улыбнется, точно завидит миллиард в тумане. Так счастлив был разбойник, что даже глядеть на него неприятно и хотелось ему хоть какую-нибудь щетинку всучить, чтобы ему немножко больно стало. Я от этого искушения и не воздержался — и когда Гуго ни с того ни с сего обнял меня за плечи и спросил, могу ли я себе представить, что может произойти от очень твердой женщины и очень твердого мужчины? — я ему отвечал:

«Могу».

«А как вы именно думаете?»

«Думаю, что может ничего не произойти».

Пекторалис сделал удивленные глаза и спросил:

«Почему вы это знаете?»

Мне стало его жаль — и я отвечал, что я просто пошутил.

«О, вы шутили, а это совсем не шутка,— это действительно так может быть, но это очень, очень важное дело, на которое и нужна вся железная воля».

«Лихо тебя побирай,— думаю,— не хочу и отгадывать, что ты себе загадываешь!..» — да все равно и не отгадал бы.

VI

— А между тем железная воля Пекторалиса, приносившая свою серьезную пользу там, где нужна была с его стороны настойчивость, и обещавшая ему самому иметь такое серьезное значение в его жизни, у нас по нашей русской простоте все как-то смахивала на шутку и потешение. И что всего удивительней, надо было сознаться, что это никак не могло быть иначе; так уже это складывалось.

Бесконечно упрямый и настойчивый, Пекторалис был упрям во всем, настойчив и неуступчив в мелочах, как и в серьезном деле. Он занимался своею волею, как другие занимаются гимнастикой для развития силы, и занимался ею систематически и неотступно, точно это было его призвание. Значительные победы над собою делали его безрассудно самонадеянным и порою ставили его то в весьма печальные, то в невозможно комические положения. Так, например, поддерживаемый своею железною волею, он учился русскому языку необыкновенно быстро и грамматично; но, прежде чем мог его себе вполне усвоить, он уже страдал за него от той же самой железной воли — и страдал сильно и осязательно до повреждений в самом своем организме, которые сказались потом довольно тяжелыми последствиями.

Пекторалис дал себе слово выучиться русскому языку в полгода, правильно, грамматикально,— и заговорить сразу в один заранее им предназначенный день. Он знал, что немцы говорят смешно по-русски,— и не хотел быть смешным. Учился он один, без помощи руководителя, и притом втайне, так что мы никто этого и не подозревали. До назначенного для этого дня Пекторалис не произносил ни одного слова по-русски. Он даже как будто позабыл и те слова, которые знал: то есть «можно, не можно, таможно и подрожно», и зато вдруг входит ко мне в одно прекрасное утро — и если не совсем легко и правильно, то довольно чисто говорит:

«Ну, здравствуйте! Как вы себе поживаете?»

«Ай да Гуго Карлович! — отвечал я,— ишь какую штуку отмочил!»

«Штуку замочил? — повторил в раздумье Гуго и сейчас же сообразил: — ах да... это... это так. А что, вы удивились, а?»

«Да как же,— отвечаю,— не удивиться: ишь как вдруг заговорил!»

«О, это так должно было быть».

«Почему же «так должно»? дар языков, что ли, на вас вдруг сошел?»

Он опять немножко подумал — опять проговорил про себя:

«Дар мужиков»,— и задумался.

«Дар *языков*»,— повторил я.

Пекторалис сейчас же понял и отлично ответил по-русски:

«О нет, не дар, но...»

«Ваша железная воля!»

Пекторалис с достоинством указал пальцем на грудь и отвечал:

«Вот это именно и есть так».

И он тотчас же приятельски сообщил мне, что всегда имел такое намерение выучиться по-русски, потому что хотя он и замечал, что в России живут некоторые его земляки, не зная, как должно, русского языка, но что это можно только на службе, а что он, как человек частной профессии, должен поступать иначе.

«Без этого,— развивал он,— нельзя: без этого ничего не возьмешь хорошо в свои руки: а я не хочу, чтобы меня кто-нибудь обманывал».

Хотел я ему сказать, что «душа моя, придет случай,— и с этим тебя обманут», да не стал его огорчать. Пусть радуется!

С этих пор Пекторалис всегда со всеми русскими говорил по-русски и хотя ошибался, но если ошибка его была такого свойства, что он не то говорил, что хотел сказать, то к каким бы неудобствам это его ни вело, он все сносил терпеливо, со всею своею железною волею, и ни за что не отрекался от сказанного. В этом уже начиналось наказание его самолюбивому самочинству. Как все люди, желающие во что бы то ни стало поступать во всем по-своему, сами того не замечают, как становятся рабами чужого мнения,— так вышло и с Пекторалисом. Опасаясь быть смешным немножечко, он проделывал то, чего не желал и не мог желать, но ни за что в этом не сознавался.

Скоро это, однако, было подмечено, и бедный Пекторалис сделался предметом жестоких шуток. Его ошибки в языке заключались преимущественно в таких словах, которыми он должен был быстро отвечать на какой-нибудь вопрос. Тут-то и случалось, что он давал ответ совсем противоположный тому, который хотел сделать. Его спрашивали, например:

«Гуго Карлович, вам послабее чаю или покрепче?»

Он не вдруг соображал, что значит «послабее» и что значит «покрепче», и отвечал:

«Покрепче; о да, покрепче».

«Очень покрепче?»

«Да, очень покрепче».

«Или как можно покрепче?»

«О да, как можно покрепче».

И ему наливали чай, черный как деготь, и спрашивали:

«Не крепко ли будет?»

Гуго видел, что это очень крепко,— что это совсем не то, что он хотел, но железная воля не позволяла ему сознаться.

«Нет, ничего»,— отвечал он и пил свой ужасный чай; а когда удивлялись, что он, будучи немцем, может пить такой крепкий чай, то он имел мужество отвечать, что он это любит.

«Неужто вам это нравится?» — говорили ему.

«О, совершенно зверски нравится»,— отвечал Гуго.

«Ведь это очень вредно».

«О, совсем не вредно».

«Право, кажется,— вы это... так...»

«Как так?»

«Ошиблись сказать».

«Ну вот еще!»

И тогда как он терпеть не мог крепкого чаю, он уверял, что «зверски» его любит — и его, один перед другим усердствуя, до того наливали этим крепким чаем, что этот так часто употребляемый в России напиток сделался мучением для Гуго; но он все крепился и все пил теин вместо чая до тех пор, пока в один прекрасный день у него сделался нервный удар.

Бедный немец провалялся без движения и без языка около недели, но при получении дара слова — первое, что прошептал, это было про железную волю.

Выздоровев, он сказал мне:

«Я доволен собою»,— признался он, пожимая мою руку своею слабою рукою.

«Что же вас так радует?»

«Я себе не изменил»,— сказал он, но умолчал, в чем именно заключалась радовавшая его выдержка.

Но с этим его чайные муки кончились. Он более не пил чаю, так как чай ему с этих пор был совершенно запрещен, и для поддержки своей репутации ему оставалось только мнимо жалеть об этом лишении. Но зато вскоре же на его голову навязалась точно такая же история с французской горчицей диафан. Не могу вспомнить, но, вероятно, по такому же точно случаю, как с чаем, Гуго Карлович прослыл непомерно страстным любителем французской горчицы диафан, которую ему подавали решительно ко всякому блюду, и он, бедный, ел ее, даже намазывая прямо на хлеб, как масло, и хвалил, что это очень вкусно и зверски ему нравится.

Опыты с горчицею окончились тем же, что ранее было с чаем: Пекторалис чуть не умер от острого катара желудка, который хотя был прерван, но оставил по себе следы на всю жизнь бедного стоика до самой его трагикомической смерти.

Было с ним много и других смешных и жалких вещей в этом же роде: всех их нет возможности припомнить и пересказать; но

остаются у меня в памяти три случая, когда Гуго, страдая от своей железной воли, никак не мог уже говорить, что с ним делается именно то, чего ему хотелось.

Это была фаза, в которой он должен был дойти до апогея — и потом, колеблясь, идти к своему перигею.

VII

— Новая фаза эта началась в первое лето, которое Пекторалис проводил с нами, и началась она тем, что Гуго изобрел себе необыкновенный экипаж. Нужно вам знать, что от нас до города считалось верст сорок, но была одна лесная тропинка, которою путь сокращался едва ли не наполовину. Только зато тропа эта была почти непроездна,— по ней едва-едва, и то с великим трудом, езжали на своих двуколесках крестьяне. Гуго хотел ездить ближе и не хотел трястись на мужицкой двуколеске, а сварганил себе нечто вроде колесницы: это было простое кресло с пружинной подушкой, поставленное на раму, укрепленную на передке старых дрожек. Экипаж был мудрен и имел такой вид, что ездившего на нем Пекторалиса мужики прозвали «мордовским богом»; но что всего хуже — кресло, лишенное своего комнатного покоя, ни за что не хотело путешествовать, оно не выдерживало тряски и очень часто соскакивало с рамы, и от этого не раз случалось, что лошадь Гуго прибегала домой одна, а потом через час или два плелся бедный Гуго, таща у себя на загорбке свое кресло. Бывало и хуже: раз он соскочил со своим креслом в болоте и сидел там, пока его вытащили и привезли в самом жалостном виде.

Уверять, что он сам этого хотел, Гуго не мог, но стоять на своем, чтобы не оставить своего упорства, он мог — и делал это с изумительною настойчивостью.

Другая история была такая: раз сильно перемокший Гуго прямо с охоты был затащен одним из наших принципалов к чайному столу, за которым в приятной вечерней беседе сидела в сборе вся наша колония. Для Гуго налили стакан горячей воды с красным вином и расспрашивали о его охотничьей удаче. Он был хороший охотник и лгал не много, но так как его железная воля, разумеется, и здесь имела свое место, то рассказ, сам по себе и весьма невинный, выходил интересен и забавен. Мы все слушали рассказчика и посмеивались; но только, к немалой досаде всех, удобство нашей беседы вдруг начали нарушать беспрестанно появлявшиеся в комнате осы. Престранное было дело,— и решительно невозможно было понять: откуда они сюда брались? Хотя окна дома, где мы сидели, и были открыты, но на дворе шел частый летний дождь, и лёта этим злым насекомым не было: откуда же они могли браться?

А они так и порхали, как цветы из шляпы фокусника: они ползли по ножкам стола, появлялись на скатерти, на тарелках и, наконец, на спине Гуго — и в заключение одна из них пребольно ужалила в руку молодую хозяйку.

Дальнейшая беседа была решительно невозможна: сделался переполох, в котором дамская нервность и мужская услужливость заварили страшную кашу. Были вызваны самые энергические меры: все начали метаться — кто хлопал платком, кто гонялся за осами с салфеткою, некоторые сами спешили спрятаться. Во всей этой суете и беготне не принимал участия один Гуго — и он знал почему... Он один стоял неподвижно у стула, на котором сидел до этого времени, и был жалок и ужасен: лицо его было покрыто страшною бледностию, губы дрожали и руки корчились в судорогах; а весь его сыроватый еще сюртук и особенно спина были сплошь покрыты осами.

«Великий боже! — воскликнули мы, охватывая его со всех сторон,— вы, Гуго Карлыч, настоящее гнездо ос».

«О нет,— отвечал он, едва выговаривая слово за словом,— я не гнездо, но у меня есть гнездо».

«Гнездо ос?!»

«Да; я его нашел, но оно было мокро — и я хотел его рассмотреть и принес его с собою».

«И где же оно теперь?»

«Оно в моем заднем кармане».

«Так вот оно что!»

Мы сдернули с него сюртук (так как дамы давно уже оставили эту опасную комнату) и увидели, что вся спина жилета бедного Гуго была покрыта осами, которые ползли по нем вверх, отогревались, расправлялись и пускались в лёт, меж тем как из кармана бесконечным шнурком ползли одна за другою новые.

Прежде всего, разумеется, злополучный сюртук Гуго бросили на пол и растоптали осиное гнездо, бывшее причиною всего переполоха, а потом взялись за самого Гуго, который был изжален до немощи, но не издал ни жалобы, ни звука. Его освободили от ос, ползавших под его рубашкой, смазали, как сосиску, маслом и, положив на диван, покрыли простынею. Он быстро начинал распухать и, очевидно, страдал невыносимо; но когда один из англичан, соболезнуя о нем, сказал, что у этого человека действительно железная воля,— Гуго улыбнулся и, оборотясь в нашу сторону, проговорил с укоризною:

«Я очень рад, что вы больше в этом не сомневаетесь».

Его оставили любоваться своею железною волею и более с ним не разговаривали — и он, бедный, не знал, как много над ним все смеялись; а между тем новая история ждала его впереди.

VIII

— Здесь я должен заметить, что Гуго если не был скуп, то был очень расчетлив и бережлив,— и как бережливость его имела целью скорейшее накопление нужных ему трех тысяч талеров и сопровождалась его железною волею в преследовании этой цели, то она стоила самой безумной скупости. Он себе решительно отказывал во всем, в чем была какая-нибудь возможность отказать: он не возобновлял себе платья и, не держа слуги, сам себе чистил сапоги. Но была одна статья, на которую он должен был израсходоваться, так как это было нужно в видах благоразумной экономии. Гуго дорого казалось ездить на наемной лошади, и он решился завести себе свою лошадь, но задумал он это сделать не просто. Конские заводы в тех краях и большие и маленькие в изобилии; но между заводчиками был некто Дмитрий Ерофеич — помещик средней руки и конный заводчик с «закальцем». Никто на свете не умел так обмануть конем, как этот Дмитрий Ерофеич, и надувал он не как обыкновенный, сухой, прозаический барышник, а как артист,— больше для шику, для форса и для славы. Чем большим знатоком слыл или выдавал себя тот или другой покупатель, тем смелее и дерзче обманывал его Дмитрий Ерофеич. Он приходил в неописанную радость при столкновении с таким знатоком и говорил ему комплименты, что нет-де ему ничего приятнее, как иметь дело с таким человеком, который сам все понимает. И был тогда Дмитрий Ерофеич до бесконечности прост — коня не нахваливал, а, напротив, сам говорил о нем полупрезрительно:

«Лошаденка, дескать, так себе, завидного ничего нет — и на выставку ее не пошлешь; но а впрочем, дело в виду, сами смотрите».

И знаток смотрел, а Дмитрий Ерофеич только конюху командовал:

«Не верти ее, не верти! Что ты с нею вертишься, как бес перед заутренею? мы ведь не цыгане. Дай барину ее хорошо осмотреть, стой спокойно. Вот там ножка-то у нее болела, прошла, что ли?»

«Где болела?» — спрашивает покупатель.

«Да на цевочке что-то у нее было».

«Это не у нее, Дмитрий Ерофеич»,— замечает конюх.

«Ай не у нее? ну, да пусто ей будь, кто их вспомнит. Смотрите, батюшка мой, чтобы не ошибиться, товар недорогой, а всё денег зря бросать не следует, они дороги; а я, извините, устал и домой пойду».

И он уходил, а покупатель без него начинал еще зорче смотреть на ножку, на которой действительно никакой болезни никогда не было,— и не видал того, где заключались пороки.

Надувательство совершалось, и Дмитрий Ерофеич спокойно говорил:

«Дело торговое, а ты не хвались, что знаешь. Это тебе за похвальбу наука».

Но был и у Дмитрия Ерофеича свой пункт, своя ахиллесова пята, в которую он был довольно уязвим. Как всякий желает иметь то, чего не заслуживает, так и Дмитрий Ерофеич любил, чтобы ему верили. Давно он обрел в этом вкус и изрек правило:

«Не смотри, не гляди, дураком назовись да на меня положись, я тогда тебе все в аккурат исполню, за сотню полтысячного коня дам».

И точно, это так и бывало, Дмитрий Ерофеич имел на этот счет свой point d'honneur [1], своего рода железную волю. Но как на это пустились довольно многие, то Дмитрию Ерофеичу это стало очень невыгодно — и он давно хотел отбиться от этой докуки доверия. Долго он никак не мог на это решиться, но когда бог послал ему Пекторалиса, Дмитрий Ерофеич напустил на себя смелость. Чуть Гуго заговорил с ним о своей надобности иметь лошадь и попросил дать ему коня на совесть, Дмитрий Ерофеич отвечал ему:

«И, матинька, какая нынче совесть!.. коней у меня много, смотри и выбирай любого, какого знаешь,— а что такое за совесть!»

«О, ничего, Дмитрий Ерофеич, я вам верю, я на вас полагаюсь».

«А мой тебе совет — никому, матинька, и не верь и ни на кого не полагайся; что такое на людей полагаться? Что, ты сам дурак, что ли, какой вырос?»

«Ну, уже воля ваша, а я это так решил, вот вам сто рублей, и дайте мне за них лошадь. Не можете же вы мне в этом отказать».

«Да что отказать-то? Сто рублей, разумеется, деньги — и отчего их не взять, а только мне неприятно, что ты жалеть будешь».

«Не пожалею».

«Ну, как не пожалеть! Тоже ведь у тебя не шальные деньги, а трудовой грош, жаль станет, как я дрянную лошадь дам,— будешь жаловаться».

«Не буду я жаловаться».

«Это ты только так говоришь, а то где не жаловаться? Обидно покажется, пожалуешься».

«Ручаюсь вам, что никогда никому не пожалуюсь».

«А побожись!»

«У нас, Дмитрий Ерофеич, не божатся».

«Ну вот видишь, еще и не божатся. Как же тут верить?»

---

[1] Свое понимание чести *(франц.)*.

«Моей железной воле поверьте».

«Ну, быть по-твоему,— порешил Дмитрий Ерофеич и, угощая Пекторалиса ужином, позвал конюха и говорит: — Запрягите-ка Гуге Карловичу в саночках Окрысу».

«Окрысу, Дмитрий Ерофеич?» — удивился конюх.

«Да, Окрысу».

«То есть так ее самую и запречь?»

«Тпфу, да что ты, дурак, переспрашиваешь? Сказано запречь — и запряги.— И, отворотясь с улыбкою от конюха, он молвил Пекторалису: — Славного, брат, тебе зверя даю, кобылица молодая, рослая, статей превосходных и золотой масти. Чудная масть, на заглядение. Уверен, что век будешь помнить».

«Благодарю, благодарю»,— говорил Пекторалис.

«Ну, поблагодаришь-то после, как наездишься; а только если что не по-твоему в ней выйдет, так смотри помни уговор: не ругайся, не пожалуйся, потому что я твоего вкуса не знаю, чего ты желал».

«Никогда никому не пожалуюсь, я уже вам это сказал, положитесь на мою железную волю».

«Ну, молодец, если так, а у меня, брат, вот воли-то совсем нет. Много раз я решался, дай стану со всеми честно поступать, но все никак не выдержу. Что ты будешь делать — и попу на духу после каюсь, да уже не воротишь. А у вас, у лютеран, ведь совсем и не каются?»

«У нас богу каются».

«Ишь какая воля: и не божатся и не каются! Да, впрочем, у вас и попов нет и святых нет; ну, да вам их и взять негде, все святые-то русские. Прощай, матинька, садись да поезжай, а я пойду помолюсь да спать лягу».

И они расстались.

Пекторалис знал Дмитрия Ерофеича за шутника и был уверен, что все это шутки; он оделся, вышел на крыльцо, сел в саночки, но чуть только забрал вожжи, его лошадь сразу же бросилась вперед и ударилась лбом в стену. Он ее потянул в другую сторону, она снова метнулась и опять лбом в запертый сарай — и на этот раз так больно стукнулась, что даже головою замотала.

Немец долго не мог понять этой штуки и не нашел, у кого бы спросить ей объяснение, потому что, пока это происходило, в доме сник всякий след жизни, все огни везде погасли и все люди попрятались. Мертво, как в заколдованном замке, только луна светит, озаряя далекое поле, открывающееся за растворенными воротами, да мороз хрустит и потрескивает.

Оглянулся Гуго туда и сюда, видит: дело плохо; повернул лошадь головой к луне — и даже испугался: так мертво и тупо, как

два тусклые зеркальца, неподвижно глядели на луну большие бельма бедной Окрысы, и лунный свет отражался от них, как от металла.

«Лошадь слепая»,— догадался Гуго и еще раз оглянулся по двору.

В одном из окон при свете луны ему показалось, что он видел длинную фигуру Дмитрия Ерофеича, который, вероятно, еще не спал и любовался луною, а может быть, и собирался молиться. Гуго вздохнул, взял лошадь под уздцы и повел ее со двора,— и как только за Пекторалисом заперли ворота, в окошечке Дмитрия Ерофеича засветился тихий огонек: вероятно, старичок зажег лампадку и стал на молитву.

IX

— Бедный Гуго был жестоко и немилосердно обманут, его терзала обида, потеря, нестерпимая досада и отчаянное положение среди поля,— и он все это нес, терпеливо нес, идучи целые сорок верст пешком с слепою лошадью, за которою тянулись его пустые санки. И что же, однако, он сделал со всеми этими чувствами и с лошадью? Лошади нигде не оказалось — и он ничего никому не сказал о том, куда она делась (вероятно, он продал ее татарам в Ишиме). А к Дмитрию Ерофеичу, на дворе которого все наши имели обычай приставать, Пекторалис заезжал попрежнему, не давая заметить в своих отношениях и тени неудовольствия. Долго, долго Дмитрий Ерофеич не показывал ему глаз, но потом они встретились — и Пекторалис не сказал ни слова о лошади.

Наконец уже Дмитрий Ерофеич не выдержал и сам заговорил:

«А что, бишь, я все забываю тебя спросить: какова твоя лошаденка?»

«Ничего, очень хороша»,— отвечал Пекторалис.

«Да она, что и говорить, разумеется, лошадь хорошая; только вот какова она в езде-то?»

«Хорошо ездит».

«Ну и чудесно. Я так и полагал, что хорошо будет ездить. Только что же ты, кажется, не на ней сегодня приехал?»

«Да я ее поберегаю».

«А, вот это прекрасно, это ты очень умно делаешь, поберегай, брат, ее, поберегай. Кобылица чудная, грех такую не беречь».

И людям он с добротою сердечною сообщал, что вот-де Гуго Карлыч нашу Окрысу очень хвалит, а сам все думал: «Что это за чертов такой немец, ей-право, во всю мою жизнь со мной такая первая оказия: надул человека до бесчувствия, а он не ругается и не жалуется».

И впал от этого Дмитрий Ерофеич даже в беспокойство. Понять он не мог, что это такое значит. Сам начал всем рассказывать, как он надул Пекторалиса, и сильно претендовал, что отчего же тот не жалуется. Но Пекторалис держал свой термин и, узнав, что Дмитрий Ерофеич рассказывает, только пожал плечами и сказал:

«Никакой выдержки нет».

Дмитрий Ерофеич был плутоват, но труслив, суеверен и набожен; он вообразил, что Пекторалис замышляет ему какое-то ужасно хитро рассчитанное мщение, и, чтобы положить конец этой душевной тревоге, послал ему чудесную лошадь рублей в триста и велел ему кланяться и просить извинения.

Пекторалис покраснел, но решительно велел отвести лошадь назад и вместо ответа написал: «Мне стыдно за вас, у вас совсем нет воли».

И вот этот-то человек, проделавший перед нами такую бездну экспериментов на своей железной воле, вдруг подвинулся к краю своих желаний: новый год ему принес новую прибавку, которая с прежними его сбережениями сразу перевалила за три тысячи талеров.

Пекторалис поблагодарил хозяев и сейчас же стал собираться в Германию, обещаясь через месяц возвратиться оттуда с женою.

Сборы его были невелики — и он отправился, а мы стали нетерпеливо ждать его возвращения с супругою, которая, по всем нашим соображениям, должна была представлять нечто особенное.

Но в каком роде?

«Непременно, братцы, в надувательном»,— старался утверждать Дмитрий Ерофеич.

X

— Мы недолго оставались без вестей от Пекторалиса: через месяц после своего выезда он написал мне, что соединился браком, и называл свою жену по-русски, Кларой Павловной; а еще через месяц он припожаловал к нам назад с супругою, которую мы, признаться сказать, все очень нетерпеливо желали видеть и потому рассматривали ее с несколько нескромным любопытством.

У нас в колонии, где каждому так известны были крупные и мелкие чудеса Пекторалиса, существовало всеобщее убеждение, что и женитьба его непременно должна быть в своем роде какое-нибудь замысловатое чудо.

Оно, как ниже увидим, так и было в действительности, но только на первых порах мы ничего не могли понять.

Клара Павловна была немка как немка — большая, очень, по-видимому, здоровая, хотя и с несколько геморроидальною краснотою в лице и одною весьма странною замечательностью: вся левая сторона тела у нее была гораздо массивнее, чем правая. Особенно это было заметно по ее несколько вздутой левой щеке, на которой как будто был постоянный флюс, и по оконечностям. И ее левая рука и левая нога были заметно больше, чем соответствующие им правые.

Гуго сам обращал на это наше внимание и, казалось, даже был этим доволен.

«Вот,— говорил он,— эта рука побольше, а эта рука поменьше. О, это так не часто бывает».

Я тогда в первый раз видел эту странную игру природы и соболезновал, что бедный Гуго, вместо одной пары обуви и перчаток, должен был покупать для жены две разные; но только соболезнование это было напрасно, потому что madame Пекторалис делала это иначе: она брала и обувь и перчатки *на бóльшую* мерку, и оттого у нее всегда одна нога была в сапоге, который был впору, а другая в таком, который с ноги падал. То же было и с рукою, если когда дело доходило до перчаток.

У нас никому не нравилась эта дама, которую, по правде говоря, даже не шло как-то называть и дамою — так она была груба и простонародна, и из нас многие задавали себе вопрос: что могло привлечь Пекторалиса к этой здоровой, вульгарной немке и стоило ли для нее давать и исполнять такие обеты, какие нес он, чтобы на ней жениться. И еще он ездил за нею в такую даль, в Германию... Так и хочется, бывало, ему спеть:

Чего тебя черти носили,
Мы бы тебя дома женили.

Преимущества Клары, разумеется, заключались в каких-нибудь ее внутренних достоинствах — например, в воле. Мы и об этом осведомлялись:

«Большая воля у Клары Павловны?»

Пекторалис делал гримасу и отвечал:

«Чертовская!»

К обществу наших английских дам, между которыми были существа очень умные и прекрасно воспитанные, Клара Павловна совершенно не подходила,— и это чувствовала и она сама, и Пекторалис, который об этом, впрочем, нимало не сожалел и вообще не заботился о том, как кому кажется его жена. Как истый немец, он содержал ее не про господ, а про свой расход, и нимало не стеснялся ее несоответствием среде, в которую она попала. В ней было то, что ему было нужно и что он ценил всего дороже: желез-

ная воля, которая в соединении с собственною железною волею Пекторалиса должна была произвесть чудо в потомстве,— и этого было довольно!

Но вот что могло несколько удивлять — это что никто не видал никаких проявлений этой воли. Клара Пекторалис жила себе как самая обыкновенная немка: варила мужу суп, жарила клопс и вязала ему чулки и ногавки, а в отсутствие мужа, который в то время имел много работы на стороне, сидела с состоявшим при нем машинистом Офенбергом, глупейшим деревянным немцем из Сарепты.

Об Офенберге мне достаточно вам сказать десять слов: это был молодой юноша, которого, мне кажется, должны бы имитировать все актеры, исполняющие роль работника, соблазняемого хозяйкою в известной пиеске «Мельничиха в Марли». У нас все считали его дурачком, хотя он, впрочем, имел в себе нечто расчетливое и мягкоковарное, свойственное тем особенным простячкам с виду, каких можно встречать при иезуитских домах в rue de Sèvres и других местах.

Офенберг был взят в помощь Пекторалису не столько как механик, сколько как толмач для передачи его распоряжений рабочим; но и в этом роде он был не совсем удовлетворителен и многое часто путал. Однако тем не менее Пекторалис терпел его и находил полезным даже после того, когда уже и сам научился по-русски. Даже более: Пекторалис почему-то полюбил этого глупого Офенберга и делил с ним свои досуги: он жил с ним в одной квартире, спал до женитьбы в одной спальне, играл с ним в шахматы, ходил с ним на охоту и зорко наблюдал за его нравственностию, на что будто бы имел особенное поручение от его родителей и от старшин сарептских гернгутеров. Вообще Офенберг и Пекторалис у нас жили друзьями и очень редко расставались. Теперь это изменилось, потому что Пекторалис часто уезжал, но это нимало не угрожало нравственности Офенберга, за которою в отсутствие мужа имела неослабное наблюдение фрау Клара. Таким образом, оба они были друг другу полезны. Офенберг развлекал фрау Клару, а она его оберегала от всяких покушений и соблазнов юности. И здесь дело было обдумано умно; но черт ему позавидовал и сделал из него замечательную глупость, которая благодаря прямоте и оригинальности нашего славного Гуго получила самую нескромную огласку и повернула весь дом вверх дном.

По женскому суждению, во всем этом, о чем я сейчас начну рассказывать, был непростительно виноват сам Гуго; но когда же у дам бывают другие виноватые, кроме мужей? Слушайте, пожалуйста, беспристрастно и рассудите дело сами, без дамского подсказа.

XI

— Со времени женитьбы Пекторалиса утек год, затем прошел другой — и, наконец, третий. Так точно мог бы уйти и шестой, и восьмой, и десятый, если бы этот третий год не был необыкновенно счастлив для Пекторалиса в экономическом отношении. От этого счастья и произошло большое несчастие, о котором вы сейчас услышите.

Я уже вам сказал, кажется, что Пекторалис был основательный знаток своего дела — и при отличавшей его аккуратности и настойчивости, свойственной его железной воле, делал все, за что принимался, чрезвычайно хорошо и добросовестно. Это скоро сделало ему такую репутацию в околотке, что его постоянно приглашали то туда, то сюда, наладить одну машину, установить другую, поправить третью. Наши принципалы его в этом не стесняли — и он всюду поспевал, а зато и заработок его был очень значителен. Средства его так возрастали, что он начал подумывать: отложиться от своего Доберана и завести собственную механическую фабрику в центре нашей заводской местности, в городе Р.

Желание, конечно, самое простое и понятное для всякого человека, так как кому же не хочется выбиться из положения поденного работника и стать более или менее самостоятельным хозяином своего собственного дела; но у Гуго Карловича были к тому еще и другие сильные побуждения, так как у него с самостоятельным хозяйством соединялось расширение прав жизни. Вам, пожалуй, не совсем понятно, что я этим хочу сказать, но я должен на минуточку удержать пояснение этого в тайне.

Не помню, право, сколько именно требовалось по расчетам Пекторалиса, чтобы он мог основать свою фабрику, но, кажется, это выходило что-то около двенадцати или пятнадцати тысяч рублей,— и как только он доложил к этой сумме последний грош, так сейчас же и поставил точку к одному периоду своей жизни и объявил начало нового.

Обновление это совершилось в три приема, из коих первый заключался в том, что Пекторалис объявил, что он более не будет служить и открывает в городе фабрикацию. Второе дело было — устройство этой фабрикации, для которой прежде всего нужно было место, и притом, разумеется, по мере возможности дешевое и удобное. Таких мест в небольшом городе было немного — и из них одно только отвечало всем требованиям Пекторалиса: он к нему и привязался. Это было большое глубокое место, выходившее одною стороною к ярмарочной площади, а другою — к берегу реки,— и притом здесь были огромные старые каменные строения, которые с самыми ничтожными затратами могли быть приспособ-

лены к делу. Но половина этого облюбованного Пекторалисом места была давно заарендована на долгое время некоему мещанину Сафронычу, у которого тут был маленький чугуноплавильный завод. Пекторалис знал и этот завод, и самого Сафроныча и надеялся его выжить. Правда, что Сафроныч не подавал ему на это никаких надежд и даже прямо отвечал, что он отсюда не пойдет; но Пекторалис придумал себе план, против которого Сафроныч, по его расчетам, никак не мог устоять. И вот, в надежде на этот план, место было куплено, и Пекторалис в один прекрасный день вернулся к нам на старое пепелище с купчею крепостию и в самом веселом расположении духа. Он был так весел, что позволил себе большие и совсем ему не свойственные нескромности, обнял при всех жену, расцеловал обоих своих принципалов, взял за уши и потянул кверху Офенберга и затем объявил, что он устроился, благодарит за хлеб за соль и скоро уезжает в Р. на свое хозяйство.

Мне показалось, что Клара Пекторалис при этом известии побледнела, а Офенберг как будто потерялся до того, что сам Гуго обратил на это внимание и, расхохотавшись, сказал:

«О! ты не ждал этого, бедный разиня! — И с этими словами он повернул к себе деревянного гернгутера, сильно хлопнул его по плечу и произнес: — Ну, ничего, не грусти, Офенберг, не грусти, я и о тебе подумал — я тебя не оставлю, и ты будешь со мною, а теперь отправляйся сейчас в город и привези оттуда много шампанского и все то, что я купил по этой записке».

Записка была — реестр самых разнообразных покупок, сделанных Пекторалисом и оставленных в городе. Тут было вино, закуска и прочее.

Пекторалис, очевидно, хотел задать нам большой пир — и действительно, на другой же день, когда вся бакалея была привезена, он обошел всех нас, прося к себе вечером на большое угощение, по случаю своей женитьбы.

Мне показалось, что я не вслушался, и я его переспросил:

«Вы даете нам прощальный пир по случаю своего отъезда и нового приобретения?»

«О нет; это мы еще будем пировать там, когда хорошо пойдет мое дело, а теперь я делаю пир потому, что я сегодня буду жениться».

«Как, вы будете сегодня жениться?»

«О да, да, да: сегодня Клара Павловна... я с ней сегодня женюсь».

«Что вы за вздор говорите?»

«Никакой вздор, непременно женюсь».

«Как женитесь? Да ведь, позвольте, вы ведь три года уже как женаты».

«Гм! да, три года, три года. Ишь вы! Вы думаете, что это всегда будет так, как было три года. Конечно, это могло так оставаться и тридцать три года, если бы я не получил денег и не завел своего хозяйства; но теперь нет, брат, Клара Павловна, будьте покойны, я с вами нынче женюсь. Вы меня, кажется, не понимаете?»

«Решительно не понимаю, не понимаю».

«Дело самое простое: у меня с Кларинькой так было положено, что когда у меня будет три тысячи талеров, я буду делать с Кларинькой нашу свадьбу. Понимаете, только свадьбу и ничего более, а когда я сделаюсь хозяином, тогда мы совсем как нужно женимся. Теперь вы понимаете?»

«Батюшки мои,— говорю,— я боюсь за вас, что начинаю понимать, как вы это... три года... все еще не женились!»

«О да, разумеется, еще не женился! Ведь я вам сказал, что если бы я не устроился как нужно, я бы и тридцать три года так прожил».

«Вы удивительный человек!»

«Да, да, да, я и сам знаю, что я удивительный человек,— у меня железная воля! А вы разве не поняли, что я вам давно сказал, что, получая три тысячи талеров, я еще не буду наверху блаженства, а буду только близко блаженства?»

«Нет,— отвечаю,— тогда не понял».

«А теперь понимаете?»

«Теперь понимаю».

«О, вы неглупый человек. И что вы теперь обо мне скажете? Я теперь сам хозяин и могу иметь семейство, я буду все иметь».

«Молодец,— говорю,— молодец!.. и черт вас побери, какой вы молодец!..»

И целый потом этот день до вечера я был не шутя взволнован этою штукою.

«Этакой немецкий черт! — думалось мне,— он нашего Чичикова пересилит».

И как Гейне все мерещился во сне подбирающий под себя Германию черный прусский орел, так мне все метался в глазах этот немец, который собирался сегодня быть мужем своей жены после трех лет женитьбы.

Помилуйте, чего после этого такой человек не вытерпит и чего он не добьется?

Этот вопрос стоял у меня в голове и во все время пира, который был продолжителен и изобилен, на котором и русские и англичане, и немцы — все были пьяны, все целовались, все говорили Пекторалису более или менее плоские намеки на то, что задлившийся пир крадет у него блаженные и долгожданные

мгновения; но Пекторалис был непоколебим; он тоже был пьян, но говорил:

«Я никуда не тороплюсь; я никогда не тороплюсь — и я всюду поспею и все получу в свое время. Пожалуйста, сидите и пейте, у меня ведь железная воля».

В эти минуты он, бедняжка, еще не знал, как она ему была нужна и какие ей предстояли испытания.

XII

— На другой день по милости этого пира пришлось проспать добрым полчасом дольше обыкновенного, да и то не хотелось встать, несмотря на самую неотвязчивую докуку будившего меня слуги. Только важность дела, которое он мне сообщал и которое я не скоро мог понять, заставила меня сделать над собою усилие.

Речь шла о Гуго Карловиче,— точно еще не был окончен заданный им пьянейший пир.

«Да в чем же дело?» — говорю я, сидя на постели и смотря заспанными глазами на моего слугу.

А дело было вот в чем: через час после ухода от Пекторалиса последнего гостя, Гуго на рассвете серого дня вышел на крыльцо своего флигеля, звонко свистнул и крикнул:

«Однако!»

Через несколько минут он повторил это громче и потом раз за разом еще громче прокричал:

«Однако! однако!»

К нему подошел один из ночных сторожей и говорит:

«Что твоей милости, сударь?»

«Пошли мне сейчас «Однако»!»

Сторож посмотрел на немца и отвечал:

«Иди спать, родной,— что тебе такое!»

«Ты дурак: пошли мне «Однако». Пойди туда, вон в тот флигель, где слесаря, и разбуди его там в его комнатке,— и скажи, чтобы сейчас пришел сюда».

«Перепились, басурманы!» — подумал сторож и пошел будить Офенберга: он-де немец и скорее разберет, что другому немцу надо.

Офенберг тоже был подшафе и насилу продрал глаза, но встал, оделся и отправился к Пекторалису, который во все это время стоял в туфлях на крыльце. Завидя Офенберга, он весь вздрогнул и опять закричал ему:

«Однако!»

«Чего вы хотите?» — отвечал Офенберг.

«Однако, чего я хочу, того уже, однако, нет,— отвечал Пекторалис. И, резко переменив тон, скомандовал: — Но иди-ка за мною».

Позвав к себе Офенберга, он заперся с ним на ключ в конторе — и с тех пор они дерутся.

Я просто своим ушам не верил; но мой человек твердо стоял на своем и добавил, что Гуго и Офенберг дерутся опасно — запершись на ключ, так что видеть ничего не видно, и крику, говорит, из себя не пущают, а только слышно, как ужасно удары хлопают и барыня плачет.

«Пожалуйте,— говорит,— туда, потому что там давно уже все господа собрались — потому убийства боятся; но никак взлезть не могут».

Я бросился к флигелю Пекторалиса и застал, что там действительно вся наша колония была в сборе и суетилась у дверей Пекторалиса. Двери, как сказано, были плотно заперты, и за ними происходило что-то необыкновенное: оттуда была слышна сильная возня — слышно было, как кто-то кого-то чем-то тузил и перетаскивал. Побьет, побьет и потащит, опрокинет и бросит, и опять тузит, и потом вдруг будто пауза — и опять потасовка, и тихое женское всхлипывание.

«Эй, господа! — кричали им.— Послушайте... довольно вам. Отпирайтесь!»

«Не отвечай! — слышался голос Пекторалиса, и вслед за этим опять идет потасовка.

«Полно, полно, Гуго Карлыч! — кричали мы.— Довольно! иначе мы двери высадим!»

Угроза, кажется, подействовала: возня продолжалась еще минуту и потом вдруг прекратилась — и в ту же самую минуту дверной крюк откинулся, и Офенберг вылетел к нам, очевидно при некотором стороннем содействии.

«Что с вами, Офенберг?» — вскричали мы разом; но тот ни слова нам не ответил и пробежал далее.

«Батюшка, Гуго Карлыч, за что вы его это так обработали?»

«Он знает»,— отвечал Пекторалис, который и сам был обработан не хуже Офенберга.

«Что бы он вам ни сделал, но все-таки... как же так можно?»

«А отчего же нельзя?»

«Как же так избить человека!»

«Отчего же нет? и он меня бил: мы на равных правилах сделали русскую войну».

«Вы это называете русскою войною?»

«Ну да; я ему поставил такое условие: сделать русскую войну — и не кричать».

«Да помилуйте,— говорим,— во-первых, что это такое за русская война без крику? Это совсем вы выдумали что-то не русское».

«По мордам».

«Ну да что же «по мордам»,— это ведь не одни русские по мордам дерутся, а во-вторых, за что же вы это, однако, так друг друга обеспокоили?»

«За что? он это знает»,— отвечал Пекторалис. Этим двусмысленным образом он ответил на всю трагическую суть своего положения, которое, очевидно, имело для него много неприятного в своей неожиданности.

Вскоре же после этой русской войны двух немцев Пекторалис переехал в город и, прощаясь со мною, сказал мне:

«Знаете, однако, я очень неприятно обманулся».

Догадываясь, чего может касаться дело, я промолчал, но Пекторалис нагнулся к моему уху и прошептал:

«У Клариньки, однако, совсем нет такой железной воли, как я думал, и она очень дурно смотрела за Офенбергом».

Уезжая, он жену, разумеется, взял с собою, но Офенберга не взял. Этот бедняк оставался у нас до поправки здоровья, пострадавшего в русской войне; но на Пекторалиса не жаловался, а только говорил, что никак не может догадаться, за что воевал.

«Позвал,— говорит,— меня, кричит: «Однако!» — а потом: «Становись, говорит, и давай делать русскую войну; а если не будешь меня бить,— я один тебя буду бить». Я долго терпел, а потом стал и его бить».

«И все за «однако»?»

«Больше ничего не слыхал и не знаю».

«Это ведь, однако, странно!»

«И, однако, больно-с»,— отвечал Офенберг.

«А вы Кларе Павловне кур не строили [1], Офенберг?»

«То есть, ей-богу, ничего не строил».

«И ни в чем не виноваты?»

«Ей-богу, ни в чем».

Так это и осталось под некоторым сомнением: в какой мере был виноват сей Иосиф за то, за что он пострадал, но что Пекторалис на сей раз получил жестокий удар своей железной воле — это было несомненно,— и хотя нехорошо и грешно радоваться чужому несчастью, но, откровенно вам признаюсь, я был немножко доволен, что мой самонадеянный немец, убедясь в недостатке воли у самой Клары, получил такой неожиданный урок своему самомнению.

Урок этот, конечно, должен был иметь на него свое влияние, но все-таки он не сломал его железной воли, которой надлежало

---

[1] Ухаживать, флиртовать *(франц.)*.



Железная воля

оборваться весьма трагикомическим образом, но совершенно при другом роковом обстоятельстве, когда у Пекторалиса зашла русская война с настоящим русским же человеком.

XIII

— Пекторалис имел достаточно воли, чтобы снесть неудовольствие, которое причинило ему открытие недостатка большой воли в его супружеской половине. Конечно, ему это было нелегко уже по тому одному, что его теперь должна была оставить самая, может быть, отрадная мечта — видеть плод союза двух человек, имеющих железную волю; но, как человек самообладающий, он подавил свое горе и с усиленною ревностью принялся за свое хозяйство.

Он устраивал фабрику и при этом на каждом шагу следил за своею репутациею человека, который превыше обстоятельств и везде все ставит на своем.

Выше было сказано, что Пекторалис приобрел лицевое место, задняя, запланная часть которого была в долгосрочной аренде у чугуноплавильщика Сафроныча, и что этого маленького человека никак нельзя было отсюда выжить.

Ленивый, вялый и беспечный Сафроныч как стал, так и стоял на своем, что он ни за что не сойдет с места до конца контракта,— и суды, признавая его в праве на такую настойчивость, не могли ему ничего сделать.

А он со своим дрянным народом и еще более дрянным хозяйством мешал и не мог не мешать стройному хозяйству Пекторалиса. И этого мало; было нечто более несносное в этом положении: Сафроныч, почувствовав себя в силе своего права, стал кичиться и ломаться, стал всем говорить:

«Я-ста его, такого-сякого немца, и знать-де не хочу. Я своему отечеству патриот — и с места не сдвинусь. А захочет судиться, так у меня знакомый приказный Жига есть,— он его в бараний рог свернет».

Этого уже не мог снесть самоуважающий себя Пекторалис и, в свою очередь, решил отделаться от Сафроныча по-своему, и притом самым решительным образом,— для чего он уже и вперед расставил неосмотрительному мужику хитрые сети.

Пекторалис скомбинировал свои отношения с Сафронычем, казалось, чрезвычайно предусмотрительно,— так что Сафроныч, несмотря на свои права, весь очутился в его руках и увидал это тогда, когда дело было приведено к концу, или, по крайней мере, так казалось.

Но вот как шло дело.

Пекторалис трудился и богател, а Сафроныч ленился, запивал и приходил к разорению. Имея такого конкурента, как Пекторалис, Сафроныч уже совсем оплошал и шел к неминучей нищете, но тем не менее все сидел на своих задах и ни за что не хотел выйти.

Я помню этого бедного, слабовольного человека с его русским незлобием, самонадеянностью и беспечностью.

«Что будет с вами, Василий Сафроныч,— говорили ему, указывая на упадок его дел, совершенно исчезавших за широкими захватами Пекторалиса,— ведь вон у вас по вашей беспечности перед самыми устами какой перехват вырос».

«И, да что же такое, господа? — отвечал беспечный Сафроныч,— что вы меня все этим немцем пугаете? Пустое дело: ведь и немец не собака — и немцу хлеб надо есть; а на мой век станет».

«Да ведь вон он всю работу у вас захватывает».

«Ну так что же такое? А может быть, это так нужно, чтобы он за меня работал. А с пепелища своего я все-таки не пойду».

«Эй, лучше уйдите — он вам отступного даст».

«Нет-с, не пойду: помилуйте, куда мне идти? У меня здесь целое хозяйство заведено, да у бабы — и корыта, и кадочки, и полки, и наполки: куда это все двигать?»

«Что вы за вздор говорите, Сафроныч, да мудрено ли все это передвинуть?»

«Да ведь это оно так кажется, что не мудрено, но оно у нас все лядащенькое, все ветхое: пока оно стоит на месте, так и цело; а тронешь — все рассыпется».

«Новое купите».

«Ну для чего же нам новое покупать, деньги тратить,— надо старину беречь, а береженого и бог бережет. Да мне и приказный Жига говорит: «Я, говорит, тебе по своему самому хитрому рассудку советую: не трогайся; мы, говорит, этого немца сиденьем передавим».

«Смотрите, не врет ли вам ваш Жига».

«Помилуйте, что же ему врать! Если бы он, конечно, это трезвый говорил, то он тогда, разумеется, может по слабости врать; а то он это и пьяный божится: ликуй, говорит, Сафроныч, велии это творятся дела не к погибели твоей, а ко славе и благоденствию».

Такие обидные речи Сафроныча опять доходили до Пекторалиса и раздражали его неимоверно и, наконец, совсем вывели его из терпения и заставили выкинуть самую радикальную штуку.

«О, если он хочет со мною свою волю померить,— решил Пекторалис,— так я же ему покажу, как он передавит меня своим сиденьем! Баста! — воскликнул Гуго Карлыч,— вы увидите, как я его теперь кончу».

«Он тебя кончит»,— передали Сафронычу; но тот только перекрестился и отвечал:

«Ничего; бог не выдаст — свинья не съест, мне Жига сказал: погоди, он нами подавится».

«Ой, подавится ли?»

«Непременно подавится. Жига это умно судил: мы, говорит, люди русские — с головы костисты, а снизу мясисты. Это не то что немецкая колбаса, ту всю можно сжевать, а от нас все что-нибудь останется».

Суждение всем понравилось.

Но на другой день после этих переговоров жена Сафроныча будит его и говорит:

«Встань скорее, нетяг ленивый,— иди посмотри, что нам немец сделал».

«Что ты все о пустяках,— отвечал Сафроныч,— я тебе сказал: я костист и мясист, меня свинья не съест».

«Иди смотри, он и калитку и ворота забил; я встала, чтобы на речку сходить, в самовар воды принести, а ворота заперты, и выходить некуда, а отпирать не хотят, говорят — не велел Гуго Карлыч и наглухо заколотил».

«Да,— вот это штука!» — сказал Сафроныч и, выйдя к забору, попробовал и калитку и ворота: видит — точно, они не отпираются; постучал, постучал: никто не отвечает. Забит костистый человек на своем заднем дворе, как в ящике. Влез Василий Сафроныч на сарайчик и заглянул через забор — видит, что и ворота и калитка со стороны Гуго Карлыча крепко-накрепко досками заколочены.

Сафроныч кричал, кликал всех, кого знал, как зовут в доме Пекторалиса, и никого не дозвался. Никто ему не помог, а сам Гуго вышел к нему со своею мерзкою немецкою сигарою и говорит:

«Ну-ка ну, что ты теперь сделаешь?»

Сафроныч оробел.

«Батюшка,— отвечал он с крыши Пекторалису,— да что же вы это учреждаете? Ведь это никак нельзя: я контрактом огражден».

«А я,— отвечает Пекторалис,— вздумал еще тебя и забором оградить».

Стоят этак — один на крыльце, другой на крыше — и объясняются.

«Да как же мне этак жить? — спрашивал Сафроныч,— мне ведь теперь выехать наружу нельзя».

«Знаю, я это для того и сделал, чтобы тебе нельзя было вылезть».

«Так как же мне быть, ведь и сверчку щель нужна, а я как без щели буду?»

«А вот ты об этом и думай да с приказным поговори; а я имел право тебе все щели забить, потому что о них в твоем контракте ничего не сказано».

«Ахти мне, неуж ли не сказано?»

«А вот то-то есть!»

«Быть этого, батюшка, не может».

«А ты не спорь, а лучше слезь да посмотри».

«Надо слезть».

Слез бедный Сафроныч с крыши, вошел в свое жилье, достал контракт со старым владельцем, надел очки — и ну перечитывать бумагу. Читал он ее и перечитывал, и видит, что действительно бедовое его положение: в контракте не сказано, что, на случай продажи участка иному лицу, новый владелец не может забивать Сафроновы ворота и калитку и посадить его таким манером без выхода. Но кому же это и в голову могло прийти, кроме немца?

«Ах ты, волк тебя режь, как ты меня зарезал!» — воскликнул бедняк Сафроныч и ну стучаться в забор к соседке.

«Матушка,— говорит ей Сафроныч,— позволь мне к твоему забору лесенку приставить, чтобы через твой двор на улицу выскочить. Так и так,— говорит,— вот что со мной злобный немец устроил: он меня забил,— в роковую петлю уловил мои ноги, так что мне и за приказным слазить не можно. Пока будет суд да дело, не дай мне с птенцами гладом-жаждой пропасть. Позволь через забор лазить, пока начальство какую-нибудь от этого разбойника защиту даст».

Мещанка-соседка сжалилась и открыла Василию Сафронычу пропуск.

«Ничего,— говорит,— батюшка, неужели я тебя этим стесню: ты добрый человек,— приставь лесенку, мне от этого убытку не будет, и я с своей стороны свою лесенку тебе примощу, и лазьте себе туда и сюда на здоровье через мой забор, как через большую дорогу, доколе вас начальство с немцем рассудит. Не позволит же оно ему этак озорничать, хотя он и немец».

«И я думаю, матушка, что не позволит».

«Но пока не позволит, ты только скорее к Жиге беги — он все дело справит».

«И то к нему побегу».

«Беги, милый, беги; он уже что-нибудь скаверзит, либо что, либо что, либо еще что. Ну, а пока я тебе, пожалуй, хоть одно звено в своем заборчике разгорожу».

Сафроныч успокоился — щель ему открывалась.

Утвердили они одну лесенку с одной стороны, другую с другой, и началось опять у Сафроновых хоть неловкое, а все-таки какое-нибудь с миром сообщение. Пошла жена Сафроныча за водой,

а он сам побежал к приказному Жиге, который ему в давнее время контракт писал,— и, рыдая, говорит свою обиду:

«Так и так,— говорит,— все ты меня против немца обнадеживал, а со мною вот что теперь сделано, и все это по твоей вине, и за твой грех все мы с птенцами должны,— говорит,— гладом избыть. Вот тебе и слава моя и благополучие!»

А подьячий улыбается.

«Дурак ты,— говорит,— дурак, брат любезный, Василий Сафроныч, да и трус: только твое неожиданное счастье к тебе подошло, а ты уже его и пугаешься».

«Помилуй,— отвечал Сафроныч,— какое тут счастье, во всякий час всему семейству через чужой забор лазить? Ни в жизнь я этого счастья не хотел! Да у меня и дети не великоньки, того гляди, которого за чем пошлешь, а он пузо занозит, или свалится, или ножку сломит; а порою у меня по супружескому закону баба бывает в году грузная, ловко ли ей все это через забор прыгать? Где нам в такой осаде, разве можно жить? А уже про заказы и говорить нечего: не то что какой тяжелый большой паровик вытащить, а и борону какую сгородить — так и ту потом негде наружу выставить».

А подьячий опять свое твердит:

«Дурак ты,— говорит,— дурак, Василий Сафроныч».

«Да что ты зарядил одно: «дурак да дурак»? ты не стой на одной брани, а утешенье дай».

«Какого же,— говорит,— тебе еще утешения, когда ты и так уже господом взыскан паче своей стоимости?»

«Ничего я этих твоих слов не понимаю».

«А вот потому ты их и не понимаешь, что ты дурак — и такой дурак, что моему значительному уму с твоею глупостию даже и толковать бы стыдно; но я только потому тебе отвечаю, что уже счастье-то тебе выпало очень несоразмерное — и у меня сердце радуется, как ты теперь жить будешь великолепно. Не забудь, гляди, меня, не заветряйся; не обнеси чарою».

«Шутишь ты надо мною, бессовестный».

«Да что ты, совсем уже, что ли, одурел, что речи человеческой не понимаешь? Какие тут шутки, я тебе дело говорю: блаженный ты отныне человек, если только в вине не потонешь».

Ничего бедный Василий Сафроныч не понимает, а тот на своем стоит.

«Иди, иди домой своею большою дорогою через забор, только ни о чем не проси немца и не мирись с ним. И боже тебя сохрани, чтобы соседка тебе лаза не открывала, а ходи себе через лесенку, как показано, этой дороги благополучнее тебе быть не может».

«Полно, пожалуй, неужто так всё и лазить?»

«А что же такое? так и лазий, ничего не рушь, как сделалось, потому что экую благодать и пальцем грех тронуть. А теперь ступай домой да к вечеру наготовь штофик да кизлярочки — и я к тебе по лесенке перелезу, и на радостях выпьем за немцево здоровье».

«Ну, ты приходить, пожалуй, приходи, а чтобы я стал за его здоровье пить, так этого уже не будет. Пусть лучше он придет на мои поминки блины есть да подавится».

А развеселый приказный утешает:

«И, брат, все может статься, теперь такое веселое дело заиграло, что отчего и тебе за его здоровье не попить; а придет то, что и ему на твоих похоронах блин в горле комом станет. Знаешь, в Писании сказано: «Ископа ров себе и упадет». А ты думаешь, не упадет?»

«Где ему сразу пасть! всю силу забирает...»

«А «сильный силою-то своею не хвались», это где сказано? Ох вы, маловеры, маловеры, как мне с вами жить и терпеть вас? Научитесь от меня, как вот я уповаю: ведь я уже четырнадцатый год со службы изгнан, а все водку пью. Совсем порою изнемогу — и вот-вот уже возроптать готов, а тут и случай, и опять выпью и восхвалю. Все, друг, в жизни с перемежечкой, тебе одному только теперь счастье до самого гроба сплошное вышло. Иди жди меня, да пошире рот разевай, чтобы дивоваться тому, что мы с немцем сделаем. Об одном молись...»

«О чем это?»

«Чтобы он тебя пережил».

«Тпфу!»

«Не плюй, говорю, а молись: это надо с верою, потому что ему теперь очень трудно станет».

XIV

— И все это изрекал Жига такими загадками.

Побрел Василий Сафроныч к своему загороженному дому, перелез большою дорогою через забор, спосылал тою же дорогою, кого знал, закупить для подьячего угощение,— сидит и ждет его в смятенном унынии, от которого никак не может отделаться, несмотря на куражные речи приказного.

А тот, в свою очередь, этим делом не манкировал: снарядился он в свой рыжий вицмундир, покрылся плащом да рыжеватою шляпою — и явился на двор к Гуго Карловичу и просит с ним свидания.

Пекторалис только что пообедал и сидел, чистя зубы перышком в бисерном чехольчике, который сделала ему сюрпризом Клара

Павловна еще в то блаженное время, когда счастливый Пекторалис не боялся ее сюрпризов и был уверен, что у нее есть железная воля.

Услыхав про подьячего, Гуго Карлыч, который на хозяйственной ноге начал уже важничать, долго не хотел его принять, но когда приказный объявил, что он по важному делу, Гуго говорит:

«Пусть придет».

Подьячий явился и ну низко-низко Пекторалису кланяться. Тому это до того понравилось, что он говорит:

«Принимайте место и садитесь-зи [1]».

А приказный отвечает:

«Помилуйте, Гуго Карлович,— мне ли в вашем присутствии сидеть, у меня ноги русские, дубовые, я перед вами, благородным человеком, и стоять могу».

«Ага,— подумал Пекторалис,— а этот подьячий, кажется, уважает меня, как следует, и свое место знает»,— и опять ему говорит:

«Нет, отчего же, садитесь-зи!»

«Право, Гуго Карлович, мне перед вами стоять лучше: мы ведь стоеросовые и к этому с мальства обучены, особенно с иностранными людьми мы всегда должны быть вежливы».

«Эх вы, какой штука!» — весело пошутил Пекторалис и насильно посадил гостя в кресло.

Тому больше уже ничего не оставалось делать, как только почтительно из глубины сиденья на край подвинуться.

«Ну, теперь извольте говорить, что вы желаете? Если вы бедны, то вперед предупреждаю, что я бедным ничего не даю: всякий, кто беден, сам в этом виноват».

Приказный заслонил ладонью рот и, воззрясь подобострастно в Пекторалиса, ответил:

«Это вы говорите истинно-с: всякий бедный сам виноват, что он бедный. Иному точно что и бог не даст, ну а все же он сам виноват».

«Чем же такой виноват?»

«Не знает, что делать-с. У нас такой один случай был: полк квартировал, кавалерия или как они называются... на лошадях».

«Кавалерия».

«Именно кавалерия, так там меня один ротмистр раз всей философии выучил».

«Ротмистр никогда не учит философии».

«Этот выучил-с, случай это такой был, что он мог выучить».

«Разве что случай».

---

[1] Вы *(нем.)*.

«Случай-с: они командира-с ожидали и стояли верхами на лошадях да курили папиросочки, а к ним бедный немец подходит и говорит: «Зейен-зи зо гут»;[1] и как там еще, на бедность. А ротмистр говорит: «Вы немец?» — «Немец»,— говорит. «Ну так что же вы, говорит, нищенствуете? Поступайте к нам в полк и будете как наш генерал, которого мы ждем»,— да ничего ему и не дал».

«Не дал?»

«Не дал-с, а тот и взаправду в солдаты пошел и, говорят, генералом сделался да этого ротмистра вон выгнал».

«Молодец!»

«И я говорю — молодец; и оттого я всегда ко всякому немцу с почтением, потому бог его знает, чем он будет».

«Это совсем превосходный человек, это очень хороший человек»,— подумал про себя Пекторалис и вслух спрашивает:

«Ну, анекдот ваш хорош; а по какому же вы ко мне делу?»

«По вашему-с».

«По моему-у-у?»

«Точно так-с».

«Да у меня никаких делов нет-с».

«Теперь будет-с».

«Уж не с Сафроновым ли?»

«С ним и есть-с».

«Он никакого права не имеет, ему забор сказано стоять — он и стоит».

«Стоит-с».

«А про ворота ничего не сказано».

«Ни слова не сказано-с, а дело все-таки будет-с. Он приходил ко мне и говорит: «Бумагу подам».

«Пусть подает».

«И я говорю: «Подавай, а про ворота у тебя в контракте ничего не сказано».

«Вот и оно!»

«Да-с, а он все-таки говорит... вы извините, если я скажу, что он говорил?»

«Извиняю».

«Я, говорит, хоть и все потеряю..»

«Да он уже и потерял, его работа никуда не годится, его паровики свистят».

«Свистят-с».

«Ему теперь шабаш работать».

«Шабаш, и я ему говорю: «Твоей фабрикации шабаш, и никто тебе ничего не поможет,— в ворота ничего ни провесть, ни вывезть

---

[1] Будьте так добры *(нем.)*.

нельзя». А он говорит: «Я вживе дышать не останусь, чтобы я этакому ферфлюхтеру [1] немцу уступил».

Пекторалис наморщил брови и покраснел.

«Неужто это он так и говорил?»

«Смею ли я вам солгать? истинно так и говорил-с: ферфлюхтер, говорит, вы и еще какой ферфлюхтер, и при многих, многих свидетелях, почитай что при всем купечестве, потому что этот разговор на благородной половине в трактире шел, где все чай пили».

«Вот именно негодяй!»

«Именно негодяй-с. Я его было остановил,— говорю: «Василий Сафроныч, ты бы, брат, о немецкой нации поосторожнее, потому из них у нас часто большие люди бывают»,— а он на это еще пуще взбеленился и такое понес, что даже вся публика, свои чаи и сахары забывши, только слушать стала, и все с одобрением».

«Что же именно он говорил?»

«Это, говорит, новшество, а я по старине верю: а в старину, говорит, в книгах от царя Алексея Михайловича писано, что когда-де учали еще на Москву приходить немцы, то велено-де было их, таких-сяких, туда и сюда не сажать, а держать в одной слободе и писать по черной сотне».

«Гм! это разве был такой указ?»

«Вспоминают в иных книгах, что был-с».

«Это совсем не хороший указ».

«И я говорю, не хорошо-с, а особенно: к чему о том через столько прошлых лет вспоминать-с, да еще при большой публике и в народном месте, каковы есть трактирные залы на благородной половине, где всякий разговор идет и всегда есть склонность в уме к политике».

«Подлец!»

«Конечно, нечестный человек, и я ему на это так и сказал».

«Так и сказали?»

«Так и сказал-с; но только как от моих этих слов у нас между собою горячка вышла, и дошло дело до ругани, а потом дошло и больше».

«Что же: у вас вышла русская война?»

«Точно так-с: пошла русская война».

«И вы его поколотили?»

«И я его, и он меня, как по русской войне следует, но только ему, разумеется, не так способно было меня побеждать, потому что у меня, извольте видеть, от больших наук все волоса вылезли,— и то, что вы тут на моей голове видите, то это я из долгового от-

---

[1] Проклятому *(нем.)*.

деления выпускаю; да-с, из запасов, с затылка начесываю... Ну, а он лохматый».

«Лохматый, негодяй».

«Да-с; вот я потому, как вижу, что мир кончен и начинается война, я первым делом свои волосы опять в долговое отделение спустил, а его за вихор».

«Хорошо!»

«Хорошо-с; но, признаться, и он меня натолкал».

«Ничего, ничего».

«Нет, больно-с».

«Ничего; я вас буду на мой счет лечить. Вот вам сейчас же и рубль на это».

«Покорно вас благодарю: я на вас и полагался, но только это ведь не вся беда».

«А в чем же вся-то?»

«Ужасную я неосторожность сделал».

«Ну-у?»

«Началось у нас после первого боя краткое перемирие, потому что нас розняли, и пошел тут спор; я сам и не знаю, как впал от этого в такое безумие, что сам не знаю, что про вас наговорил».

«Про меня?»

«Да-с; об заклад за вас на пари бился-с, что подавай, говорю, подавай свою жалобу,— а ты Гуги Карлыча волю не изменишь и ворота отбить его не заставишь».

«А он, глупец, думает, что заставит?»

«Смело в этом уверен-с, да и другие тоже уверяют-с».

«Другие!»

«Все как есть в один голос».

«О, посмотрим, посмотрим!»

«И вот они восторжествуют-с, если вы поддадитесь».

«Кто, я поддамся?»

«Да-с».

«Да вы разве не знаете, что у меня железная воля?»

«Слышал-с, и на нее в надежде такую и напасть на себя срисковал взять: я ведь при всех за вас об заклад бился и увлекся сто рублей за руки дать».

«И дайте — назад двести получите».

«Да вот-с, я, их всех там в трактире оставивши, будто домой за деньгами побежал, и к вам и явился: ведь у меня, Гуго Карлыч, дома, окромя двух с полтиною, ни копейки денег нет».

«Гм, нехорошо! Отчего же это у вас денег нет?»

«Глуп-с, оттого и не имею; опять в такой нации, что тут — честно жить нельзя».

«Да, это вы правду сказали».

«Как же-с, я честью живу и бедствую».

«Ну ничего,— я вам дам сто рублей».

«Будьте благодетелем: ведь они не пропадут-с. Это все от вас зависит».

«Не пропадут, не пропадут, вы с него когда двести получите, сто себе возьмите, а эти сто мне возвратите».

«Непременно ворочу-с».

Пекторалис вручил подьячему бумажку, а тот, выйдя за двери, хохотал, хохотал, так что насилу впотьмах в соседний двор попал и полез к Сафронычу через забор пьяный магарыч пить.

«Ликуй,— говорит,— русская простота! Ныне я немца на такую пружину взял, что сатана скорее со своей цепи сорвется, чем он соскочит».

«Да хотя поясни»,— приставал Сафроныч.

«Ничего больше не скажу, как уловлен он — и уловлен на гордости, а это и есть петля смертная».

«Что ему!»

«Молчи, маловер, или не знаешь, ангел на этом коне поехал, и тот обрушился, а уж немцу ли не обрушиться».

Осушили они посудины, настрочили жалобу, и понес ее Сафроныч утром к судье опять по той же большой дороге через забор; и хотя он и верил и не верил приказному, что «дело это идет к неожиданному благополучию», но значительно успокоился. Сафроныч остудил печь, отказал заказы, распустил рабочих и ждет, что́ будет всему этому за конец, в ожидании которого не томился только один приказный, с шумом пропивавший по трактирам сто рублей, которые сорвал с Пекторалиса, и, к вящему для всех интересу и соблазну, а для Гуго Карлыча к обиде,— хвастался пьяненький, как жестоко надул он немца.

Все это создало в городе такое положение, что не было человека, который бы не ожидал разбирательства Сафроныча и Пекторалиса. А время шло; Пекторалис все пузырился, как лягушка, изображающая вола, а Сафроныч все переда́ в своем платье истер, лазя через забор, и, оробев, не раз уже подсылал тайком от Жиги к Пекторалису и жену и детей за пардоном.

Но Гуго был непреклонен.

«Нет,— говорил он,— я к нему приду по его приглашению, но приду на его похороны блины есть, а до того весь мир узнает, что такое моя железная воля».

XV

— И вот получили и Сафроныч и Пекторалис повестки — настал день их, и явились они на суд.

Зала была, разумеется, полна,— как я говорил, это смешное

дело во всем городе было известно. Все знали весь этот курьез, не исключая и происшествия с подьячим, который сам разболтал, как он немца надул. И мы, старые камрады[1] Пекторалиса, и принципалы наши — все пришли посмотреть и послушать, как это разберется и чем кончится.

И Пекторалис и Сафроныч — прибыли оба без адвокатов. Пекторалис, очевидно, был глубоко уверен в своей правоте и считал, что лучше его никто не скажет, о чем надо сказать; а Сафронычу просто вокруг не везло: его приказный хотел идти говорить за него на новом суде и все к этому готовился, да только так заготовился, что под этот самый день ночью пьяный упал с моста в ров и едва не умер смертию «царя поэтов». Вследствие этого события Сафроныч еще более раскапустился и опустил голову, а Пекторалис приободрился: он был во всеоружии своей несокрушимой железной воли, которая теперь должна была явить себя не одному какому-нибудь частному человеку или небольшому семейному кружку, а обществу целого города. Стоило взглянуть на Пекторалиса, чтобы оценить, как он серьезно понимает значение этой торжественной минуты, и потому не могло быть никакого сомнения, что он сумеет ею воспользоваться, что он себя покажет,— явит себя своим согражданам человеком стойким и внушающим к себе уважение и, так сказать, отольет свой лик из бронзы, на память временам. Словом, это был, как говорят русские офицеры, «момент», от которого зависело все. Пекторалис знал, что его странный анекдот с свадьбою и женитьбой вызвал на свет множество смешных рассказов, в которых его железная воля делала его притчею во языцех. К истинным событиям, начиная с его двухмесячного путешествия зимою в клеенчатом плаще до русской войны с Офенбергом и легкомысленного предания себя в жертву надувательства пьяного подьячего,— прилагались небылицы в лицах самого невозможного свойства. И впрямь, Пекторалис сам знал, что судьба над ним начала что-то жестоко потешаться и (как это всегда бывает в полосе неудач) она начала отнимать у него даже неотъемлемое: его расчетливость, знание и разум. Еще так недавно он, устраивая свое жилье в городе, хотел всех удивить разумною комфортабельностью дома и устроил отопление гретым воздухом — и в чем-то так грубо ошибся, что подвальная печь дома раскалялась докрасна и грозила рассыпаться, а в доме был невыносимый холод. Пекторалис мерз сам, морозил жену и никого к себе не пускал в дом, чтобы не знали, что там делается, а сам рассказывал, что у него тепло и прекрасно; но в городе ходили слухи, что он сошел с ума и ветром топит, и те, которые это рассказывали, думали, что

---

[1] Товарищи *(нем.)*.

они невесть как остроумны. Говорили, что будто колесница, на которой Пекторалис продолжал ездить «мордовским богом», удрала с ним насмешку, развалясь, когда он переезжал на ней вброд речку,— что кресло его будто тут соскочило и лошадь с колесами убежала домой, а он остался сидеть в воде на этом кресле, пока мимоехавший исправник, завидя его, закричал: «Что это за дурак тут не к месту кресло поставил?»

Дурак этот оказался Пекторалис.

И взял будто исправник снял Пекторалиса с этого кресла и привез его сушиться в его холодный дом; а кресло многие люди будто и после еще в реке видели, а мужики будто и место то прозвали «немцев брод». Что в этом было справедливо, что преувеличено и в чем — добраться было трудно; но кажется, что Гуго Карлыч действительно обломился и сидел на реке и исправник привез его. И сам исправник об этом рассказывал, да и колесницы мордовского бога более не видно было. Все это, как я говорю, по свойству бед ходить толпами, валилось около Пекторалиса, как из короба, и окружало его каким-то шутовским освещением, которое никак не было выгодно для его в одно и то же время возникавшей и падавшей большой репутации, как предприимчивого и твердого человека.

Наша милая Русь, где величия так быстро возрастают и так скоро скатываются, давала себя чувствовать и Пекторалису. Вчера еще его слово в его специальности было для всех закон, а нынче, после того как его Жига надул,— и в том ему веры не стало.

Тот же самый исправник, который свез его с речного сидения, позвал его посоветоваться насчет плана, сочиняемого им для нового дома,— и просит:

«Так,— говорит,— душа моя, сделай, чтобы было по фасаду девять сажен,— как место выходит, и чтобы было шесть окон, а посередине балкон и дверь».

«Да нельзя тут столько окон»,— отвечал Пекторалис.

«Отчего же нельзя?»

«Масштаб не позволит».

«Нет, ты не понимаешь, ведь это я буду в деревне строить».

«Все равно, что в городе, что в деревне,— нельзя, масштаб не позволяет».

«Да какой же у нас в деревне масштаб?»

«Как какой? Везде масштаб».

«Я тебе говорю, нет у нас масштаба. Рисуй смело шесть окон».

«А я говорю, что этого нельзя,— настаивал Пекторалис,— никак нельзя: масштаб не позволяет».

Исправник посмотрел-посмотрел и засвистал.

«Ну, жаль,— говорит,— мне тебя, Гуго Карлыч, а делать нечего,— видно, это правда. Нечего делать,— надо другого попросить нарисовать».

И пошел он всем рассказывать:

«Вообразите, Гуго-то как глуп, я говорю: я в деревне вот столько-то окон хочу прорубить, а он мне: «маштап не позволит».

«Не может быть?»

«Истинна, истинна; ей-богу, правда».

«Вот дурак-то!»

«Да вот и судите! Я говорю: образумься, душенька, ведь я это в своей собственной деревне буду делать; какой же тут карта или маштап мне смеет не позволить? Нет; так-таки его, дурака, и не переспорил».

«Да, он дурак».

«Понятно, дурак: в помещичьем имении маштап нашел. Ясно, что глуп».

«Ясно; а всё кто виноват? мы!»

«Разумеется, мы».

«Зачем возвеличали!»

«Ну, конечно».

Одним словом, Пекторалис был к этой поре не в авантаже,— и если бы он знал, что значит такая полоса везде вообще, а в России в особенности, то ему, конечно, лучше было бы не забивать ворота Сафронычу.

Но Пекторалис в полосы не верил и не терял духа, которого, как ниже увидим, у него было даже гораздо больше, чем позволяет ожидать все его прошлое. Он знал, что самое главное не терять духа, ибо, как говорил Гете, «потерять дух — все потерять», и потому он явился на суд с Сафронычем тем же самым твердым и решительным Пекторалисом, каким я его встретил некогда в холодной станции Василева Майдана. Разумеется, он теперь постарел, но это был тот же вид, та же отвага и та же твердая самоуверенность и самоуважение.

«Что вы не взяли адвоката?» — шептали ему знакомые.

«Мой адвокат со мною».

«Кто же это?»

«Моя железная воля»,— отвечал коротко Пекторалис перед самою решительною минутою, когда с ним более уже нельзя было переговариваться, потому что начался суд.

XVI

— Для меня есть что-то столь неприятное в описании судов и их разбирательств, что я не стану вам изображать в лицах и подробностях, как и что тут деялось, а расскажу прямо, что содеялось.

Сафроныч пересеменивал, почтительно стоя в своем длиннополом коричневом сюртуке, пострадавшем спереди от путешествия по заборам, и рассказывал свое дело, простодушно покачивая головою и вяло помахивая руками, а Гуго стоял, сложивши на груди руки по-наполеоновски, —и или хранил спокойное молчание, или давал только односложные, твердые и решительные ответы.

Нехитрое дело просто выяснилось сразу: о воротах и проезде через двор в контракте действительно ничего сказано не было — и по тону речей расспрашивавшего об этом судьи ясно было, что он сожалеет Сафроныча, но не видит никаких оснований защитить его и помочь ему. В этой части дело Сафроныча было проиграно; но неожиданно для всех луна оборотилась к нам тем боком, которого никто не видал. Судья предъявил документы, которыми удостоверялись убытки Сафроныча от самочинства Пекторалиса. Они не были особенно преувеличены: их было высчитано по прекращении средств его производства по пятнадцати рублей в день.

Расчет этот был точен, ясен и несомненен. Сафроныч мог иметь действительный убыток в этом размере, если бы производство его шло как следует, но как оно на самом деле никогда не шло по его беспечности и невнимательности.

Но в виду суда было одно: ежедневный убыток в том размере, в каком он представлен возможным и доказан.

«Что вы на это скажете, господин Пекторалис?» — вопросил судья.

Пекторалис пожал плечами, улыбнулся и отвечал, что это не его дело.

«Но вы причиняете ему убытки».

«Не мое дело»,— отвечал Пекторалис.

«А вы не хотите ли помириться?»

«О, никогда!»

«Отчего же?»

«Господин судья,— отвечал Пекторалис,— это невозможно: у меня железная воля, и это все знают, что я один раз решил, то так должно и оставаться, и этого менять нельзя. Я не отопру ворота».

«Это ваше последнее слово?»

«О да, совершенно последнее слово».

И Пекторалис стал с своим выпяченным подбородком, а судья начал писать — и писал не то чтобы очень долго, а написал хорошо.

Решение его в одно и то же время доставляло и полное торжество железной воле Пекторалиса, и резало его насмерть — Сафронычу же оно, по точному предсказанию Жиги, доставляло одно неожиданнейшее счастье.

Судебный приговор не отворял забитых Пекторалисом ворот,— он оставлял немца в его праве тешить этим свою железную волю, но зато он обязывал Пекторалиса вознаграждать убытки Сафроныча в размере пятнадцати рублей за день.

Сафроныч был доволен этим решением; но, ко всеобщему удивлению, на него выразил удовольствие и Пекторалис.

«Я очень доволен,— сказал он,— я сказал, что ворота будут забиты, и они так останутся».

«Да, но вам это будет стоить пятнадцать рублей в день».

«Совершенно верно; но он ничего не выиграл».

«Выиграл пятнадцать рублей в день».

«А я об этом не говорю».

«Позвольте, что же это составит: двадцать восемь рабочих дней в месяце...»

«Кроме Казанской».

«Да, кроме Казанской,— это двести восемьдесят, да сто сорок,— всего четыреста двадцать рублей в месяц. Около пяти тысяч в год. Батюшка, Гуго Карлыч, ведь это черт возьми совсем такую победу! Ведь он этого никогда бы не заработал: это он просто вас себе в крепость забрал».

Гуго моргал глазами, он чувствовал, что дело дорого обошлось, но волю свою показал — и первое число внес судье сумму за покой Сафроныча и его бедствие.

Так это и пошло далее: как, бывало, приходит первое число месяца, Сафроныч несет в суд пятнадцать рублей своей месячной аренды, следующей от него Пекторалису, а оттуда приносит домой через лестницу четыреста двадцать рублей, уплаченные в его пользу Пекторалисом.

Славное дело; чудная жизнь пошла для Сафроныча! Никогда он так не жил, да и не думал жить так легко, вольготно и прибыльно. Запер он свои доменки и амбары — и ходит себе посвистывает да чаи распивает или водочкой с приказным угощается, а потом перелезет через лесенку и спит покойно и всех уверяет, что «я, говорит, супротив немца никакой досады не чувствую. Это его бог мне за мою простоту ниспослал. Теперь я только одного боюсь, чтобы он прежде меня не помер. Да бог даст не помрет, он ко мне на похороны блины есть обещался, а он свое слово верно держит.

Накорми его тогда, жена, хорошенько блинками, а пока пусть его бог на многое лето бережет на меня работать».

И как Сафроныч и впрямь был человек незлобивый, то и действительно он относился к Гуго Карлычу с полным благорасположением — и при встрече, где еще далеко его, бывало, завидит, как уже снимает шапку и кланяется, а сам кричит:

«Здравствуй, батюшка Гуга Карлыч! Здравствуй, мой кормилец!»

Но Гуго этой сердечной простоты не понимал, он принимал ее за обиду и все за нее сердился.

«Ступай прочь,— говорит,— мужик; полезай через забор, где я тебе дорогу положил».

А добродушный Сафроныч отвечает:

«И чего ты, милота моя, гневаешься, за что сердишься? Через забор лезть, я и через забор полезу,— будь твоя воля, а я ведь к тебе со всем моим уважением и ничем не обижаю».

«Еще бы ты смел меня обидеть!»

«Да и не смею же, государь мой, не смею, да и не за что. Напротив того, за тебя навсегда со всею семьею каждое утро и вечер богу молюсь».

«Не надо мне этого».

«Ах, благодетель, да нам-то это надо, чтобы тебя как можно дольше бог сохранил, я в том детям внушаю: не забывайте, говорю, птенцы, чтобы ему, благодетелю нашему, по крайней мере, сто лет жить да двадцать на карачках ползать».

«Что это такое «на карачках ползать»? — соображал Пекторалис.— «Сто жить и двадцать ползать... на карачках». Хорошо это или нехорошо «на карачках ползать»?»

Он решил об этом осведомиться — и узнал, что это более нехорошо, чем хорошо, и с тех пор это приветствие стало для него новым мучением. А Сафроныч все своего держится, все кричит:

«Живи и здравствуй и еще на карачках ползай».

Семья проигравшего процесс Сафроныча хотя и сообщалась с миром через забор, но жила благодаря контрибуции, собираемой с Пекторалиса, в таком довольстве, какого она никогда до этих пор не знала, и, по сказанному Жигою, имела покой безмятежный, но зато выигравшему свое дело Пекторалису приходилось жутко: контрибуция, на него положенная, при продолжении ее из месяца в месяц была так для него чувствительна, что не только поглощала все его доходы, но и могла угрожать ему решительным разорением.

Правда, что Пекторалис крепился и никому на свою судьбу не жаловался — и даже казался веселым, как человек, публично от-

стоявший свое право на всеобщее уважение, но в веселости этой уже начинало обозначаться нечто как будто притворное. Да и в самом деле, ведь не мог же этот упрямец не видать впереди, чем это кончится,— и не мог же он с развеселою душою ожидать этого комичного и отчаянного исхода. Дело было просто и ясно: сколько бы Пекторалис ни работал и как бы много ни заработал, все это у него должно было идти на удовлетворение Сафроныча. Не мог же Пекторалис с первого года заработать более пяти-шести тысяч, а от этого у него ничего не могло оставаться не только на развитие дела, даже на свое житье. Поэтому дело его в самом уже начале стало быстро клониться к упадку — и печальный конец его уже можно было предвидеть. Воля Пекторалиса была велика, но капитал слишком мал для того, чтобы выдерживать такие капризы,— и, нажитый в России, он снова стремился опять сюда же и попасть в свое русло. Пекторалис выдерживал сильное испытание и, очевидно, решился погибнуть, но живой не сдаться,— и история эта бог весть чем бы кончилась, если бы случай не распорядился подготовить ей исход самый непредвиденный.

XVII

— В описанном мною положении прошел целый год и другой, Пекторалис все беднял и платил деньги, а Сафроныч все пьянствовал — и совсем, наконец, спился с круга и бродяжил по улицам. Таким образом, дело это обоим претендентам было не в пользу, но был некто, распоряжавшийся этою операциею умнее. Это была жена Сафроныча, такая же, как и ее муж, простоплетная баба, Марья Матвеевна, у которой было, впрочем, то счастливое перед мужем преимущество, что она сообразила:

«Ну а как мы все-то у немца переберем, тогда что будет?»

Соображение это имело и свои резонные основания и свои важные последствия. Марья Матвеевна видела ясно, чего, впрочем, и мудрено было не видеть, что к концу второго года фабрика Пекторалиса уже совсем стояла без работы и Гуго сам ходил в жестокие морозы без шубы, в старой, изношенной куртке, а для форса только pince-nez на шнурочке наружу выпустил. У него уже не оставалось никакого имущества и, что хуже всего, никакой серьезной репутации, кроме той шутовской, которую он приобрел у нас своею железною волею. Но она ему, по правде сказать, ни на что полезное не могла пригодиться.

К тому же над ним в это время стряслась еще беда: его покинула его дражайшая половина — и покинула самым дерзким и предательским образом, увезя с собою все, что могла захватить ценного. К вящему горю, Клару Павловну еще все оправдывали,

находя, что она должна была сбежать, во-первых, потому, что у Пекторалиса в доме необыкновенные печи, которые в сенях топятся, а в комнатах не греют, а во-вторых, потому, что у него у самого необыкновенный характер — и такой характер аспидский, что с ним решительно жить невозможно: что себе зарядит в голову, непременно чтобы по его и делалось. Дивились даже, что жена от него ранее не сбежала и не обобрала его в то время, когда он был поисправнее и не все еще перетаскал в штраф Сафронычу.

Таким образом, злополучный Гуго был и кругом обобран, и кругом обвинен во всем, и притом нельзя сказать, чтобы для этого обвинения не существовало совсем основания. Обворовывать его, разумеется, не следовало, но жить с ним действительно, должно быть, было невыносимо, и вот за то он оставался один-одинешенек и, можно было сказать, уже нищ и убог, но все-таки не поддавался и берег свою железную волю. Не в лучшем, однако, положении, как я сказал, был и Сафроныч, который проводил все свое время в трактирах и кабачках и при встречах злил немца желанием ему сто лет здравствовать и двадцать на карачках ползать.

Хотя бы этого, по крайней мере, не было; хотя бы этот позор и поношение от Пекторалиса были отняты — все бы ему было легче.

И вот он, кажется, более для того, чтобы освежить положение, подал на Сафроныча жалобу, чтобы наказать того за эти «карачки», на которых, по мнению Пекторалиса, немцу нет никакого резона ползать.

«Это вот он сам и есть, который сам часто из трактиров на карачках ползает»,— говорил Пекторалис, указывая на Сафроныча; но Сафронычу так же слепо везло, как упрямо не везло Пекторалису,— и судья, во-первых, не разделил взгляда Гуго на самое слово «карачки» и не видал причины, почему бы и немцу не поползти на карачках; а во-вторых, рассматривая это слово по смыслу общей связи речи, в которой оно поставлено, судья нашел, что ползать на карачках, после ста лет жизни, в устах Сафроныча есть выражение высшего благожелания примерного долгоденствия Пекторалису,— тогда как со стороны сего последнего это же самое слово о ползанье Сафроныча из трактиров произносимо *как укоризна*, за которую Гуго и надлежит подвергнуть взысканию.

Гуго своим ушам не верил, он все это считал вопиющею бестолковщиною и возмутительною русскою несправедливостью. Но тем не менее он по просьбе обрадовавшегося Сафроныча был присужден к вознаграждению его десятью рублями и окончательно потерялся. Пекторалис должен был взнести последний грош на удов-

летворение Сафронычу за обиду его «карачками» — и, исполнив это, он почувствовал, что ему уже ничего иного не оставалось, как проклясть день своего рождения и умереть вместе со своею железною волею. Он бы, вероятно, так и сделал, если бы не был связан намерением «пережить» своего врага и прийти есть блины к нему на похороны. Должен же был Пекторалис сдержать это слово!

Пекторалис был некоторым образом в гамлетовском положении, в нем теперь боролись два желания и две воли — и, как человек, уже значительно разбитый, он никак не мог решить, «что доблестнее для души» — наложить ли на себя с железною волею руку, или с железною же волею продолжать влачить свое бедственнейшее состояние?

А десять рублей, отнесенные им в удовлетворение Сафроныча за «карачки», были последние его деньги — и контрибуцию на следующий месяц ему вносить было нечем.

«Ну что же,— говорил он себе,— придут в дом и увидят, что у меня ничего нет... *У меня ничего нет,* и я даже сегодня уже не ел, и завтра... завтра я тоже ничего не буду есть, и послезавтра тоже — и тогда я умру... Да, я умру, но моя воля будет железная воля».

Между тем, когда Пекторалис, находясь в таком ужасном поистине состоянии, переживал самые отчаянные минуты, в судьбе его уже готов был неожиданный кризис, который я не знаю как назвать — благополучным или неблагополучным. Дело в том, что в это же время и в судьбе Сафроныча происходило событие величайшей важности — событие, долженствовавшее резко и сильно изменить все положение дел и закончить борьбу этих двух героев самым невероятнейшим финалом.

XVIII

— Надо сказать, что пока Пекторалис с Сафронычем тягались — и первый, разоряясь, сносил определенными кушами все свои достатки в пользу последнего,— этот, сделавшись настоящим пьяницею, все-таки был в лучшем положении. Этим он был обязан своей жене, которая не бросила Сафроныча, как бросила своего мужа Клара; Марья Матвеевна, напротив, взяла распившегося мужа в руки. Она сама носила за него аренду и сама отбирала у Сафроныча получаемую им с Пекторалиса контрибуцию. Чтобы распьянствовавшийся мужик не спорил с нею и подчинялся установленному женою порядку, она его не отягощала без меры и выдавала ему в день по полтине, которую Сафроныч и имел право расходовать по собственному его усмотрению. Расход этот, разу-

меется, имел одно назначение: Сафроныч в течение дня пропивал свою полтину и к ночи возвращался домой по хорошо известной ему лестнице через забор. Никакая степень опьянения не сбивала его с этой оригинальной дороги. Бог, охраняющий, по народному поверью, младенцев и пьяных, являл над Сафронычем все свое милосердие во тьме, под дождем, снегом и гололедицей; всегда Сафроныч благополучно поднимался по лестнице, достигал вершины забора и благополучно сваливался на другую сторону, где у него на этот случай была подброшена кучка соломы. И он думал продолжать это так долго, как долги сто двадцать лет, которые он сулил жить и ползать Пекторалису. Сафронычу и в ум не приходило, чтобы фонды Пекторалиса иссякли. Где этому статься, чтобы у немца в России денег недостало? Кому-кому, а на их долю все достанет.

Хозяйка же Сафроныча в бабьей простоте «без направления» думала иначе и, переняв все деньги, мужем с Пекторалиса взысканные, собрала капиталец, с которым не хотела более лазить через забор, и купила себе домик — хороший домик, чистенький, веселенький, на высоком фундаменте и с мезонинчиком и с остренькою высокою крышею — словом, превосходный домик, и притом рядом с своим старым пепелищем, где все их дела расстроил железный Гуго.

Эта покупка происходила как раз около того времени, когда Сафроныч судился с Пекторалисом за «карачки», и в тот день, когда бывший чугунщик одержал над немцем неожиданную победу и получил десятирублевый штраф, семья Сафроныча перебиралась в свое новое жилище и располагалась в нем с давно незнакомым ей комфортом.

Сам Сафроныч не принимал в этом никакого участия, и семья, давно считавшая его неблагонадежным, не ожидала его помощи и устраивалась сама, как хотелось и как умела.

Сафроныч же, получив значительную для него сумму в десять рублей, утаил ее от жены, благополучно перебрался с ними в трактир и загулял самым широким загулом. Три дня и три ночи семья его провела уже в своем новом доме, а он все кочевал из трактира в трактир, из кабака в кабачок — и попивал себе с добрыми приятелями, желая немцу сто лет здравствовать и столько же на карачках ползать. В благодушии своем он сделал ему надбавку и вопиял:

«Глупый я человек,— очень глупый: правду мне покойник Жига говорил, что я глуп, а мне неожиданная благодать в сем немце дарована. А за что? «Что есть человек, что ты помниши его, или сын человеч, что ты посещаеши его». Где это сказано?»

«В Писании».

«То-то и есть, что в Писании, а мы много ли про него помним? Ох, как не помним, совсем не помним!»

«Слабы».

«Разумеется, слабы,— червь, а не человек, поношение человеков. А бог захочет — и червя сохранит, устроит тебя так, что лучше требовать нельзя, сам этак никогда и не выдумаешь. Слаб ты — он тебе немца пошлет и живи за его головою».

«Только вот одно гляди,— предостерегали его,— как бы твой немец не измучился да ворот не отпер».

Но одуревший Сафроныч этого не боялся.

«Куда ему отпереть,— отвечал он,— ни за что он не отопрет. Ему перед своею нациею стыдно. У них ведь это уже такое положение, что сказал, то чтобы непременно и сдействовать».

«Ишь ты какие сволочи!»

«Да уж у них это так, особенно же он на суде прямо объяснил: «у меня, говорит, воля железная»,— где же ему с нею справиться. Ему и так тяжело».

«Тяжело».

«Не дай бог этакой воли человеку, особенно нашему брату русскому,— задавит».

«Задавит».

«Давай лучше выпьем, зачем про такое говорить, теперь дело под вечер. Ну, дай бог, чтобы ему сто лет здравствовать и меня пережить».

«И то, брат, пусть переживет».

«И я говорю, пусть переживет, это ему, по крайности, утешением будет».

«Как же!»

«Пусть придет и блинков съест».

«Вот у тебя душа, Сафроныч!»

«Душа у меня добрая, но только, знаешь, пусть он переживает... но только самую крошечку».

«Да, безделицу».

«Вот так, вот так, этого стаканчика по рубчик».

«И хорошо».

«Да; вот по самый по маленький рубчик».

Отмеря это, приятели выпили и еще потом долго выпивали за всякие здоровья — и, наконец, стали пить за упокой души благодетеля приказного Жиги, который устроил им всю эту благостыню, и затянули нестройно и громко «вечную память», но тут-то и произошло то странное начало конца, которое до сих пор осталось ни для кого не объяснимым.

Только что пьяницы пропели покойнику вечную память, как вдруг с темного надворья в окно кабака раздался сильный удар,

глянула чья-то страшная рожа,— и оробевший целовальник в ту же минуту задул огонь и вытолкал своих гостей взашеи на темную улицу. Приятели очутились по колено в грязи и в одно мгновение потеряли друг друга среди густого и скользкого осеннего тумана, в который бедный Сафроныч погрузился, как муха в мыльную пену, и окончательно обезумел.

Едва держась на ногах, долго он старался спрятать в карман захваченный на бегу нераскупоренный штоф водки — и потом хотел было кого-то начать звать, но язык его, после сплошной трехдневной работы, вдруг так сильно устал, что как прилип к гортани, так и не хочет шевелиться. Но и этого мало,— и ноги Сафроныча оказались не исправнее языка, и они так же не хотели идти, как язык отказывался разговаривать, да и весь он стал никуда не годен: и глаза не видят, и уши его не слышат, и только голову ко сну клонит.

«Эге, ну нет, ты, черт тебя возьми, меня этим не обманешь! — подумал Сафроныч,— этак Жига лег спать, да и совсем не встал, а я еще не хочу, чтобы меня немец много пережил. Пусть переживет, да только немножечко».

И он приободрился; сделал еще шагов пять — и, чувствуя, что влез в грязь выше колен, снова остановился.

«Ей-богу, того и гляди, утонешь, не хуже Англии,— повторил он в своих мыслях,— и черт знает, куда это я так глубоко залез, да и где мой дом? А? Где, и исправда, мой дом? Где моя лестница? «Черт с квасом съел?» Кто это там говорит, что мой дом черт с квасом съел? А? Выходи: если ты добрый человек, я тебя водкой попотчую, а не то давай делать русскую войну».

«Давай!» — послышалось из тумана,— и в то же самое время кто-то дал Сафронычу сильную затрещину, от которой тот так и упал в болото.

«Ну, шабаш,— подумал он,— всю память отшибло, и не знаю, что это со мною делается. И куда это к черту все мои приятели делись? Экие пьяницы! Вот уже правда — нехорошо пить с пьяницами, ни за что больше не буду пить с пьяницами. Что? Да кто это со мною все разговаривает? Слышишь, скажи, пожалуйста: чего ты это на мне ищешь? Ничего, братец, не найдешь: а штоф я под себя спрятал. Ага! стой, стой! Зачем же ты меня теперь так больно за вихор? Ведь это беспользительно. А теперь опять за уши — ну, это, разумеется, другое дело, это в память приводит, только опять-таки и это мне больно,— дай я лучше так встану».

И он — сколько волею, столько же неволею и своею охотою — встал и, кажется, пошел. Не то чтобы настояще в этом уверен, а кажется ему, что или идет, или так просто под ним земля убывает,

но только что-то делается-делается, кто-то его ведет, поддерживает и ничего не говорит. Только раз сказал: «А, вот это кто!» — и повел.

«Что это, кто меня ведет? Ну, если это черт? Да и должно быть что-нибудь непутное. А впрочем, пусть только доведет до лестницы, я свой путь узнаю».

И вот привел Сафроныча его поводырь к лестнице и говорит:

«Полезай, да держись за перила покрепче».

Сафронычу в это время после прогулки возвратился язык, и он отвечает:

«Постой, брат, постой, я свое дело тверже тебя знаю: моя лестница без перил».

Но поводырь не стал долго разговаривать и, схватив, начал опять мять уши Сафроныча, точно бересту.

«Вспомнил?» — говорит.

«Ну,— думает Сафроныч,— лучше скажу, что вспомнил»,— и полез.

И как полез он на эту лестницу, так лезет и лезет — и все ей нет конца.

«Ей-богу же это не мой дом!» — соображает Сафроныч, который чем выше стал подниматься, тем яснее припоминать, как, бывало, он поднимался по своей лесенке, и все что шаг кверху, то все ему, бывало, становится светлее и светлее — и звезды, и месяц, и лазурь небесная открывается... Правда, что теперь такая непогодь, но а все же это ни на что не похоже: что ни ступень вверх, то темнее и темнее делается. Отчего же это уже совсем ни зги не видно, и что за темнота в воздухе, что со всех сторон сдавливает, и удушливый запах сажи и золы? И нет этому конца, нет заветного верха забора, с которого Сафронычу давно бы пора сделать низовое движение, а вместо того все дорога идет вверх и вверх,— и вдруг страшный оглушающий удар в темя, такой удар, от которого у бедного Сафроныча не искры, а целые снопы света брызнули из глаз и осветили... кого бы вы думали? — осветили приказного Жигу!

Не думайте, пожалуйста, что это, например, снилось во сне Сафронычу или что-нибудь в этом роде. Нет: это было именно так, как я вам рассказываю. Сафроныч шел вверх по бесконечно длинной лестнице и пришел к Жиге, которого узнал при внутреннем освещении, и сказал:

«Ну, будь на то божья воля, здравствуй!»

А Жига сидит на каменном стуле и тоже кивает ему и отвечает:

«Здравствуй, рад, что ты пожаловал: а то у нас здесь давно на тебя провиант отпускается».

«Да, так это я вот где... Темно же у вас тут в аду; ну да делать нечего, стало быть здесь мой предел».

И Сафроныч сел, достав штоф, выпил сколько вошло и подал Жиге.

XIX

— Меж тем как с заблудившимся пьяным Сафронычем случились такие странные происшествия и он остался проводить время с мертвым Жигою на какой-то необъяснимой чертовской высоте, которую он принимал за кромешную область темного ада,— все его семейные проводили весьма тревожную ночь в своем новом доме. Несмотря на то, что все они страшно устали с переноскою и устройством хозяйства на новом месте, крепкий сон их был беспрестанно нарушаем самым необъяснимым шумом, который начался раньше полуночи и продолжался почти до самого утра. И хозяйке и всем домашним сначала слышалось, что у них над самыми их головами по чердаку кто-то ходит — сначала тихо, как еж, а потом словно начал сердиться: что-то такое переставлял, что-то швырял и вообще страшно возился и не давал покою. Иным казалось даже, что они как будто слышат какой-то говор, какой-то тихий звон и вообще непонятный гул. Просыпавшиеся ко всему этому тревожно прислушивались, будили друг друга, крестились и без противоречий единогласно решили, что причиняемое им сверху беспокойство есть, конечно, не что иное, как проказы какой-нибудь нечистой силы, которая, как всякому православному человеку известно, всегда забирается в новые дома ранее хозяев и размещается преимущественно на вышках, сеновалах и чердаках, вообще в таких местах, куда не ставят образа.

Очевидно, с доброю семьею Сафроныча стряслось то же самое, то есть черт забежал в их новый дом прежде, чем они туда переехали. Иначе это не могло быть, потому что Марья Матвеевна как только вошла в дом, так сейчас же собственною рукою поделала на всех дверях мелом кресты — и в этой предусмотрительности не позабыла ни бани, ни той двери, которая вела на чердак. Следовательно, ясно, что нечистой силе здесь свободного пути не было, и также ясно, что она забралась сюда ранее.

Но оказалось, что могло быть и иначе: когда после этой тревожной ночи наступило утро и с приближением его успокоился чертовский шум и прошел страх, то вышедшая впереди всех из комнаты Марья Матвеевна увидела, что дверь на чердачную лестницу была открыта настежь, и меловой крест, сделанный рукою этой благочестивой женщины, таким образом скрылся за створом и оставил вход для дьявола ничем не защищенным.

Марья Матвеевна, обнаружив эту оплошность, тотчас же произвела дознание, кто вчера последний лазил на чердак.

После долгих об этом исследований и препирательств среди младших членов семейства подозрения, а потом и довольно сильные улики пали на одну из младших дочерей, босоногую Феньку, которая родилась с заячьей губою и за это не пользовалась в семье ничьим расположением. Если еще кто-нибудь оказывал ей какое-нибудь сострадание, то это разве пьяный отец, который в акте рождения дитяти с заячьей губою не видал большой собственной вины ребенка и даже не проклинал и не бил ее. Девочка эта жила, что называется, в полном семейном загоне, она велась впроголодь, употреблялась на самые черные послуги, спала на полу, ходила босиком, без теплого шушуна и в затрапезных лохмотьях. Ясные улики говорили, что она одна последняя ходила вчера поздно вечером с фонарем наверх «кутать трубу» и, всего вероятнее, по своей ребячьей трусливости слетела оттуда сломя голову и забыла запереть за собою дверь, а так и оставила ее, отмахнув к стене тою стороною, где был начертан рукою Сафронихи меловой крест — «орудие на супостата». Затем, разумеется, ясно, как супостат этим воспользовался,— проскочил на чердак и очень рад, что может не давать доброму семейству целую ночь покоя. Конечно, и у него тоже, вероятно, свои хлопоты, потому что и ему тоже надо было устроиться; но Марья Матвеевна была на этот счет эгоистка, она не имела снисхождения к чужой необходимости и взялась поправлять дело с подвержения виновной строгой и беззаконной ответственности. Отыскав за печью трегубую Феньку, она привела ее за вихор к двери и начала ее здесь трясти и приговаривать:

«Вот, чтобы по твоим следам черт не ходил, я эту дверь твоим лбом затворю».

И она, точно, стукнула лбом девочки в дверь и наложила клямку, но едва только это было сделано, нечистая сила снова взбудоражилась и притом с неожиданным и страшным ожесточением. Прежде чем смолк жалостный писк ребенка, над головами всей собравшейся здесь семьи наверху что-то закрутилось, забегало и с противуположной стороны в дверь сильно ударил брошенный с размаха кирпич.

Это уже была слишком большая наглость. С детства знакомая со всеми достоверными преданиями о чертях и их разнообразных проделках в христианских жилищах, Марья Матвеевна хотя и слыхала, что черти чем попало швыряются, но она, по правде сказать, думала, что это так только говорится, но чтобы черт осмеливался бушевать и швырять в людей каменьями, да еще среди белого дня — этого она не ожидала и потому не удивительно, что у нее опустились руки, а освобожденная из них девочка тотчас же вы-

скочила и, ища спасения, бросилась на двор и стала метаться по закуткам. Но лишь только за этою виновницею всеобщего беспокойства по тому же по двору бросилась погоня, бес ожесточился и опять взялся за свое дело. Руки у него, надо полагать, были отлично материализованы, потому что и целые кирпичи и обломки летели в людей, составлявших погоню, с такою силою и таким ожесточением, что все струсили за свою жизнь и, восклицая «с нами крестная сила», все, как бы по одному мановению, бросились в открытый курятник, где и спрятались в самом благонадежном месте — под насестью.

Бесспорно, что здесь им было очень хорошо в том отношении, что черт здесь, конечно, уже ничего никому сделать не мог, потому что на насести поет полуночный петух, имеющий на сей предмет особые, таинственные повеления, насчет которых дьяволу известно кое-что такое, чего он имеет основание побаиваться; но все же нельзя же тут и оставаться. В сумерки придут сюда куры — и позиция, занятая под их решеткою, будет небезопасна в другом роде.

XX

— И вот, как только скрывшиеся в курятнике люди мало-помалу оправились от обуявшей их паники, с ними произошло то, что происходит с большинством всех суеверов и трусов на свете: от страха они начали переходить к некоторому скептицизму. Первая зашевелилась батрачка Марфутка, очень живая молодая бабенка, которой совсем не нравилось долго оставаться без всякого движения в курятнике, за ней последовал батрак Егорка, хромой, но очень шустрый рыжий парень, имевший привычку везде, где можно, шептаться с батрачкою Марфуткой. Оба они и на этот раз обратились к своему любимому занятию — и, пошептавшись, пришли, можно сказать, к самым неожиданным результатам: их давно один с другим гармонировавшие умы прозрели в сокровенную глубь вещей и заподозрили, что, может быть, все это дело не чисто совсем с иной стороны.

Им пришло в голову, что вся эта ночная возня и теперешняя канонада производилась совсем не чертом, а каким-нибудь негодным человеком, которым, всего вероятнее и даже непременнее, по их выводам, мог быть немец Пекторалис.

Со злости и с зависти, подлец, залез да и швыряется.

Марья Матвеевна, услыхав это, даже руками всплеснула, так это показалось ей вероятным. И вот сейчас же из курятника была выпущена вылазка, с целью ближайшего дознания и принятия надлежащих мер к пресечению злоумышленнику средств к отступлению.

Батрак Егорка с Марфуткою, схватясь рука за руку, выбежали из курятника, сняли замок с амбара и заперли им чердачную дверь — и, пошептавшись, о чем знали, в сенях, направились в разные стороны. Егорка побежал оповестить соседним людям о происшествии и созвать их на выемку засевшего на чердаке немца, а Марфутка стала у дверей с ёмками, чтобы бить Пекторалиса, если он пойдет сквозь дверь какою-нибудь своею немецкою хитростию. Но немец сидел смирно и Марфутке не показывался. Зато лишь только Егорка выскочил за калитку и бросился во всю прыть к базарному месту, он на самом повороте за угол столкнулся нос к носу с Гуго Карловичем. Это так поразило бедного парня, что он в первую секунду не знал, что делать, но потом схватил немца за ворот и закричал: «Караул!» Не ожидавший этого Пекторалис треснул Сафронычева батрака по голове сложенным дождевым зонтиком и отшвырнул его в лужу. Странная смесь ощущений от этого мягкого, но трескучего удара зонтиком и быстрого полета в грязь так удивила Егорку, что он только сидел в луже и кричал:

«Чур меня, чур!»

Все внушенные Егорке Марфуткою подозрения рассеялись. Как ни прост был этот бедный парень, он, однако, должен был сообразить, что если немец не пролез сквозь запертую амбарным замком дверь, то надо полагать, что на чердаке шалит не он, а кто-нибудь другой. И тут слабый ум Егорки, не поддерживаемый Марфуткою, опять начал склоняться к обвинению во всем домашнем беспокойстве черта. Так он и представил это дело всей базарной публике, которая очень обрадовалась новости — и в полном сборе, толпою повалила к дому Марьи Матвеевны, где, по докладу Егорки, происходили такие редкостные, хотя, впрочем, конечно, как всякий спирит подтвердить может,— самые вероятные дела, обличающие нынче у некоторых ученых людей близость к нам существ невидимого мира.

XXI

— До вечера у Марьи Матвеевны перебывал весь город, все по нескольку раз переслушали рассказ о сверхъестественном ночном и утреннем происшествии. Являлась даже и какая-то полиция, но от нее это дело скрывали, чтобы, храни бог, не случилось чего худшего. Приходил и учитель математики, состоящий корреспондентом ученого общества. Он требовал, чтобы ему дали кирпичи, которыми швырял черт или дьявол,— и хотел их послать в Петербург.

Марья Матвеевна ему в этом решительно отказывала, боясь, чтобы ей за это чего худого не сделали; но вострая Марфутка сбегала в баню и принесла оттуда кирпич из-под припечки.

Учитель взял вещественное доказательство и понес его к аптекарю, с которым они его долго рассматривали, нюхали, потом оба лизнули, облили какою-то кислотою и оба разом сказали:

«Это кирпич».

«Это смело можно сказать, что кирпич».

«Да»,— отвечал аптекарь.

«Его даже, кажется, можно и не посылать?»

«Да, кажется, можно»,— отвечал аптекарь.

Но люди верующие, которым нет дела ни до каких анализов, проводили свое время гораздо лучше и извлекли из него более для себя интересного: некоторые из них, отличавшиеся особенною чуткостью и терпением, сидели у Сафронихи до тех пор, пока сами сподобились слышать сквозь дверь, как на чердаке кто-то как будто вздыхает и тихо потопывает, точно душа, в аду мучимая. Правда, что и среди них тоже находились дерзкие; так, кто-то и здесь подал было голос в пользу осмотра чердака через слуховое окно, но эта дерзость так всем и показалась дерзостию и сейчас же была единогласно отвергнута. Притом же здесь принято было в расчет и то, что предлагаемый осмотр был далеко не безопасен, так как из этого же самого слухового окна, о котором шла речь, тоже недавно еще летели камни, и канонада эта могла возобновиться. А потому тот, кто посягнул бы на эту обсервацию, легко мог подвергнуться немалой неприятности.

Матвеевна, как женщина, прибегла к патентованному женскому средству — к жалобе.

«Разумеется,— говорила она,— если бы у меня, как у других прочих, был такой муж, как надобно, то есть хозяин, так это его бы дело слазить и все это высмотреть. Но ведь мой муж в слабости, вот его пятый день и дома нет».

«Правда,— отвечали ей соседки,— хозяина и лукавый не бьет».

«Ну, бить, положим, как не бьет».

«Ну да ежели и бьет, так все же это его дело».

А о Сафроныче все не было ни слуха ни духа, и никто не знал, где его и искать, в каком кабачке. Может быть, он ушел далеко-далеко в какую-нибудь деревеньку и пьянствует.

«О нем нечего думать, матушка Марья Матвеевна,— говорили все в один голос,— а надо скорее думать, что учредить на сатану лучшее».

«Да что же, отцы мои, что лучше? Советуйте».

«Один тебе, родимая, совет: либо чеботаря Фоку кликнуть, чтобы он выманул беса, либо воду освятить».

«Что вы, что вы про Фоку вспоминаете,— и так тут невесть что деется, а Фока совсем сам бесово племя».

«Именно, разве бес беса погонит?»

«Ну, если так судите, то остается воду святить».

«А воду освятить я согласна, и еще к ночи это думала, да повернулась и опять забыла; а теперь как уберусь, так пирогов напеку и подниму икону, и пущай поют водосвятие... Да вот только Сафроныча дома нет».

«Ну, где его теперь ждать!»

«Разумеется, нельзя ждать, а все бы лучше, да он же и службу, голубчик мой, любит и, бывало, сам чашу перед священником по всем комнатам носит и сам молитвы поет. Как без него это и делать — не знаю, и кого звать — не вздумаю».

«Протопопа позовите, он старший, его бес скорее испужается».

«Ну, легко ли кого звать, табачника. Нет, бог с ним, он папиросы сосет, я лучше отца Флавиана позову».

«И отца Флавиана хорошо».

«Грузен он очень».

«Да; мягенький да пухленький и очень добр, и тоже он намедни у Ильиных толчею святил, очень хорошо святит. Только чтобы во всех местах хорошенько побрызгал, а то ведь он тучен, в иное место не подлезет — и этак зря, как попало, издаля кропит».

«За этим смотреть будем».

«Да, вот если есть кто опытный смотреть, так ничего».

«Разумеется, надо смотреть, чтобы крест-накрест брызгал и приговаривал. А он ведь, отец-то Флавиан, он по своей полноте в эту дверь на чердак не пройдет».

«Да, он не пройдет».

«Разве расширить, что ли, ее? Это опять убытку много».

«Это убыточно».

«А вы вот что: отец Флавиан-то пусть посвятит, а кропить-то на чердак дьякон Савва полезет. Право, его попросите, он такой подчегаристый — всюду пройдет. Это самое лучшее, а то отец Флавиан с своею утробой на этой лестнице еще, пожалуй, обломится и сам убьется».

«Храни боже такого греха, пусть живет, старец добрый и угодливый! Я раз родами мучилась, послала протопопа просить, чтобы царские двери отворили, ни за что не захотел».

«Видно, мало дали».

«Рубль посылала; а отец Флавиан, голубчик, за полтинник во всю ширь размахнул».

«Да; он старик добродетельный, он пусть тут внизу останется да приговаривает, а наверх пусть с водою и с кропилом один дьякон Савва полезет. Ему ничего, если с ним что такое и случится, у него

дьяконица всякий месяц один раз с ума сходит, чай ему уже давно и жизнь-то надоела».

«Да, он ничего, он пойдет, он дьякон уважительный, куда хочешь полезет и все как надо выкропит, а вы только за ним присмотрите, чтобы не спешил, не как попало, а крест-накрест брызгал».

«Уже я за ним присмотрю,— отвечала Марья Матвеевна,— я, пожалуй, даже и сама с ним, что бог даст, на отвагу полезу, только чтобы от этого помоглося».

«Ну уже чего еще, если все это как надо сделать, да чтобы не помогло! Надо только чтобы как можно скорее да духовнее».

«Родные мои, да чего же еще духовнее? — отвечала Марья Матвеевна,— сейчас велю Марфутке пироги ставить, а Егорку к отцу Флавиану пошлю, чтобы завтра, как раннюю кончит, ко мне бы и двигал».

«Чудесно, Марья Матвеевна».

«Да чего же откладывать, разве же мне самой хорошо в одном доме с бесом жить и ждать, что он, мерзавец, швырять будет. Будь у меня пироги, я бы даже и до завтра этой мольбы не оставила».

«Нет, без пирогов, Марья Матвеевна, не делайте, без этого духовенству нельзя, отец же Флавиан сам как хлопок и всякое тесто любит»,— подтвердили Марье Матвеевне ее советники и затем положили: еще один день и одну ночь как-нибудь злополучной семье перебедовать, а между тем поставить пироги и послать Егорку к отцу Флавиану, чтобы завтра прямо от ранней обедни пожаловал с дьяконом Саввою к Марье Матвеевне на дому воду посвятить и дьявола выгнать, а потом мягкого пирожка откушать.

Отец Флавиан, грузный-прегрузный и как пуховик мягкий, подагрический старик, в засаленной камилавке, с большою белой бородой и обширным чревом, выслушав от Егорки всю историю о бесе и призыв к его изгнанию, пропищал в ответ тоненьким детским голоском:

«Хорошо, дитя, скажи, пусть готовится, будем и справимся; только пусть мне пирожка два либо три с морковкою защипнут, а то у меня напоследях стало что-то нутро слабо. А сам Василий Сафроныч еще не бывал дома?»

«Не бывал».

«Ну что делать, без него справимся, пусть пекут пирожки, справимся... Да того... полотенце чтобы большое сготовили, потому что в этом случае я ведь буду самый большой крест макать».

Егорка возвратился домой бегом и с прискоком и, проходя мимо слухового окна, даже дьяволу шиш показал. Да и все при-

ободрились, решив, что одну ночь как-нибудь уже можно прокоротать, а чтобы не было очень страшно, то все легли вместе в одной комнате, и только Егорка поместился на кухне, при Марфутке, чтобы той не страшно было ночью вставать переваливать тесто, которое роскошно грелось и подходило под шубою на краю печки.

Бес между тем совсем присмирел, он точно как будто прознал обо всем, что на его голову затевалось. Целый день он не сделал никому из семейства никакой гадости, только кое-кому слышалось все, что он как будто сопел; а к ночи, когда стал забирать большой мороз, начал будто даже и покряхтывать и зубами щелкать. Это и во всю ночь слышалось и Марье Матвеевне и всем, кто на более или менее короткое время просыпался, но никого сильно это не тревожило; всякий говорил только: «Так ему, врагу христианскому, и надо»,— и, перекрестясь, поворачивался на другой бок и засыпал.

Но, увы, такое пренебрежение, однако, было еще несвоевременно, оно вывело злого духа из терпения, и в тот самый момент, как у церкви отца Флавиана раздался третий удар утреннего колокола, на чердаке у Марьи Матвеевны послышался самый жалостный стон, и в то же самое время в кухне что-то рухнуло и полетело с необъяснимым шумом.

Марья Матвеевна вскочила и, забыв весь страх, выбежала в чем была на этот разгром и остолбенела от новой бесовской каверзы.

Перед нею на полу у самой печи, на краю которой подходило в корчаге пирожное тесто, стоял Егорка, весь с головы до ног обмазанный тестом, а вокруг него валялись черепки разбитой корчаги.

И Марья Матвеевна, и Егор, и спустившая ноги с печи батрачка Марфутка, все втроем так были этим озадачены, что в один голос крикнули:

«А, чтоб тебе пусто было!»

Таким-то недобрым предзнаменованием начался этот новый день, которому суждено было осветить борьбу отца Флавиана и дьякона Саввы с загадочным существом, шумевшим на чердаке и дошедшим до той крайней дерзости, чтобы выбросить из горшка все тесто, назначенное на пироги духовенству.

И когда это, в какое время? Когда уже нельзя было завести новой опары и когда о железное кольцо калитки звякал рукою сухой, длинный пономарь, тащивший луженую чашу.

Как теперь все это уладить, чтобы не пострадало дело, которое имело такое дурное начало и могло иметь еще худший конец?

По правде сказать, все это было гораздо интереснее, чем весь Пекторалис, к судьбе которого это, по-видимому, весьма стороннее обстоятельство имело самое близкое и роковое касательство.



Железная воля

XXII

— Марья Матвеевна была в страшном горе по поводу происшествия с тестом; она решительно не знала, как объявить отцу Флавиану, что ему нет пирогов с морковью, и решилась не смущать его этим, по крайней мере, до тех пор, пока он отслужит водосвятие. Как женщина благоразумная и опытная, она держалась выжидательного метода и была уверена, что время большой фокусник, способный помочь там, где уже, кажется, и нет никакой возможности ждать помощи. Так и вышло, водосвятие было начато тотчас же, как пришло духовенство, а прежде чем служба была окончена, дело приняло такой неожиданный оборот, что о пирогах с морковью некогда стало и думать.

Случилось вот что: едва в конце молебна дьякон Савва начал возглашать многолетие хозяевам, как в чердачную дверь, которая оставалась до сих пор замкнутою, послышался нетерпеливый стук, и чей-то как будто знакомый, но упавший голос заговорил:

«Отоприте мне, отоприте!»

Сначала это, разумеется, произвело общий переполох, и все присутствующие бросились в перепуге к отцу Флавиану...

Зрелище, открытое дверью, действительно было самое неожиданное: на последней ступеньке лестницы в двери стоял сам Сафроныч или бес, принявший его обличье. Последнее, конечно, было вероятнее, тем более что привидение или лукавый дух хоть и хитро подделался, но все-таки не дошел до оригинала; он был тощее Сафроныча, с мертвенною синевою в лице и почти с совершенно угасшими глазами. Но зато как он был смел! Нимало не испугавшись кропила, он тотчас же подошел к отцу Флавиану, подставил горсточку и сам ждал, чтобы тот его покропил, что отец Флавиан и исполнил. Тогда Сафроныч приложился к кресту и, как ни в чем не бывало, пошел здороваться с семейными. Марья Матвеевна волей-неволей должна была признать в этом полумертвеце своего настоящего мужа.

«Где же ты был, мой голубчик?» — спросила она, исполнясь к нему сострадания и жалости.

«Там, куда меня бог привел за наказание, там и сидел».

«Это ты и стучал?»

«Должно быть, я стучал».

«Но зачем же ты швырялся?»

«А вы зачем девчонку обижали?»

«А ты зачем же сам вниз не лез?»

«Как же я мог против определения... Вот когда я многолетний глас услыхал, я сейчас и спустился... Чайку мне, чайку потеплее,

да на печку меня пустите, да покройте тулупчиком»,— заговорил он поспешно своим хриплым и слабым голосом и, поддерживаемый под руки батраком и женою, полез на горячую печь, где его и начали укутывать тулупами, меж тем как дьякон Савва этим временем обходил с кропилом весь чердак и не находил там ничего особенного.

Понятно, что после такого открытия о большом угощении уже нечего было думать; появление Сафроныча в этом жалостном виде заставило свертеть все это кое-как, на скорую руку, и Флавиан удовольствовался только горячим чаем, который кушал, сидя в широком кресле, поставленном возле печки, где отогревался Сафроныч и кое-как отвечал на ша́больно предлагаемые ему вопросы.

Все последние события представлялись Сафронычу таким образом, что он был где-то, лез куда-то и очутился в аду, где долго беседовал с Жигою, открывшим ему, что даже самому сатане уже надоела их ссора с Пекторалисом,— и все это дело должно кончиться. Не противясь такому решению, Сафроныч решил там и остаться, куда он за грехи свои был доставлен, и он терпел все, как его мучили холодом и голодом и напускали на него тоску от плача и стонов дочки; но потом услыхал вдруг отрадное церковное пение и особенно многолетие, которое он любил,— и когда дьякон Савва помянул его имя, он вдруг ощутил в себе другие мысли и решился еще раз сойти хоть на малое время на землю, чтобы Савву послушать и с семьею проститься.

Толковее этого бедный человек ничего не мог рассказать, да и отцу Флавиану жаль было его больше неволить. Бедняк был в самом жалком положении, все он грелся и дрожал, не мог согреться. К вечеру, придя немножко в себя, он пожелал поисповедаться и приготовиться к смерти, а через день действительно умер.

Все это совершилось так неожиданно и скоро, что Марья Матвеевна не успела прийти в себя, как ей уже надо было хлопотать о похоронах мужа. В этих грустных хлопотах она даже совсем не обратила должного внимания на слова Егорки, который через час после смерти Сафроныча бегал заказывать гроб и принес странное известие, что «немец на старом дворе отбил ворота», из-за которых шла долгая распря, погубившая и Пекторалиса и Сафроныча.

Теперь враг Пекторалиса был мертв, и Гуго мог, не нарушая обетов своей железной воли, открыть эти ворота и перестать платить разорительный штраф, что он и сделал.

Но должен был исполнить еще другое Пекторалис обязательство: переживя Сафроныча, он должен был прийти к нему на похороны есть блины,— он и это выполнил.

XXIII

— Только что духовенство, гости и сама вдова, засыпав на кладбище мерзлою землею могилу Сафроныча, возвратились в новый дом Марьи Матвеевны и сели за поминальный стол, как дверь неожиданно растворилась, и на пороге показалась тощая и бледная фигура Пекторалиса.

Его здесь никто не ждал, и потому появление его, разумеется, всех удивило, особенно огорченную Марью Матвеевну, которая не знала, как ей это и принять: за участие или за насмешку? Но прежде чем она выбрала роль, Гуго Карлович тихо и степенно, с сохранением всегдашнего своего достоинства, объявил ей, что он пришел сдержать свое честное слово, которое давно дал покойному,— есть блины на его похоронном обеде.

«Что же, мы люди крещеные, у нас гостей вон не гонят,— отвечала Марья Матвеевна,— садитесь, блинов у нас много расчинено. На всю нищую братию ставили, кушайте».

Гуго поклонился и сел, даже в очень почетном месте, между мягким отцом Флавианом и жилистым дьяконом Саввою.

Несмотря на свой несколько заморенный вид, Пекторалис чувствовал себя очень хорошо: он держал себя как победитель и вел себя на тризне своего врага немножко неприлично. Но зато и случилось же здесь с ним поистине курьезное событие, которое достойно завершило собою историю его железной воли.

Не знаю, как и с чего зашло у них с дьяконом Саввою словопрение об этой воле — и дьякон Савва сказал ему:

«Зачем ты, брат Гуго Карлович, все с нами споришь и волю свою показываешь? Это нехорошо...»

И отец Флавиан поддержал Савву и сказал:

«Нехорошо, матинька, нехорошо; за это тебя бог накажет. Бог за русских всегда наказывает».

«Однако я вот Сафроныча пережил; сказал — переживу, и пережил».

«А что и проку-то в том, что ты его пережил, надолго ли это? Бог ведь за нас неисповедимо наказывает, на что я стар — и зубов нет, и ножки пухнут, так что мышей не топчу, а может быть, и меня не переживешь».

Пекторалис только улыбнулся.

«Что же ты зубы-то скалишь,— вмешался дьякон,— неужели ты уже и бога не боишься? Или не видишь, как и сам-то зачичкался? Нет, брат, отца Флавиана не переживешь — теперь тебе и самому уже капут скоро».

«Ну, это мы еще увидим».

«Да что «увидим»? И видеть-то в тебе стало уже нечего, ког-

да ты весь заживо ссохся; а Сафроныч как жил в простоте, так и кончил во всем своем удовольствии».

«Хорошо удовольствие!»

«Отчего же не хорошо? Как нравилось, так и доживал свою жизнь, все с примочечкой, все за твое здоровье выпивал...»

«Свинья»,— нетерпеливо молвил Пекторалис.

«Ну вот уже и свинья! Зачем же так обижать? Он свинья, да пред смертью на чердаке испостился и, покаясь отцу Флавиану, во всем прощении христианском помер и весь обряд соблюл, а теперь, может быть, уже и с праотцами в лоне Авраамовом сидит да беседует и про тебя им сказывает, а они смеются; а ты вот не свинья, а, за его столом сидя, его же и порочишь. Рассуди-ка, кто из вас больше свинья-то вышел?»

«Ты, матинька, больше свинья»,— вставил слово отец Флавиан.

«Он о семье не заботился»,— сухо молвил Пекторалис.

«Чего, чего? — заговорил дьякон.— Как не заботился? А ты вот посмотри-ка: он, однако, своей семье и угол и продовольствие оставил, да и ты в его доме сидишь и его блины ешь; а своих у тебя нет,— и умрешь ты — не будет у тебя ни дна, ни покрышки, и нечем тебя будет помянуть. Что же, кто лучше семью-то устроил? Разумей-ка это... ведь с нами, брат, этак озорничать нельзя, потому с нами бог».

«Не хочу верить»,— отвечал Пекторалис.

«Да верь не верь, а уж дело видное, что лучше так сыто умереть, как Сафроныч помер, чем гладом изнывать, как ты изнываешь».

Пекторалис сконфузился; он должен был чувствовать, что в этих словах для него заключается роковая правда,— и холодный ужас объял его сердце, и вместе с тем вошел в него сатана,— он вошел в него вместе с блином, который подал ему дьякон Савва, сказавши:

«На тебе блин и ешь да молчи, а то ты, я вижу, и есть против нас не можешь».

«Отчего же это не могу?» — отвечал Пекторалис.

«Да вон видишь, как ты его мнешь, да режешь, да жустеришь».

«Что это значит «жустеришь»?

«А ишь вот жуешь да с боку на бок за щеками переваливаешь».

«Так и жевать нельзя?»

«Да зачем его жевать, блин что хлопочек: сам лезет; ты вон гляди, как их отец Флавиан кушает, видишь? Что? И смотреть-то небось так хорошо! Вот возьми его за краечки, обмокни хорошень-

ко в сметанку, а потом сверни конвертиком, да как есть, целенький, толкни его языком и спусти вниз, в свое место».

«Этак нездорово».

«Еще что соври: разве ты больше всех, что ли, знаешь? Ведь тебе, брат, больше отца Флавиана блинов не съесть».

«Съем»,— резко ответил Пекторалис.

«Ну, пожалуйста, не хвастай».

«Съем!»

«Эй, не хвастай! Одну беду сбыл, не спеши на другую».

«Съем, съем, съем»,— затвердил Гуго.

И они заспорили,— и как спор их тут же мог быть и решен, то ко всеобщему удовольствию тут же началось и состязание.

Сам отец Флавиан в этом споре не участвовал: он его просто слушал да кушал; но Пекторалису этот турнир был не под силу. Отец Флавиан спускал конвертиками один блин за другим, и горя ему не было; а Гуго то краснел, то бледнел и все-таки не мог с отцом Флавианом сравняться. А свидетели сидели, смотрели да подогревали его азарт и приводили дело в такое положение, что Пекторалису давно лучше бы схватить в охапку кушак да шапку; но он, видно, не знал, что «бежка́ не хвалят, а с ним хорошо». Он все ел и ел до тех пор, пока вдруг сунулся вниз под стол и захрапел.

Дьякон Савва нагнулся за ним и тянет его назад.

«Не притворяйся-ка,— говорит,— братец, не притворяйся, а вставай да ешь, пока отец Флавиан кушает».

Но Гуго не вставал. Полезли его поднимать, а он и не шевелится. Дьякон, первый убедясь в том, что немец уже не притворяется, громко хлопнул себя по ляжкам и вскричал:

«Скажите на милость, знал, надо как здоро́во есть, а умер!»

«Неужли помер?» — вскричали все в один голос.

А отец Флавиан перекрестился, вздохнул и, прошептав «с нами бог», подвинул к себе новую кучку горячих блинков. Итак, самую чуточку пережил Пекторалис Сафроныча и умер бог весть в какой недостойной его ума и характера обстановке.

Схоронили его очень наскоро на церковный счет и, разумеется, без поминок. Из нас, прежних его сослуживцев, никто об этом и не знал. И я-то, слуга ваш покорный, узнал об этом совершенно случайно: въезжаю я в день его похорон в город, в самую первую и зато самую страшную снеговую завируху,— как вдруг в узеньком переулочке мне встречу покойник, и отец Флавиан ползет в треухе и поет: «святый боже», а у меня в сугробе хлоп, и оборвалась завертка. Вылез я из саней и начинаю помогать кучеру, но дело у нас не спорится, а между тем из одних дрянных воротишек

выскочила в шушуне баба, а насупротив из других таких же ворот другая — и начинают перекрикиваться:

«Кого, мать, это хоронят?»

А другая отвечает:

«И-и, родная, и выходить не стоило: немца поволокли».

«Какого немца?»

«А что блином-то вчера подавился».

«А хоронит-то его отец Флавиан?»

«Он, родная, он, наш голубчик: отец Флавиан».

«Ну, так дай бог ему здоровья!»

И обе бабы повернулись и захлопнули калитки.

Тем Гуго Карлыч и кончил, и тем он только и помянут, что, впрочем, для меня, который помнил его в иную пору его больших надежд, было даже грустно.

<1876>

ОДНОДУМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В царствование Екатерины II у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю кн. Гагарина, значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится «довольно деятельная торговля известью и дегтем». В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозванию «Однодум».

Родители Алексашки имели собственный дом — один из тех домиков, которые в здешней лесной местности *ничего не стоят*, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или, по крайней мере, о них мне ничего не сказано.

Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, «ничего не стоил». Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет»,— простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.

Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным — с кашею и горохом; вдова выносила их в ночвах на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку «мастерице»; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.

Дьяк, «отучив» Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.

Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю.

Молодой Рыжов породою удался в мать: он был рослый, плечистый,— почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал *стеною* на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов,— та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.

В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А по-

тому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.

В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые *носили* суму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц «на своих харчах и при своей обуви». Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?

Всякий, кому довелось о том слышать,— раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку.

— Он,— говорили,— сирота: ему больше господь простит,— особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на суд предстанет, одно отвечать: «не разумел, господи», да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?

Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка,— не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудак «Однодум». Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была Библия.

Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову «вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места,— опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги.

Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать,— надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.

Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое боговедение которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие.

Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятилетнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру».

— Стану,— говорит,— бывало, и воплю встречь воздуху:

«Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь,— всякое сердце в плач. Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хощу. Не приходите явитися ми. И аще принесете ми семидал — всуе; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. Егда простреcте руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления,— не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитеся добро творити, и приидите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное — убелю их яко снег. Но князи не покоряются,— общницы татем любяще дары,

гоняще воздаяние — сего ради глаголет саваоф: горе крепким,— не престанет бо ярость моя на противныя».

И выкрикивал сирота-мальчуган это «горе, горе крепким» над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем «сухие кости» лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.

Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе,— по его словам: «дышал любовью и дерзновением».

Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.

Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.

Впереди нас ожидает довольно образцов его задо́хнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградою.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был «третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего — монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством; за ним второе — губернатор, который правит губерниею, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье — городничий, «сидящий на городу». Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек,— одинаково ногами перебирали.

Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, попортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно,— по крайней мере, для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.

Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу «Однодум»,— все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им «сопряжено со страхом»; они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их «сретали» с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их «в восприемники к купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили «ризки» и принимали почет «в лице пославшего». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезному.

Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый квартальный, и Рыжов задумал проситься на его место.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалованья по этой четвертой в государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый квартальный «донимал» с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь «по касающемуся делу». Без этого «донимания» невозможно было обходиться, и даже сами вольтерианцы против

этого не восставали. О «неберущем» квартальном никто и не думал, и потому если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи.

Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов,— и он был сделан солигаличским квартальным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки: блюсти вес верный и меру полную и утрясенную.

Городничий сделал ему только одно внушение:

— Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай.

Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.

Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частию урезонил, а частию поучил рукою властною, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему «царь жалует, а мзду брать бог запрещает».

День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному ухо надрал, да будошникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будошниках.

— Проводят,— говорит,— они время в праздности и спросонья ходят без надобности,— людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу; одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало; но будошников кто думал спрашивать, а закон... городничий судил о нем русским судом: «закон — что конь: куда надо — туда и вороти его». Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «в поте лица твоего ешь хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние «приставники» — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу,— «потному».

И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйкий досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда: не сва́рился народ — не кормил воевод,— ниоткуда ничто не касалося, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.

Городничий возмутился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение.

Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.

— Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подобающий, и уничтожится тогда ему оная его непомерная гордыня, и он прикоснется.

— Пресеку,— отвечал городничий и сказал Рыжову: — Твоей матери на торгу сидеть не годится.

— Хорошо,— отвечал Рыжов и взял мать с ночвами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему,— не прикасался.

Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупо похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.

Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не хо-

дил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.

К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.

Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, «скаредно», чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста не заказал.

Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли,— первая за пригон на ее огород бударей, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее «характере сопротивления».

В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал:

— За усердие благодарю, а даров не приемлю.

Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые манишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудак и этого не взял.

— Нельзя,— говорит,— дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не нахожу.

Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово.

— Вот бы,— говорит,— кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.

Протопоп осердился,— велел жене молчать, а сам все лежал да думал:

«Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать».

Так он этим забредил и с бреду составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.

Подходил великий пост, и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия.

С этою целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и, гневом божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного и за что он всего касающего чуждается и даров не приемлет. А затем сказал:

— Увидим по открытому страхом виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух.

Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кийждо своя отыскать может.

Городничий тоже сделал свое дело.

— Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе,— сказал он,— надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение.

Рыжов отвечал, что он согласен.

— Изволь же, братец, говеть и исповедаться.

— Согласен,— отвечал Рыжов.

— И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячучись. Я к протопопу на дух хожу,— он всех в духовенстве опытнее,— и ты к нему иди.

— Пойду к протопопу.

— Да; и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду,— так и разделимся.

— И на это согласен.

Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти.

— Каялся,— говорит,— в одном, другом, в третьем,— во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня «по касающему» доносить не думает. А что «даров не приемлет»,— то это по одной вредной фантазии.

— Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается?

— Библии начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило!

— Да; начитался от скуки и позабыть не может.

— Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?

— Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

— Неужели до самого до «Христа» дошел?

— Всю, всю прочитал.

— Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато этакие люди что юродивые,— они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова «по касающему», отец протопоп преподал городничему мудрый, но жестокий совет,— чтобы женить Александра Афанасьевича.

— Женатый человек,— развивал протопоп,— хотя и «до Христа дочитается», но ему свою честность соблюсти трудно: жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так доймет, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, а станет к дарам приимчив и начальству предан.

Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политичных должностях ненадежны.

— Как хочешь,— говорит,— брат, а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься.

— Почему?

— Холостой.

— Что же в том за укоризна?

— В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что? — схватил свою бибель да и весь тут.

— Весь тут.

— Вот это и неблагонадежно.

— А разве женатый благонадежнее?

— И сравненья нет; из женатого я,— говорит,— хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет, а холостой сам что птица,— ему доверить нельзя. Так вот — либо уходи, либо женись.

Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, нимало не смутился и отвечал:

— Что же,— и женитьба вещь добрая, она от бога показана: если требуется — я женюсь.

— Но только ты руби дерево по себе.

— По себе вырублю.

— И выбирай поскорее.

— Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие.

Городничий над ним посмеялся:

— Ишь ты,— говорит,— греховодник,— будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел.

— Где грехам не водиться! — отвечал Александр Афанасьевич,— полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть.

— А где она у тебя,— не здешняя, верно,— дальняя?

— Да так, и не здешняя и не дальняя,— у ручья при болотце живет.

Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и, заинтересованный, ждет: когда его чудак вернется и что скажет?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рыжов действительно срубил дерево по себе: через неделю он привел в город жену — ражую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданым.

Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слыла злою колдуньею. Все думали, что Рыжов взял себе колдуньину девку в работницы.

Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой,— перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: она себе и пряла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которою библейский чудак мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.

Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное: он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал ее «баба», а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала,— когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был

один-единственный сын, которого «баба» выкормила, а в воспитание его не вмешивалась.

Любила ли «баба» своего библейского мужа или не любила — это в их отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу — это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоте она не знала, и Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастием; этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам — в остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти «баба» летнею порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но, к сожалению ее, заготовляла их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда «баба» однажды насолила кадочку груздей солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, «бабу» патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимии за ослушание против заветов мужа, а грибы целою кадкою собственноручно прикатил к откупщикову двору и велел взять «куда хотят», а откупщику сделал выговор.

Таков был этот чудак, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего; сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующееся ничьим особенным сочувствием, и ничьего особенного сочувствия не искал; солигаличские верховоды считали его «поврежденным от Библии», а простецы судили о нем просто, что он «такой-некий-этакой».

Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное.

Рыжов нимало не заботился, чтó о нем думают: он честно служил всем и особенно не угождал никому; в мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт — философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее — это неизвестно, но

он не был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительною надписью: «Однодум».

Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа — осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его «Однодум» пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего «Однодума» были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы «Однодума», о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь.

Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не могу с точностью вспомнить и не знаю, где справиться, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской, впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, «имел сильный ум и надменную фигуру», и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.

Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова солигаличским квартальным, и притом еще при некоторых особенных обстоятельствах.

По вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего «размел губернию», то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своею должностью чиновников, в числе коих был и солигаличский городничий, при котором состоял квартальным Рыжов.

По изгнании со службы негодных лиц новый губернатор не

спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, «ориентироваться».

С этою целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавшей странным трепетом от одних слухов о его «надменной фигуре».

Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве отменного от прежних «сталых» порядков,— этого не знаю; но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем квартальничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял,— даже не садился на городнический стул перед зерцало, а подписывался «за городничего», сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозою его жизни. У Александра Афанасьевича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его квартальничества, *не было форменного платья,* и он правил «за городничего» все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представления письмоводителя пересесть на место он отвечал:

— Не могу, хитон обличает мя, яко несть брачен.

Все это так и было записано им собственною рукою в его «Однодуме», с добавлением, что письмоводитель предлагал ему «пересесть в бешмете, но снять орла на зерцале», однако Александр Афанасьевич «оставил сию непристойность» и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете.

Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде «надменной фигуры». Александр Афанасьевич в качестве градоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать.

Рыжов действительно имел задачу: как ему отбыть все это в своем бешмете? Но он об этом нимало не заботился, зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогневить «надменную фигуру». Никому и в голову не приходило, что именно Александру-то Афанасьевичу и предстояло удивить и даже *обрадовать* всех пугавшую «надменную фигуру» и даже напророчить ему повышение.

Вообще заботливый Александр Афанасьевич нимало не смущался, как он явится, и совсем не разделял общей чиновничьей робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало или, по выражению некоего духовного летописца, «жестоко подвалишася». Тогда губернаторы ездили «страшно», а встречали их «притрепетно». Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь казенной трехцветки; бударям и инвалидам внушали «головы и усы наваксить»,— из больниц шла усиленная выписка в «оздоровку». Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли; из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты; на станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали неспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимою душевною твердостию заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади «выстаивались» под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливой прессы всяк, стар и млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразные свои чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства — в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселою операциею обметания стен и мытья полов. Поломойство — это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу: пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога

смертною скукою соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастия, пользовались здесь пленительными правами своего пола — услаждать долю смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбудительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые «поломойные дети» — не признанного, но несомненно благородного происхождения.

В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы и приготовляли слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала *провешивали* в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных; потом мундиры *выбивали* прутьями, растянув на подушке или на войлочке; затем их *трясли,* еще позже их *штопали, утюжили* и, наконец, *раскидывали* на кресле в зале или другой парадной комнате, в заключение всего — в конце концов их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскою водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньева дня до другого и нимало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое».

Исходя в сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при оффенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению; отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере.

Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда; но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию,

так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге, к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону.

Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случалось, что сторож обладал способностью альбатроса: он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундиривались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли.

Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всею своею тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники «играть на понижение». Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят: подножек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов.

Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем; он первый изведывал: лют или благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело: он мог испортить дело вначале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать; а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.

Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобычного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого, вдобавок ко всем его личным

неудобным качествам, весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапке.

Вот что первое должно было ударить прямо в очи «надменной фигуре», о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести... Чего было ожидать доброго?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние; он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал:

— Не должно вводить народ в убытки: разве губернатор изнуритель края? он пусть проедет, а забор пусть останется.— Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет достатков и что, говорит, имею,— в том и являюсь: богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести,— по платью встречают — по уму провожают.

Переупрямить Рыжова никто не надеялся, а между тем это было очень важно не столько для упрямца Рыжова, которому, может быть, и ничего, с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете; но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневается, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете.

Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигаличские чины добивались только двух вещей: 1) чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора, и 2) чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть?

Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить, и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось.

Он сказал: «Это дар, а я даров не приемлю». Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в сужденье отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине ни на

окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, сретая губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю, сверх ординарии, тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель за то отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию и на улицу не выходит, а свой мундир, одной с полицейским формы, отпустит Рыжову, от чего сей последний, вероятно, не найдет причины отказаться, и будут тогда и овцы целы, и волки сыты.

План этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом-дородством несколько походил на Рыжова, и притом, женясь недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжкой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить — и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич, для общего счастия, согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ретузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ретузами положено было закрыть соответственною же канифасовою надшивкою, которою этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злому року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестряди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которую Александр Афанасьевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу «надменной фигуре».

В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решился «быть всегда на своем месте»: перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде — в мундире и белых ретузах, с рапортом за бортом, сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь, как столпник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидать, как на тракте заклубилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с форейтором, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор.

Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему:

— Батюшка, сбрось штанцы!

— Что такое? — переспросил Рыжов.

— Штанцы сбрось, батюшка, штанцы,— отвечали люди.— Погляди-ка, на коем месте сидел, так к белому весь шланбов припечатал.

Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительною отчетливостью отпечатались на его ретузах.

Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда начальству глядеть нечего» и пустил вскачь тройку навстречу «надменной особе».

Люди только руками махнули:

— Отчаянный! что-то ему теперь будет?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя.

Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры: приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священною водою в «апликовой» чаше, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ретузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя, в кургузом мундире, нимало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ретузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этою странностию, значение которой не так легко было понять и определить.

Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно «надменную фигуру», в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен грядый во имя господне», и затем покропил его легонько священной водою.

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил *первый* в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось,— все было «надменно». Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился — ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к амвону.

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших,— и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную.

Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к солее, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес:

— Раб божий Сергий! входи во храм господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником,— вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал навытяжку.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигаличском антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, «сменил свою горделивую надменность умным самообладанием». Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здесь Ланской принял чиновников — коронных и выборных и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове: что это за человек и каким образом он терпится в обществе.

— Это наш квартальный Рыжов,— отвечал ему голова.

— Что же он... вероятно, в помешательстве?

— Никак нет: просто всегда *такой.*

— Так зачем же держать *такого* на службе?

— Он по службе хорош.

— Дерзок.

— Самый смирный: на шею ему старший сядь,— рассудит: «поэтому везть надо» — и повезет, но только он много в Библии начитавшись и через то расстроен.

— Вы говорите несообразное: Библия книга божественная.

— Это точно так, только ее не всякому честь пристойно: в иночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается.

— Какие пустяки! —возразил Ланской и продолжал расспрашивать:

— А как он насчет взяток: умерен ли?

— Помилуйте,— говорит голова,— он совсем ничего не берет...

Губернатор еще больше не поверил.

— Этому,— говорит,— я уже ни за что не поверю.

— Нет; действительно не берет.

— А как же,— говорит,— он какими средствами живет?

— Живет на жалованье.

— Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет.

— Точно,— отвечает,— нет; но у нас такой объявился.

— А сколько ему жалованья положено?

— В месяц десять рублей.

— Ведь на это,— говорит,— овцу прокормить нельзя.

— Действительно,— говорит,— мудрено жить — только он живет.

— Отчего же так всем нельзя, а он обходится?

— Библии начитался.

— Хорошо, «Библии начитался», а что же он ест?

— Хлеб да воду.

И тут голова и рассказал о Рыжове, каков он во всех делах своих.

— Так это совсем удивительный человек! — воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова.

Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, иже по подчинению.

— Откуда вы родом? — спросил его Ланской.

— Здесь, на Нижней улице родился,— отвечал Рыжов.

— А где воспитывались?

— Не имел воспитания... у матери рос, а матушка пироги пекла.

— Учились где-нибудь?

— У дьячка.

— Исповедания какого?

— Христианин.

— У вас очень странные поступки.

— Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно.

Ланской подумал, что это вызывающий, дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил:

— Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?

— Здесь нет секты: я в собор хожу.

— Исповедуетесь?

— Богу при протопопе каюсь.

— Семья у вас есть?

— Есть жена с сыном.

— Жалованье малое получаете?

Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.

— Беру,— говорит,— в месяц десять рублей, а не знаю: как это — много или мало.

— Это не много.

— Доложите государю, что для лукавого раба это мало.

— А для верного?

— Достаточно.

— Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь?

Рыжов посмотрел и промолчал.

— Скажите по совести: быть ли это может так?

— А отчего же не может быть?

— Очень малые средства.

— Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно.

— Но зачем вы не проситесь на другую должность?

— А кто же эту занимать станет?

— Кто-нибудь другой.

— Разве он лучше меня справит?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсем заинтересовал его не чуждую теплоты душу.

— Послушайте,— сказал он,— вы чудак; я вас прошу сесть.

Рыжов сел vis-à-vis[1] с «надменным».

— Вы, говорят, знаток Библии?

— Читаю, сколько время позволяет, и вам советую.

— Хорошо; но... могу ли я вас уверить, что вы можете со мною говорить совсем откровенно и по справедливости?

— Ложь заповедью запрещена — я лгать не стану.

— Хорошо. Уважаете ли вы власти?

— Не уважаю.

— За что?

— Ленивы, алчны и пред престолом криводушны,— отвечал Рыжов.

— Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?

— Нет; а по Библии вывожу, что ясно следует.

— Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод?

Рыжов отвечал, что может,— и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум».

— Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся?— спросил Ланской.

Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал: «Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца».

---

[1] Напротив *(франц.)*.

На отлинеенном поле против этого места отмечено: «Исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича».

— Покажите еще что-нибудь.

Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем: «Издан указ о попенном сборе. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания». И на поле опять отметка: «Исполнилось,— зри страницу такую-то», а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра Первого с отметкою: «Сие последовало за назначение налога на лес».

— Но позвольте, однако,— спросил Ланской,— ведь леса составляют собственность?

— Да; а греть воздух в жилье составляет потребность.

— Вы против собственности?

— Нет; я только чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло.

— А как вы судите о податях: следует ли облагать людей податью?

— Надо наложить, и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного.

— Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете?

— Из Священного писания и моей совести.

— Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени?

— Все другие источники не чисты и полны суемудрия.

— Теперь скажите в последнее: как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали?

— Что пишу, то про себя пишу, а что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть оберегаючи.

— Почему цареву?

— Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными.

— Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь.

Рыжов посмотрел на него *«с сожалением»* и отвечал:

— А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?

— Я мог велеть вас арестовать.

— В остроге сытей едят.

— Вас сослали бы за эту дерзость.

— Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его, никого не страшно.

Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову.

— Характер ваш почтенен,— сказал он и велел ему выйти.

Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолюдинов.

Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали:

— Он у нас такой-некий-этакой.

Более положительного из них о нем никто не знал.

Прощаясь, Ланской сказал Рыжову:

— Я о вас не забуду и совет ваш исполню — прочту Библию.

— Да только этого мало, а вы и на десять рублей в месяц жить поучитесь,— добавил Рыжов.

Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал:

— Чудак, чудак!

Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего «Однодума» и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною сутолокою, как вдруг нежданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное: квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство владимирский крест — первый владимирский крест, пожалованный квартальному.

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сея чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского.

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух:

— Чудак, чудак! — А в «Однодуме» против имени Ланского отметил: «Быть ему графом»,— что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было *не на чем*.

Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет, аккуратно и своеобразно отмечая все в своем «Однодуме», который, вероятно, издержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям,



Левша

было «сомнительно». Рыжов и в вере был человек такой-некий-этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме «одной дряни»,— чем и да будет он помянут в самом начале розыска о «трех праведниках».

<1879>

НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОЛОВАН

Из рассказов о трех праведниках

Совершенная любовь изгоняет страх.
Иоанн

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он сам почти миф, а история его — легенда. Чтобы повествовать о нем — надо быть французом, потому что одним людям этой нации удается объяснить другим то, чего они сами не понимают. Я говорю все это с тою целию, чтобы вперед испросить себе у моего читателя снисхождения ко всестороннему несовершенству моего рассказа о лице, воспроизведение которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем я. Но Голован может быть скоро совсем позабыт, а это была бы утрата. Голован стоит внимания, и хотя я его знаю не настолько, чтобы мог начертать полное его изображение, однако я подберу и представлю некоторые черты этого не высокого ранга смертного человека, который сумел прослыть *«несмертельным»*.

Прозвище «несмертельного», данное Головану, не выражало собою насмешки и отнюдь не было пустым, бессмысленным звуком — его прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован — человек особенный; человек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем такое мнение среди людей, ходящих под богом и всегда помнящих о своей смертности? Была ли на это достаточная причина, развившаяся в последовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?

Мне казалось, что последнее было вероятнее, но как судили о том другие — этого я не знаю, потому что в детстве моем об этом не думал, а когда я подрос и мог понимать вещи — «несмертельного» Голована уже не было на свете. Он умер, и притом не самым опрятным образом: он погиб во время так называемого в г. Орле «большого пожара», утонув в кипящей ямине, куда упал,

спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако «часть его большая, от тлена убежав, продолжала жить в благодарной памяти», и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом еще продлилась на свете его достойная внимания память.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его, с чрезвычайно крупными чертами, врезалось в моей памяти с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его встретил в таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут получать прочных впечатлений и износить из них воспоминаний на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе. Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом:

«Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Горохова к Машеньке (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировке его в Елец на следствие о страшном убийстве. Во всем доме были одни мы, женщины и девичья прислуга. Кучер уехал с ним (отцом моим), только дворник Кондрат оставался, а на ночь сторож в переднюю ночевать приходил из правления (губернское правление, где отец был советником). Сегодняшнего же числа Машенька в двенадцатом часу пошла в сад посмотреть цветы и кануфер полить, и взяла с собой Николушку (меня) на руках у Анны (поныне живой старушки). А когда они шли назад к завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная Рябка, прямо с цепью, и прямо кинулась на грудцы Анне, но в ту самую минуту, как Рябка, опершись лапами, бросился на грудь Анне, Голован схватил его за шиворот, стиснул и бросил в погребное творило. Там его и пристрелили из ружья, а дитя спаслось».

Дитя это был я, и как бы точны ни были доказательства, что полуторагодовой ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие.

Я, конечно, не помню, откуда взялась взбешенная Рябка и куда ее дел Голован, после того как она захрипела, барахтаясь лапами и извиваясь всем телом в его высоко поднятой железной руке; но я помню момент... *только момент*. Это было как при блеске молоньи среди темной ночи, когда почему-то вдруг видишь чрезвычайное множество предметов зараз: занавес кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магнезия. Таково, вероятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я как сейчас вижу перед собою огромную

собачью морду в мелких пестринах — сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно напомаженном зеве... оскал, который хотел уже защелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горловина. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во все это время лицо человека *улыбалось*.

Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу.

В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков; сложение имел широкое, сухое и мускулистое; он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и толстыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде Голована были очень густые, цвета соли с перцем. Голова была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриженые. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту: она светилась в каждой черте, но преимущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых, но как будто немножко насмешливых. Другого выражения у Голована как будто не было, по крайней мере, я иного не помню. К дополнению этого неискусного портрета Голована надо упомянуть об одной странности или особенности, которая заключалась в его походке. Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с подскоком. Он не хромал, а, по местному выражению, «шкандыбал», то есть на одну, на правую, ногу наступал твердою поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила где-то в мускуле или в суставе. Так ходят люди на искусственной ноге, но у Голована она была не искусственная; хотя, впрочем, эта особенность тоже и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам, и в этом была тайна, которую нельзя объяснить сразу.

Одевался Голован мужиком — всегда, летом и зимою, в пеклые жары и в сорокаградусные морозы, он носил длинный, нагольный овчинный тулуп, весь промасленный и почерневший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой, помню, частенько шутил над этим тулупом, называя его «вековечным».

По тулупу Голован подпоясывался «чекменным» ремешком с белым сбруйным набором, который во многих местах пожелтел, а в других — совсем осыпался и оставил наружу дратву да дырки. Но тулуп содержался в опрятности от всяких мелких жильцов — это я знал лучше других, потому что я часто сиживал у Голова-

на за пазухой, слушая его речи, и всегда чувствовал себя здесь очень покойно.

Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а, напротив, был широко открыт до самого пояса. Здесь было «недро», представлявшее очень просторное помещение для бутылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с тех самых пор, как он «вышел на волю» и получил на разживу «ермоловскую корову».

Могучую грудь «несмертельного» покрывала одна холщовая рубашка малороссийского покроя, то есть с прямым воротом, всегда чистая как кипень и непременно с длинною цветною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусок шерстяной материи или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нечто свежее и джентльменское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был джентльмен.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами,— глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой — самые ранние картины, которые я видел и наблюдал чаще всего прочего. На этом же выгоне, или, лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага, паслись шесть или семь коров Голована и ему же принадлежавший красный бык «ермоловской» породы. Быка Голован содержал для своего маленького, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу «на подержанье» по домам, где имели в том хозяйственную надобность. Ему это приносило доход.

Средства Голована к жизни заключались в его удоистых коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше сказал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые славились своими высокими достоинствами, зависевшими, конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто, как желток, и ароматно, а сливки «не текли», то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали как густая,

тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть хорошо, но и имели чем расплачиваться. Кроме того, Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца от особенно крупных голландских кур, которых водил во множестве, и, наконец, «приготовлял телят», отпаивая их мастерски и всегда ко времени, например к наибольшему съезду дворян или к другим особенным случаям в дворянском круге.

В этих видах, обусловливающих средства Голована к жизни, ему было очень удобно держаться дворянских улиц, где он продовольствовал интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях и героинях «Дворянского гнезда».

Голован жил, впрочем, не в самой улице, а «на отлете». Постройка, которая называлась «Головановым домом», стояла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажен в шесть в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась, окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было еще возможно.

Голованову постройку в собственном смысле нельзя было назвать ни двором, ни домом. Это был большой, низкий сарай, занимавший все пространство отпавшей глыбы. Может быть, бесформенное здание это было здесь возведено гораздо ранее, чем глыбе вздумалось спуститься, и тогда оно составляло часть ближайшего двора, владелец которого за ним не погнался и уступил его Головану за такую дешевую цену, какую богатырь мог ему предложить. Помнится мне даже, как будто говорили, что сарай этот был подарен Головану за какую-то услугу, оказывать которые он был большой охотник и мастер.

Сарай был переделен надвое: одна половина, обмазанная глиной и выбеленная, с тремя окнами на Орлик, была жилым помещением Голована и находившихся при нем пяти женщин, а в другой были наделаны стойла для коров и быка. На низком чердаке жили голландские куры и черный «шпанский» петух, который жил очень долго и считался «колдовской птицей». В нем Голован растил петуший камень, который пригоден на множество случаев: на то, чтобы счастье приносить, отнятое государство из неприятельских рук возвращать и старых людей на молодых переделывать. Этот камень зреет семь лет и созревает только тогда, когда петух петь перестанет.

Сарай был так велик, что оба отделения — жилое и скотское — были очень просторны, но, несмотря на всю о них забот-

ливость, плохо держали тепло. Впрочем, тепло нужно было только для женщин, а сам Голован был нечувствителен к атмосферным переменам и лето и зиму спал на ивняковой плетенке в стойле, возле любимца своего — красного тирольского быка «Васьки». Холод его не брал, и это составляло одну из особенностей этого мифического лица, через которые он получил свою баснословную репутацию.

Из пяти женщин, живших с Голованом, три были его сестры, одна мать, а пятая называлась Павла, или, иногда, Павлагеюшка. Но чаще ее называли «Голованов грех». Так я привык слышать с детства, когда еще даже и не понимал значения этого намека. Для меня эта Павла была просто очень ласковою женщиною, и я как сейчас помню ее высокий рост, бледное лицо с ярко-алыми пятнами на щеках и удивительной черноты и правильности бровями.

Такие черные брови правильными полукругами можно видеть только на картинах, изображающих персиянку, покоящуюся на коленях престарелого турка. Наши девушки, впрочем, знали и очень рано сообщили мне секрет этих бровей: дело заключалось в том, что Голован был зелейник и, любя Павлу, чтобы ее никто не узнал,— он ей, сонной, помазал брови медвежьим салом. После этого в бровях Павлы, разумеется, не было уже ничего удивительного, а она к Головану привязалась не своею силою.

Наши девушки всё это знали.

Сама Павла была чрезвычайно кроткая женщина и «все молчала». Она была столь молчалива, что я никогда не слыхал от нее более одного, и то самого необходимого слова: «здравствуй», «садись», «прощай». Но в каждом этом коротком слове слышалась бездна привета, доброжелательства и ласки. То же самое выражал звук ее тихого голоса, взгляд серых глаз и каждое движение. Помню тоже, что у нее были удивительно красивые руки, что составляет большую редкость в рабочем классе, а она была такая работница, что отличалась деятельностью даже в трудолюбивой семье Голована.

У них у всех было очень много дела: сам «несмертельный» кипел в работе с утра до поздней ночи. Он был и пастух, и поставщик, и сыровар. С зарею он выгонял свое стадо за наши заборы на росу и все переводил своих статных коров с обрывца на обрывец, выбирая для них, где потучнее травка. В то время, когда у нас в доме вставали, Голован являлся уже с пустыми бутылками, которые забирал в клубе вместо новых, которые снес туда сегодня; собственноручно врубал в лед нашего ледника кувшины нового удоя и говорил о чем-нибудь с моим отцом, а когда я, отучившись грамоте, шел гулять в сад, он уже опять сидел под

нашим заборчиком и руководил своими коровками. Здесь была в заборе маленькая калиточка, через которую я мог выходить к Головану и разговаривать с ним. Он так хорошо умел рассказывать сто четыре священные истории, что я их знал от него, никогда не уча их по книге. Сюда же приходили к нему, бывало, какие-то простые люди — всегда за советами. Иной, бывало, как придет, так и начинает:

— Искал тебя, Голованыч, посоветуй со мной.

— Что такое?

— А вот то-то и то-то; в хозяйстве что-нибудь расстроилось или семейные нелады.

Чаще приходили с вопросами этой второй категории. Голованыч слушает, а сам ивнячок плетет или на коровок покрикивает и все улыбается, будто без внимания, а потом вскинет своими голубыми глазами на собеседника и ответит:

— Я, брат, плохой советник! Бога на совет призови.

— А как его призовешь?

— Ох, брат, очень просто: помолись да сделай так, как будто тебе сейчас помирать надо. Вот скажи-ка мне: как бы ты в таком разе сделал?

Тот подумает и ответит.

Голован или согласится, или же скажет:

— А я бы, брат, умираючи вот как лучше сделал.

И рассказывает, по обыкновению, все весело, со всегдашней улыбкой.

Должно быть, его советы были очень хороши, потому что всегда их слушали и очень его за них благодарили.

Мог ли у такого человека быть «грех» в лице кротчайшей Павлагеюшки, которой в то время, я думаю, было с небольшим лет тридцать, за пределы которых она и не перешла далее? Я не понимал этого «греха» и остался чист от того, чтобы оскорбить ее и Голована довольно общими подозрениями. А повод для подозрения был, и повод очень сильный, даже, если судить по видимости, неопровержимый. Кто она была Головану? Чужая. Этого мало: он ее когда-то знал, он был одних с нею господ, он хотел на ней жениться, но это не состоялось: Голована дали в услуги герою Кавказа Алексею Петровичу Ермолову, а в это время Павлу выдали замуж за наездника Ферапонта, по местному выговору «Храпона». Голован был нужный и полезный слуга, потому что он умел все,— он был не только хороший повар и кондитер, но и сметливый и бойкий походный слуга. Алексей Петрович платил за Голована, что следовало, его помещику, и, кроме того, говорят, будто дал самому Головану взаймы денег на выкуп. Не знаю, верно ли это, но Голован действительно вскоре по возвращении

от Ермолова выкупился и всегда называл Алексея Петровича своим «благодетелем». Алексей же Петрович по выходе Голована на волю подарил ему на хозяйство хорошую корову с теленком, от которых у того и пошел «ермоловский завод».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда именно Голован поселился в сарае на обвале,— этого я совсем не знаю, но это совпадало с первыми днями его «вольного человечества»,— когда ему предстояла большая забота о родных, оставшихся в рабстве. Голован был выкуплен самолично один, а мать, три его сестры и тетка, бывшая впоследствии моею нянькою, оставались «в крепости». В таком же положении была и нежно любимая ими Павла, или Павлагеюшка. Голован ставил первою заботою всех их выкупить, а для этого нужны были деньги. По мастерству своему он мог бы идти в повара или в кондитеры, но он предпочел другое, именно молочное хозяйство, которое и начал при помощи «ермоловской коровы». Было мнение, что он избрал это потому, что сам был *молокан*. Может быть, это значило просто, что он все возился с молоком, но может быть, что название это метило прямо на его веру, в которой он казался странным, как и во многих иных поступках. Очень возможно, что он на Кавказе и знал молоканов и что-нибудь от них позаимствовал. Но это относится к его странностям, до которых дойдет ниже.

Молочное хозяйство пошло прекрасно: года через три у Голована было уже две коровы и бык, потом три, четыре, и он нажил столько денег, что выкупил мать, потом каждый год выкупал по сестре, и всех их забирал и сводил в свою просторную, но прохладную лачугу. Так лет в шесть-семь он высвободил всю семью, но красавица Павла у него улетела. К тому времени, когда он мог и ее выкупить, она была уже далеко. Ее муж, наездник Храпон, был плохой человек — он не угодил чем-то барину и, в пример прочим, был отдан в рекруты без зачета.

В службе Храпон попал в «скачки», то есть верховые пожарной команды в Москву, и вытребовал туда жену; но вскоре и там сделал что-то нехорошее и бежал, а покинутая им жена, имея нрав тихий и робкий, убоялась коловратностей столичной жизни и возвратилась в Орел. Здесь она тоже не нашла на старом месте никакой опоры и, гонимая нуждою, пришла к Головану. Тот, разумеется, ее тотчас же принял и поместил у себя в одной и той же просторной горнице, где жили его сестры и мать. Как мать и сестры Голована смотрели на водворение Павлы,— я доподлинно не знаю, но водворение ее в их доме не посеяло никакой рас-

при. Все женщины жили между собою очень дружно и даже очень любили бедную Павлагеюшку, а Голован всем им оказывал равную внимательность, а особенное почтение оказывал только матери, которая была уже так стара, что он летом выносил ее на руках и сажал на солнышко, как больного ребенка. Я помню, как она «заходилась» ужасным кашлем и все молилась «о прибрании».

Все сестры Голована были пожилые девушки и все помогали брату в хозяйстве: они убирали и доили коров, ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу, из которой потом ткали необыкновенные же и никогда мною после этого не виданные ткани. Пряжа эта называлась очень некрасивым словом «поплёвки». Материал для нее приносил откуда-то в кульках Голован, и я видел и помню этот материал: он состоял из небольших суковатых обрывочков разноцветных бумажных нитей. Каждый обрывочек был длиною от вершка до четверти аршина, и на каждом таком обрывочке непременно был более или менее толстый узелок или сучок. Откуда Голован брал эти обрывки — я не знаю, но очевидно, что это был фабричный отброс. Так мне и говорили его сестры.

— Это,— говорили,— миленький, где бумагу прядут и ткут, так — как до такого узелка дойдут, сорвут его да на пол и *сплюнут* — потому что он в берда не идет, а братец их собирает, а мы из них вот тепленькие одеяльца делаем.

Я видал, как они все эти обрывки нитей терпеливо разбирали, связывали их кусочек с кусочком, наматывали образовывающуюся таким образом пеструю, разноцветную нить на длинные шпули; потом их трастили, ссучивали еще толще, растягивали на колышках по стене, сортировали что-нибудь одноцветное для каем и, наконец, ткали из этих «поплевок» через особое бердо «поплевковые одеяла». Одеяла эти с виду были похожи на нынешние байковые: так же у каждого из них было по две каймы, но само полотно всегда было мрамористое. Узелки в них как-то сглаживались от ссучивания и хотя были, разумеется, очень заметны, но не мешали этим одеялам быть легкими, теплыми и даже иногда довольно красивыми. Притом же они продавались очень дешево — меньше рубля за штуку.

Эта кустарная промышленность в семье Голована шла без остановки, и он, вероятно, находил сбыт поплевковым одеялам без затруднения.

Павлагеюшка тоже вязала и сучила поплевки и ткала одеяла, но, кроме того, она, по усердию к приютившей ее семье, несла еще все самые тяжелые работы в доме: ходила под кручу на Орлик за водою, носила топливо, и прочее, и прочее.

Дрова уже и тогда в Орле были очень дороги, и бедные люди

отапливались то гречневою лузгою, то навозом, а последнее требовало большой заготовки.

Все это и делала Павла своими тонкими руками, в вечном молчании, глядя на свет божий из-под своих персидских бровей. Знала ли она, что ее имя «грех»,— я не сведущ, но таково было ее имя в народе, который твердо стоит за выдуманные им клички. Да и как иначе: где женщина, любящая, живет в доме у мужчины, который ее любил и искал на ней жениться,— там, конечно, грех. И действительно, в то время, когда я ребенком видал Павлу, она единогласно почиталась «Головановым грехом», но сам Голован не утрачивал через это ни малейшей доли общего уважения и сохранял прозвище «несмертельного».

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Несмертельным» стали звать Голована в первый год, когда он поселился в одиночестве над Орликом с своею «ермоловскою коровою» и ее теленком. Поводом к тому послужило следующее вполне достоверное обстоятельство, о котором никто не вспомнил во время недавней «прокофьевской» чумы. Было в Орле обычное лихолетье, а в феврале на день св. Агафьи Коровницы по деревням, как надо, побежала «коровья смерть». Шло это, яко тому обычай есть и как пишется в универсальной книге, иже глаголется *Прохладный вертоград:* «Как лето сканчевается, а осень приближается, тогда вскоре моровое поветрие начинается. А в то время надобе всякому человеку на всемогущего бога упование возлагати и на пречистую его матерь и силою честного креста ограждатися и сердце свое воздержати от кручины, и от ужасти, и от тяжелой думы, ибо через сие сердце человеческое умаляется и скоро порса и язва прилепляется — мозг и сердце захватит, осилеет человека и борзо умрет». Было все это тоже при обычных картинах нашей природы, «когда стают в осень туманы густые и темные и ветер с полуденной страны и последи дожди и от солнца воскурение земли, и тогда надобе на ветр не ходити, а сидети во избе в топленой и окон не отворяти, а добро бы, чтобы в том граде ни жити и из того граду отходити в места чистые». Когда, то есть в каком именно году последовал мор, прославивший Голована «несмертельным»,— этого я не знаю. Такими мелочами тогда сильно не занимались и из-за них не поднимали шума, как вышло из-за Наума Прокофьева. Местное горе в своем месте и кончалось, усмиряемое одним упованием на бога и его пречистую матерь, и разве только в случае сильного преобладания в какой-нибудь местности досужего «интеллигента» принимались своеобычные оздоровляющие меры: «во дворех огнь рас-

кладали ясный, дубовым древом, дабы дым расходился, а в избах курили пелынею и можжевеловыми дровами и листвием рутовым». Но все это мог делать только интеллигент, и притом при хорошем зажитке, а смерть борзо брала не интеллигента, но того, кому ни в избе топленой сидеть некогда, да и древом дубовым раскрытый двор топить не по силам. Смерть шла об руку с голодом и друг друга поддерживали. Голодающие побирались у голодающих, больные умирали «борзо», то есть скоро, что крестьянину и выгоднее. Долгих томлений не было, не было слышно и выздоравливающих. Кто заболел, тот «борзо» и помер, *кроме одного*. Какая это была болезнь — научно не определено, но народно ее звали «пазуха», или «веред», или «жмыховой пупырух», или даже просто «пупырух». Началось это с хлебородных уездов, где, за неимением хлеба, ели конопляный жмых. В Карачевском и Брянском уездах, где крестьяне мешали горсть непросевной муки с толченой корою, была болезнь иная, тоже смертоносная, но не «пупырух». «Пупырух» показался сначала на скоте, а потом передавался людям. «У человека под пазухами или на шее садится болячка червена, и в теле колотье почюет, и внутри негасимое горячество или во удесех некая студеность и тяжкое воздыхание и не может воздыхати — дух в себя тянет и паки воспускает; сон найдет, что не может перестать спать; явится горесть, кислость и блевание; в лице человек сменится, станет образом глиностен и борзо помирает». Может быть, это была сибирская язва, может быть, какая-нибудь другая язва, но только она была губительна и беспощадна, а самое распространенное название ей, опять повторяю, было «пупырух». Вскочит на теле прыщ, или по-простонародному «пупырушек», зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом борзо и смерть. Скорая смерть представлялась, впрочем, «в добрых видах». Кончина приходила тихая, не мучительная, самая крестьянская, только всем помиравшим до последней минутки хотелось пить. В этом и был весь недолгий и неутомительный уход, которого требовали, или, лучше сказать, вымаливали себе больные. Однако уход за ними даже в этой форме был не только опасен, но почти невозможен,— человек, который сегодня подавал пить заболевшему родичу,— завтра сам заболевал «пупырухом», и в доме нередко ложилось два и три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи — без той единственной помощи, о которой заботится наш крестьянин, «чтобы было кому подать напиться». Вначале такой сирота поставит себе у изголовья ведерко с водою и черпает ковшиком, пока рука поднимается, а потом ссучит из рукава или из подола рубашки соску, смочит ее, сунет себе в рот, да так с ней и закостенеет.

Большое личное бедствие — плохой учитель милосердия. По крайней мере, оно нехорошо действует на людей обыкновенной, заурядной нравственности, не возвышающейся за черту простого сострадания. Оно притупляет чувствительность сердца, которое само тяжко страдает и полно ощущения собственных мучений. Зато в этакие горестные минуты общего бедствия среда народная выдвигает из себя героев великодушия, людей бесстрашных и самоотверженных. В обыкновенное время они не видны и часто ничем не выделяются из массы: но наскочит на людей «пупырушек», и народ выделяет из себя избранника, и тот творит чудеса, которые делают его лицом мифическим, баснословным, *«несмертельным»*. Голован был из таких и в первый же мор превзошел и затмил в народном представлении другого здешнего замечательного человека, купца Ивана Ивановича Андросова. Андросов был честный старик, которого уважали и любили за доброту и справедливость, ибо он «близко-помощен» был ко всем народным бедствиям. Помогал он и в «мору», потому что имел списанным «врачевание» и «все оное переписывал и множил». Списания эти у него брали и читали по разным местам, но понять не могли и «приступить не знали». Писано было: «Аще болячка явится поверх главы или ином месте выше пояса,— пущай много кровь из медианы; аще явится на челе, то пущай скоро кровь из-под языка; аще явится подле ушей и под бородою, пущай из сефалиевы жилы, аще же явится под пазухами, то, значит, сердце больно, и тогда в той стороне медиан отворяй». На всякое место, «где тягостно услышишь», расписано было, какую жилу отворять: «сафенову», или «против большого перста, или жилу спатику, полуматику, или жилу базику» с наказом «пущать из них кровь течи, дондеже зелена станет и переменится». А лечить еще «левкарем да антелем, печатною землею да землею арменскою; вином малмозеею, да водкой буглосовою, вирианом виницейским, митридатом да сахаром монюс-кристи», а входящим к больному «держать во рте дягилева корьние, а в руках — пелынь, а ноздри свербориновым уксусом помазаны и губу в уксусе мочену жохать». Никто ничего в этом понять не мог, точно в казенном указе, в котором писано и переписано, то туда, то сюда и «в дву потомуж». Ни жил таких не находили, ни вина малмозеи, ни земли арменской, ни водки буглосовой, и читали люди списания доброго старичка Андросова более только для «утоли моя печали». Применять же из них могли одни заключительные слова: «а где бывает мор, и в те места не надобе ходить, а отходити прочь». Это и соблюдали во множестве, и сам Иван Иванович держал тое ж правило и сидел в избе топленой и раздавал врачебные списания в подворотенку, задерживая в себе дух и держа во рту дягиль-ко-

рень. К больным можно было безопасно входить только тем, у кого есть оленьи слезы или *безоар*-камень; но ни слез оленьих, ни камня безоара у Ивана Ивановича не было, а в аптеках на Болховской улице камень хотя, может быть, и водился, но аптекаря были — один из поляков, а другой немец, к русским людям надлежащей жалости не имели и безоар-камень для себя берегли. Это было вполне достоверно потому, что один из двух орловских аптекарей как потерял свой безоар, так сейчас же на дороге у него стали уши желтеть, око одно ему против другого убавилось, и он стал дрожать и хоша желал вспотеть и для того велел себе дома к подошвам каленый кирпич приложить, однако не вспотел, а в сухой рубахе умер. Множество людей искали потерянный аптекарем безоар, и кто-то его нашел, только не Иван Иванович, потому что он тоже умер.

И вот в это-то ужасное время, когда интеллигенты отирались уксусом и не испускали духу, по бедным слободским хибаркам еще ожесточеннее пошел «пупырух»; люди начали здесь умирать «соплошь и без всякой помощи»,— и вдруг там, на ниве смерти, появился с изумительным бесстрашием Голован. Он, вероятно, знал или думал, будто знает, какую-то медицину, потому что клал на опухоли больных своего приготовления «кавказский пластырь»; но этот его кавказский, или ермоловский, пластырь помогал плохо. «Пупырухов» Голован не вылечивал, так же как и Андросов, но зато велика была его услуга больным и здоровым в том отношении, что он безбоязненно входил в зачумленные лачуги и поил зараженных не только свежею водою, но и снятым молоком, которое у него оставалось из-под клубных сливок. Утром рано до зари переправлялся он на снятых с петель сарайных воротищах через Орлик (лодки здесь не было) и с бутылками за необъятным недром шнырял из лачужки в лачужку, чтобы промочить из скляницы засохшие уста умирающих или поставить мелом крест на двери, если драма жизни здесь уже кончилась и занавесь смерти закрылась над последним из актеров.

С этих пор доселе малоизвестного Голована широко узнали во всех слободах, и началось к нему большое народное тяготение. Имя его, прежде знакомое прислуге дворянских домов, стали произносить с уважением в народе; начали видеть в нем человека, который не только может «заступить умершего Ивана Ивановича Андросова, а даже более его означать у бога и у людей». А самому бесстрашию Голована не умедлили подыскать сверхъестественное объяснение: Голован, очевидно, что-то знал, и в силу такого знахарства он был «несмертельный»...

Позже оказалось, что это так именно и было: это помог всем разъяснить пастух Панька, который видел за Голованом вещь

невероятную, да подтверждалось это и другими обстоятельствами.

Язва Голована не касалась. Во все время, пока она свирепствовала в слободах, ни сам он, ни его «ермоловская» корова с бычком ничем не заболели; но этого мало: самое важное было то, что он обманул и извел, или, держась местного говора, «изништожил» саму язву, и сделал то, не пожалев теплой крови своей за народушко.

Потерянный аптекарем безоар-камень был у Голована. Как он ему достался — это было неизвестно. Полагали, что Голован нес сливки аптекарю для «обыденной мази» и увидал этот камень и утаил его. Честно это или не честно было произвести такую утайку, про то строгой критики не было, да и быть не должно. Если не грех взять и утаить съедомое, потому что съедомое бог всем дарствует, то тем паче не предосудительно взять целебное вещество, если оно дано к общему спасению. Так у нас судят — так и я сказываю. Голован же, утаив аптекарев камень, поступил с ним великодушно, пустив его на общую пользу всего рода христианского.

Все это, как я выше уже сказал, обнаружил Панька, а общий разум мирской это выяснил.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Панька, разноглазый мужик с выцветшими волосами, был подпаском у пастуха, и, кроме общей пастушьей должности, он еще гонял по утрам *на росу* перекрещиванских коров. В одно из таких ранних своих занятий он и подсмотрел все дело, которое вознесло Голована на верх величия народного.

Это было по весне, должно быть, вскоре после того, как выехал на русские поля изумрудные молодой Егорий светлохрабрый, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, по концам звезды перехожие, а божий люд честной-праведный выгнал встреч ему мал и крупен скот. Травка была еще так мала, что овца и коза ею едва-едва наедались, а толстогубая корова мало могла захватывать. Но под плетнями в тенях и по канавкам уже ботвели полынь и крапива, которые с росой за нужду елися.

Выгнал Панька перекрещиванских коров рано, еще затемно, и прямо бережком около Орлика прогнал за слободу на полянку, как раз напротив конца Третьей Дворянской улицы, где с одной стороны по скату шел старый, так называвшийся «городецкий» сад, а слева на своем обрывке лепилось Голованово гнездо.

Было еще холодно, особенно перед зарею, по утрам, а кому

спать хочется, тому еще холоднее кажется. Одежда на Паньке была, разумеется, плохая, сиротская, какая-нибудь рвань с дырой на дыре. Парень вертится на одну сторону, вертится на другую, молит, чтобы святой Федул на него теплом подул, а наместо того все холодно. Только заведет глаза, а ветерок заюлит, заюлит в прореху и опять разбудит. Однако молодая сила взяла свое: натянул Панька свитку на себя совсем сверх головы, шалашиком, и задремал. Час какой не расслышал, потому что зеленая богоявленская колокольня далеко. А вокруг никого, нигде ни одной души человеческой, только толстые купеческие коровы пыхтят да нет-нет в Орлике резвый окунь всплеснет. Дремлется пастуху и в дырявой свитке. Но вдруг как будто что-то его под бок толкнуло, вероятно, зефир где-нибудь еще новую дыру нашел. Панька вскинулся, повел спросонья глазами, хотел крикнуть: «Куда, комолая»,— и остановился. Показалось ему, что кто-то на той стороне спускается с кручи. Может быть, вор хочет закопать в глине что-нибудь краденое. Панька заинтересовался: может быть, он подстережет вора и накроет его либо закричит ему «чур вместе», а еще лучше, постарается хорошенько заметить похоронку да потом переплывет днем Орлик, выкопает и все себе без раздела возьмет.

Панька воззрился и все на кручу за Орлик смотрит. А на дворе еще чуть серело.

Вот кто-то спускается с кручи, сошел, стал на воду и идет. Да так просто идет по воде, будто посуху, и не плескает ничем, а только костыльком подпирается. Панька оторопел. Тогда в Орле из мужского монастыря чудотворца ждали, и голоса уже из подполицы слышали. Началось это сразу после «Никодимовых похорон». Архиерей Никодим был злой человек, отличившийся к концу своей земной карьеры тем, что, желая иметь еще одну кавалерию, он из угодливости сдал в солдаты очень много духовных, между которыми были и единственные сыновья у отцов и даже сами семейные дьячки и пономари. Они выходили из города целой партией, заливаясь слезами. Провожавшие их также рыдали, и самый народ, при всей своей нелюбви к многоовчинному поповскому брюху, плакал и подавал им милостыню. Самому партионному офицеру было их так жалко, что он, желая положить конец слезам, велел новым рекрутам запеть песню, а когда они хором стройно и громко затянули ими же сложенную песню:

Архирей наш Никодим
Архилютый крокодил,

то будто бы и сам офицер заплакал. Все это тонуло в море слез и чувствительным душам представлялось злом, вопиющим на небо. И действительно — как достигло их вопленье до неба, так в

Орле пошли «гласы». Сначала «гласы» были невнятные и неизвестно от кого шли, но когда Никодим вскоре после этого умер и был погребен под церковью, то пошла явная речь от прежде его погребенного там епископа (кажется, Аполлоса). Прежде отшедший епископ был недоволен новым соседством и, ничем не стесняясь, прямо говорил: «Возьмите вон отсюда это падло, душно мне с ним». И даже угрожал, что если «падло» не уберут, то он сам «уйдет и в другом городе явится». Это многие люди слышали. Как, бывало, пойдут в монастырь ко всенощной и, отстояв службу, идут назад, им и слышно: стонет старый архиерей: «Возьмите падло». Всем очень желалось, чтобы заявление доброго покойника было исполнено, но не всегда внимательное к нуждам народа начальство не выбрасывало Никодима, и явно открывавшийся угодник всякую минуту мог «сойти с двора».

Вот не что иное, как это самое, теперь и происходило: угодник уходит, и видит его только один бедный пастушок, который так от этого растерялся, что не только не задержал его, но даже не заметил, как святой уже и из глаз у него пропал. На дворе же только чуть начало светать. Со светом к человеку прибывает смелости, с смелостью усиливается любознательность. Панька захотел подойти к самой воде, через которую только что проследовало таинственное существо; но едва он подошел, как видит, тут мокрые воротища к бережку шестом приткнуты. Дело выяснилось: значит, это не угодник проследовал, а просто проплыл несмертельный Голован: верно, он пошел каких-нибудь обезродевших ребятишек из недра молочком приветить. Панька подивился: когда этот Голован и спит!.. Да и как он, этакой мужичище, плавает на этакой посудине — на половинке ворот? Правда, что Орлик река не великая и воды его, захваченные пониже запрудою, тихи, как в луже, но все-таки каково это на воротах плавать?

Паньке захотелось самому это попробовать. Он стал на воротца, взял шестик да, шаля, и переехал на ту сторону, а там сошел на берег Голованов дом посмотреть, потому что уже хорошо забрезжило, а между тем Голован в ту минуту и кричит с той стороны: «Эй! кто мои ворота угнал! назад давай!»

Панька был малый не большой отваги и не приучен был рассчитывать на чье-либо великодушие, а потому испугался и сделал глупость. Вместо того чтобы подать Головану назад его плот, Панька взял да и схоронился в одну из глиняных ямок, которых тут было множество. Залег Панька в ямку и сколько его Голован ни звал с той стороны, он не показывается. Тогда Голован, видя, что ему не достать своего корабля, сбросил тулуп, разделся донага, связал весь свой гардероб ремнем, положил на голову и поплыл через Орлик. А вода была еще очень холодна.

Панька об одном заботился, чтобы Голован его не увидал и не побил, но скоро его внимание было привлечено к другому. Голован переплыл реку и начал было одеваться, но вдруг присел, глянул себе под левое колено и остановился.

Было это так близко от яминки, в которой прятался Панька, что ему все было видно из-за глыбинки, которою он мог закрываться. И в это время уже было совсем светло, заря уже румянела, и хотя большинство горожан еще спали, но под городецким садом появился молодой парень с косою, который начал окашивать и складывать в плетушку крапиву.

Голован заметил косаря и, встав на ноги, в одной рубахе, громко крикнул ему:

— Малец, дай скорей косу!

Малец принес косу, а Голован говорит ему:

— Поди мне большой лопух сорви,— и как парень от него отвернулся, он снял косу с косья, присел опять на корточки, оттянул одною рукою икру у ноги, да в один мах всю ее и отрезал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною в деревенскую лепешку швырнул в Орлик, а сам зажал рану обеими руками и повалился.

Увидев это, Панька про все позабыл, выскочил и стал звать косаря.

Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца и скрутить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо всей силы, так что кровь перестала.

Тогда Голован велел им поставить около него ведерце с водою и ковшик, а самим идти к своим делам, и никому про то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясясь от ужасти, всем рассказали. А услыхавшие про это сразу догадались, что Голован это сделал неспроста, а что он таким образом, изболясь за людей, бросил язве шмат своего тела на тот конец, чтобы он прошел жертвицей по всем русским рекам из малого Орлика в Оку, из Оки в Волгу, по всей Руси великой до широкого Каспия, и тем Голован за всех отстрадал, а сам он от этого не умрет, потому что у него в руках аптекарев живой камень и он человек «несмертельный».

Сказ этот пришел всем по мысли, да и предсказание оправдалось. Голован не умер от своей страшной раны. Лихая же хвороба после этой жертвы действительно прекратилась, и настали дни успокоения: поля и луга уклочились густой зеленью, и привольно стало по ним разъезжать молодому Егорию светлохраброму, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, а по концам звезды перехожие. Отбелились холсты свежею юрьевой росою, выехал вместо витязя Егория в поле Иеремия пророк с тяжелым ярмом, волоча сохи да

бороны, засвистали соловьи в Борисов день, утешая мученика, стараниями святой Мавры засинела крепкая рассада, прошел Зосима святой с долгим костылем, в набалдашнике пчелиную матку пронес; минул день Ивана Богословца, «Николина батюшки», и сам Никола отпразднован, и стал на дворе Симон Зилот, когда земля именинница. На землины именины Голован вылез на завалинку и с той поры мало-помалу ходить начал и снова за свое дело принялся. Здоровье его, по-видимому, нимало не пострадало, но только он «шкандыбать» стал — на левую ножку подпрыгивал.

О трогательности и отваге его кровавого над собою поступка люди, вероятно, имели высокое мнение, но судили о нем так, как я сказал: естественных причин ему не доискивались, а, окутав все своею фантазиею, сочинили из естественного события баснословную легенду, а из простого, великодушного Голована сделали мифическое лицо, что-то вроде волхва, кудесника, который обладал неодолимым талисманом и мог на все отважиться и нигде не погибнуть.

Знал или не знал Голован, что ему присвоивала такие дела людская молва,— мне неизвестно. Однако я думаю, что он знал, потому что к нему очень часто обращались с такими просьбами и вопросами, с которыми можно обращаться только к доброму волшебнику. И он на многие такие вопросы давал «помогательные советы», и вообще ни за какой спрос не сердился. Бывал он по слободам и за коровьего врача, и за людского лекаря, и за инженера, и за звездочия, и за аптекаря. Он умел сводить шелуди и коросту опять-таки какою-то «ермоловской мазью», которая стоила один медный грош на трех человек; вынимал соленым огурцом жар из головы; знал, что травы надо собирать с Ивана до полу-Петра, и отлично «воду показывал», то есть где можно колодец рыть. Но это он мог, впрочем, не во всякое время, а только с начала июня до св. Федора Колодезника, пока «вода в земле слышно как идет по суставчикам». Мог Голован сделать и все прочее, что только человеку надо, но на остальное у него перед богом был зарок дан за то, чтобы пупырух остановился. Тогда он это кровью своею подтвердил и держал крепко-накрепко. Зато его и бог любил и миловал, а деликатный в своих чувствах народ никогда не просил Голована о чем не надобно. По народному этикету это так у нас принято.

Головану, впрочем, столь не тягостно было от мистического облака, которым повивала его народная fama[1], что он не употреблял, кажется, никаких усилий разрушить все, что о нем сложилось. Он знал, что это напрасно.

---

[1] Слух, молва *(лат.)*.

Когда я с жадностью пробегал листы романа Виктора Гюго «Труженики моря» и встретил там Жильята, с его гениально очерченной строгостью к себе и снисходительностью к другим, достигшей высоты совершенного самоотвержения, я был поражен не одним величием этого облика и силою его изображения, но также и тождеством гернсейского героя с живым лицом, которого я знал под именем Голована. В них жил один дух и бились самоотверженным боем сходные сердца. Не много разнились они и в своей судьбе: во всю жизнь вокруг них густела какая-то тайна, именно потому, что они были слишком чисты и ясны, и как одному, так и другому не выпало на долю ни одной капли личного счастья.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Голован, как и Жильят, казался «сумнителен в вере».

Думали, что он был какой-нибудь раскольник, но это еще не важно, потому что в Орле в то время было много всякого разноверия: там были (да, верно, и теперь есть) и простые староверы, и староверы не простые,— и федосеевцы, «пилипоны», и перекрещиванцы, были даже хлысты и «люди божии», которых далеко высылали судом человеческим. Но все эти люди крепко держались своего стада и твердо порицали всякую иную веру,— особились друг от друга в молитве и ядении, и одних себя разумели на «пути правом». Голован же вел себя так, как будто он даже совсем не знал ничего настоящего о наилучшем пути, а ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей угодно стол, где его приглашали. Даже жиду Юшке из гарнизона он давал для детей молока. Но нехристианская сторона этого последнего поступка по любви народа к Головану нашла себе кое-какое извинение: люди проникли, что Голован, задабривая Юшку, хотел добыть у него тщательно сохраняемые евреями «иудины губы», которыми можно перед судом отолгаться, или «волосатый овощ», который жидам жажду тушит, так что они могут вина не пить. Но что совсем было непонятно в Головане, это то, что он водился с медником Антоном, который пользовался в рассуждении всех настоящих качеств самою плохою репутациею. Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии и даже что-то сочинял. Жил Антон в слободе, в пустой горенке на чердаке, платя по полтине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к нему никто не заходил, кроме Голована. Известно было, что Антон имел здесь план, рекомый «зодии», и стекло, которым «с солнца огонь изводил»; а кроме того, у него был лаз на крышу, куда он вылезал ночами наружу, садился, как кот, у трубы, «выстав-

лял плезирную трубку» и в самое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому инструменту не знала пределов, особенно в звездные ночи, когда ему видны были все зодии. Как только прибежит от хозяина, где работал медную работу,— сейчас проскользнет через свою горенку и уже лезет из слухового окна на крышу, и если есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит. Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или, по крайней мере, немец, но как он был простой русский человек — его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все, смеясь, звали его «Астроном», а он и в самом деле был астроном[1]. Человек он был тихий и очень честный, но вольнодумец; уверял, что земля вертится и что мы бываем на ней вниз головами. За эту последнюю очевидную несообразность Антон был бит и признан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться свободою мышления, составляющего привилегию этого выгодного у нас звания, и заходил до невероятного. Он не признавал седьмин Даниила прореченными на русское царство, говорил, что «зверь десятирогий» заключается в одной аллегории, а зверь медведица — астрономическая фигура, которая есть в его планах. Так же он вовсе неправославно разумел о «крыле орла», о фиалах и о печати антихристовой. Но ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы кормить жену,— да и какая же дура решилась бы выйти за астронома? Голован же был в полном уме, но не только водился с астрономом, а и не шутил над ним; их даже видали ночами вместе на астрономовой крыше, как они, то один, то другой, переменяясь, посматривали в плезирную трубу на зодии. Понятно, что́ за мысли могли внушать эти две стоящие ночью у трубы фигуры, вокруг которых работали мечтательное суеверие, медицинская поэзия, религиозный бред и недоумение... И, наконец, сами обстоятельства ставили Голована в несколько странное положение: неизвестно было — какого он прихода... Холодная хибара его торчала на таком отлете, что никакие духовные стратеги не могли ее причи-

[1] Я и мой товарищ по гимназии, нынче известный русский математик К. Д. Краевич, знавали этого антика в конце сороковых годов, когда мы были в третьем классе Орловской гимназии и жили вместе в доме Лосевых. «Антон-астроном» (тогда уже престарелый) действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах и о законах вращения, но главное, что было интересно: он сам приготовлял для своих труб стекла, отшлифовывая их песком и камнем, из донышек толстых хрустальных стаканов, и через них он оглядывал целое небо... Жил он нищим, но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в постоянном восторге от «зодий». *(Прим. автора.)*

тать к своему ведению, а сам Голован об этом не заботился, и если его уже очень докучно расспрашивали о приходе, отвечал:

— Я из прихода творца-вседержителя,— а такого храма во всем Орле не было.

Жильят, в ответ на предлагаемый ему вопрос, где его приход, только поднимал вверх палец и, указав на небо, говорил:

— Вон там,— но сущность обоих этих ответов одинакова.

Голован любил слушать о всякой вере, но своих мнений на этот счет как будто не имел, и на случай неотступного вопроса: «Како веруеши?» — читал:

«Верую во единого бога-отца, вседержителя творца, видимым же всем и невидимым».

Это, разумеется, уклончивость.

Впрочем, напрасно бы кто-нибудь подумал, что Голован был сектант или бежал церковности. Нет, он даже ходил к отцу Петру в Борисоглебский собор «совесть поверять». Придет и скажет:

— Посрамите меня, батюшка, что-то себе очень не нравлюсь.

Я помню этого отца Петра, который к нам хаживал, и однажды, когда мой отец сказал ему к какому-то слову, что Голован, кажется, человек превосходной совести, то отец Петр отвечал:

— Не сомневайтесь; его совесть снега белей.

Голован любил возвышенные мысли и знал *Поппе*, но не так, как обыкновенно знают писателя люди, *прочитавшие* его произведение. Нет; Голован, одобрив «Опыт о человеке», подаренный ему тем же Алексеем Петровичем Ермоловым, знал всю поэму *наизусть*. И я помню, как он, бывало, слушает, стоя у притолки, рассказ о каком-нибудь новом грустном происшествии и, вдруг воздохнув, отвечает:

Любезный Болинброк, гордыня в нас одна
Всех заблуждений сих неистовых вина.

Читатель напрасно стал бы удивляться, что такой человек, как Голован, перекидывался стихами *Поппе*. Тогда было время жестокое, но поэзия была в моде, и ее великое слово было дорого даже мужам кровей. От господ это снисходило до плебса. Но теперь я дохожу до самого большого казуса в истории Голована — такого казуса, который уже несомненно бросал на него двусмысленный свет, даже в глазах людей, не склонных верить всякому вздору. Голован представлялся не чистым в каком-то отдаленном прошлом. Это оказалось вдруг, но в самых резких видах. Появилась на стогнах Орла личность, которая ни в чьих глазах ничего не значила, но на Голована заявляла могущественные права и обходилась с ним с невероятной наглостью.

Эта личность и история ее появления есть довольно характер-

ный эпизод из истории тогдашних нравов и не лишенная колорита бытовая картинка. А потому — прошу минуту внимания в сторону,— немножко вдаль от Орла, в края еще более теплые, к тихоструйной реке в ковровых берегах, на народный «пир веры», где нет места деловой, будничной жизни; где все, *решительно все*, проходит через своеобычную религиозность, которая и придает всему свою особенную рельефность и живость. Мы должны побывать при открытии мощей нового угодника, что составляло для самых разнообразных представителей тогдашнего общества событие величайшего значения. Для простого же народа это была эпопея, или, как говорил один тогдашний вития,— «свершался священный пир веры».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Такого движения, которое началось ко времени открытия торжества, не может передать ни одно из напечатанных в то время сказаний. Живая, но низменная дела сторона от них уходила. Это не было нынешнее спокойное путешествие в почтовых экипажах или по железным дорогам с остановками в благоустроенных гостиницах, где есть все нужное, и за сходную цену. Тогда путешествие было подвигом, и в этом случае благочестивым подвигом, которого, впрочем, и стоило ожидаемое торжественное событие в церкви. В нем было также много поэзии,— и опять-таки особенной — пестрой и проникнутой разнообразными переливами церковно-бытовой жизни, ограниченной народной наивности и бесконечных стремлений живого духа.

Из Орла к этому торжеству отправилось множество народа. Больше всего, разумеется, усердствовало купечество, но не отставали и средней руки помещики, особенно же валил простой народ. Эти шли пешком. Только те, кто вез «для цельбы» немощных, тянулись на какой-нибудь клячонке. Иногда, впрочем, и немощных везли *на себе* и даже не очень тем тяготились, потому что с немощных на постоялых дворах за все брали дешевле, а иногда даже и совсем пускали без платы. Было немало и таких, которые нарочно на себя «болезни сказывали: под лоб очи пущали, и двое третьего, по переменкам, на колесеньках везли, чтобы имать доход жертвенный на воск, и на масло, и на другие обряды».

Так я читал в сказании, не печатанном, но верном, списанном не по шаблону, а с «живого видения», и человеком, предпочитавшим правду тенденциозной лживости того времени.

Движение было такое многолюдное, что в городах Ливнах и в Ельце, через которые лежал путь, не было мест ни на постоялых дворах, ни в гостиницах. Случалось, что важные и именитые

люди ночевали в своих каретах. Овес, сено, крупа — все по тракту поднялось в цене, так что, по замечанию моей бабушки, воспоминаниями которой я пользуюсь, с этих пор в нашей стороне, чтобы накормить человека студенем, щами, бараниной и кашей, стали брать на дворах по пятьдесят две копейки (то есть пятиалтынный), а до того брали двадцать пять (или $7^{1}/_{2}$ коп.). По нынешнему времени, конечно, и пятиалтынный — цена совершенно невероятная, однако это так было, и открытие мощей нового угодника в подъеме ценности на жизненные припасы имело для прилегающих мест такое же значение, какое в недавние годы имел для Петербурга пожар мстинского моста. «Цена *вскочила* и такая и осталась».

Из Орла, в числе прочих паломников, отправилось на открытие семейство купцов С—х, людей в свое время очень известных, «ссыпщиков», то есть, проще сказать, крупных кулаков, которые ссыпают в амбары хлеб с возов у мужиков и потом продают свои «ссыпки» оптовым торговцам в Москву и в Ригу. Это прибыльное дело, которым после освобождения крестьян было не погнушались и дворяне; но они любили долго спать и скоро горьким опытом дознали, что даже к глупому кулачному делу они неспособны. Купцы С. считались, по своему значению, первыми ссыпщиками, и важность их простиралась до того, что дому их вместо фамилии была дана возвышающая кличка. Дом был, разумеется, строго благочестивый, где утром молились, целый день теснили и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью псы цепями по канатам гремят, и во всех окнах — «лампад и сияние», громкий храп и чьи-нибудь жгучие слезы.

Правил домом, по-нынешнему сказали бы, «основатель фирмы»,— а тогда просто говорили *«сам»*. Был это мякенький старичок, которого, однако, все как огня боялись. Говорили о нем, что он умел мягко стлать, да было жестко спать: обходил всех словом «матинька», а спускал к черту в зубы. Тип известный и знакомый, тип торгового патриарха.

Вот этот-то патриарх и ехал на открытие «в большом составе» — сам, да жена, да дочь, которая страдала «болезнью меланхолии» и подлежала исцелению. Испытаны были над нею все известные средства народной поэзии и творчества: ее поили бодрящим девясилом, обсыпали пиониею, которая унимает надхождение стени, давали нюхать майран, что в голове мозг поправляет, но ничто не помогло, и теперь ее взяли к угоднику, поспешая на первый случай, когда пойдет самая первая сила. Вера в преимущество *первой силы* очень велика, и она имеет своим основанием сказание о силоамской купели, где тоже исцелевали *первые*, кто успевал войти по возмущении воды.

Ехали орловские купцы через Ливны и через Елец, претерпевая большие затруднения, и совершенно измучились, пока достигли к угоднику. Но улучить «первый случай» у угодника оказалось невозможным. Народу собралась такая область, что и думать нечего было протолкаться в храм, ко всенощной под «открытный день», когда, собственно, и есть «первый случай»,— то есть когда от новых мощей исходит самая большая сила.

Купец и жена его были в отчаянии,— равнодушнее всех была дочка, которая не знала, чего она лишалася. Надежд никаких не было помочь горю,— столько было знати, с такими фамилиями, а они простые купцы, которые хотя в своем месте что-нибудь и значили, но здесь, в таком скоплении христианского величия, совсем потерялися. И вот однажды, сидя в горе под своею кибиточкою за чаем на постоялом дворе, жалуется патриарх жене, что уже и надежды никакой не полагает достигнуть до святого гроба ни в первых, ни во вторых, а разве доведется как-нибудь в самых последних, вместе с ниварями и рыбарями, то есть вообще с простым народом. А тогда уже какая радость: и полиция освирепеет, и духовенство заморится — вдоволь помолиться не даст, а совать станет. И вообще тогда все не то, когда уже приложится столько тысяч уст всякого народа. В таковых видах можно было и после приехать, а они не того доспевали: они ехали, томились, дома дело на приказчицкие руки бросили и дорогою за все втридорога платили, и вот тебе вдруг какое утешение.

Пробовал купец раз и два достигнуть до дьяконов — готов был дать благодарность, но и думать нечего,— с одной стороны одно стеснение, в виде жандарма с белой рукавицею или казака с плетью (их тоже пришло к открытию мощей множество), а с другой — еще опаснее, что задавит сам православный народушко, который волновался, как океан. Уже и были «разы», и даже во множестве, и вчера, и сегодня. Шарахнутся где-нибудь добрые христиане от взмаха казачьей нагайки целой стеною в пять, в шесть сот человек, и как попрут да поналяжут стеной дружненько, так из середины только стон да пах пойдет, а потом, по освобождении, много видано женского уха в серьгах рваного и персты из-под колец верчены, а две-три души и совсем богу преставлялись.

Купец все эти трудности и высказывает за чаем жене и дочери, для которой особенно надо было улучить первые силы, а какой-то «пустошный человек», неведомо, городского или сельского звания, все между разными кибитками ходит под сараем да как будто засматривает на орловских купцов с намерением.

«Пустошных людей» тогда тоже собралось здесь много. Им не только было свое место на этом пиршестве веры, но они даже

находили здесь себе хорошие занятия; а потому понахлынули сюда в изобилии из разных мест, и особенно из городов, прославленных своими воровскими людьми, то есть из Орла, Кром, Ельца и из Ливен, где славились большие мастера чудеса строить. Все сошедшиеся сюда пустошные люди искали себе своих промыслов. Отважнейшие из них действовали строем, располагаясь кучами в толпах, где удобно было при содействии казака произвести натиск и смятение и во время суматохи обыскать чужие карманы, сорвать часы, поясные пряжки и повыдергать серьги из ушей; а люди более степенные ходили в одиночку по дворам, жаловались на убожество, «сказывали сны и чудеса», предлагали привороты, отвороты и «старым людям секретные помочи из китового семени, вороньего сала, слоновьей спермы» и других снадобий, от коих «сила постоянная движет». Снадобья эти не утрачивали своей цены и здесь, потому что, к чести человечества, совесть не за всеми исцелениями позволяла обращаться к угоднику. Не менее охотно пустошные люди смирного обычая занимались просто воровством и при удобных случаях нередко дочиста обворовывали гостей, которые за неимением помещений жили в своих повозках и под повозками. Места везде было мало, и не все повозки находили себе приют под сараями постоялых дворов; другие же стояли обозом за городом на открытых выгонах. Тут шла жизнь еще более разнообразная и интересная и притом еще более полная оттенков священной и медицинской поэзии и занимательных плутней. Темные промышленники шныряли повсеместно, но приютом им был этот загородный «бедный обоз» с окружавшими его оврагами и лачужками, где шло ожесточенное корчемство водкой и в двух-трех повозках стояли румяные солдатки, приехавшие сюда в складчину. Тут же фабриковались стружки от гроба, «печатная земля», кусочки истлевших риз и даже «частицы». Иногда между промышлявшими этими делами художниками попадались люди очень остроумные и выкидывали штуки интересные и замечательные по своей простоте и смелости. Таков был и тот, которого заметило благочестивое орловское семейство. Проходимец подслушал их сетование о невозможности приступить к угоднику, прежде чем от мощей истекут первые струи целебной благодати, и прямо подошел и заговорил начистоту:

— Скорби-де ваши я слышал и могу помочь, а вам меня избегать нечего... Без нас вы здесь теперь желаемого себе удовольствия, при столь большом и именитом съезде, не получите, а мы в таковых разах бывали и средства знаем. Угодно вам быть у самых первых сил угодника — не пожалейте за свое благополучие сто рублей, и я вас поставлю.

Купец посмотрел на субъекта и отвечал:

— Полно врать.

Но тот свое продолжал:

— Вы,— говорит,— вероятно, так думаете, судя по моему ничтожеству; но ничтожное в очах человеческих может быть совсем в другом расчислении у бога, и я за что берусь, то твердо могу исполнить. Вы вот смущаетесь насчет земного величия, что его много наехало, а мне оно все прах, и будь тут хоть видимо-невидимо одних принцев и королей, они нимало нам не могут препятствовать, а даже все сами перед нами расступятся. А потому, если вы желаете сквозь все пройти чистым и гладким путем, и самых первых лиц увидать, и другу божию дать самые первые лобызания, то не жалейте того, что сказано. А если ста рублей жалко и не побрезгаете компанией, то я живо подберу еще два человека, коих на примете имею, и тогда вам дешевле станет.

Что оставалось делать благочестивым поклонникам? Конечно, рискованно было верить пустошному человеку, но и случая упустить не хотелось, да и деньги требовались небольшие, особенно если в компании... Патриарх решился рискнуть и сказал:

— Ладь компанию.

Пустошный человек взял задаток и побежал, наказав семейству рано пообедать и за час перед тем, как ударят к вечерне в первый колокол, взять каждому с собой по новому ручному полотенцу и идти за город, на указанное место «в бедный обоз», и там ожидать его. Оттуда немедленно же должен был начинаться поход, которого, по уверениям антрепренера, не могли остановить никакие принцы, ни короли.

Таковые «бедные обозы» в больших или меньших размерах становились широким станом при всех подобных сборищах, и я сам видал их и помню в Коренной под Курском, а о том, о котором наступает повествование, слышал рассказы от очевидцев и свидетелей тому, что сейчас будет описано.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Место, занятое бедным становищем, было за городом, на обширном и привольном выгоне между рекою и столбовою дорогою, а в конце примыкало к большому извилистому оврагу, по которому бежал ручеек и рос густой кустарник; сзади начинался могучий сосновый лес, где клектали орлы.

На выгоне расположилось множество бедных повозок и колымаг, представлявших, однако, во всей своей нищете довольно пестрое разнообразие национального гения и изобретательности. Были обыкновенные рогожные будки, полотняные шатры во всю телегу,

«беседки» с пушистым ковылем-травой и совершенно безобразные лубковые окаты. Целый большой луб с вековой липы согнут и приколочен к тележным грядкам, а под ним лежка: лежат люди ногами к ногам в нутро экипажа, а головы к вольному воздуху, на обе стороны вперед и назад. Над возлежащими проходит ветерок и вентилирует, чтобы им можно было не задохнуться в собственном духу. Тут же у взвязанных к оглоблям пихтерей с сеном и хрептугов стояли кони, большею частию тощие, все в хомутах и иные, у бережливых людей, под рогожными «крышками». При некоторых повозках были и собачки, которых хотя и не следовало бы брать в паломничество, но это были «усердные» собачки, которые догнали своих хозяев на втором, третьем покорме и ни при каком бойле не хотели от них отвязаться. Им здесь не было места, по настоящему положению паломничества, но они были терпимы и, чувствуя свое контрабандное положение, держали себя очень смирно; они жались где-нибудь у тележного колеса под дегтяркою и хранили серьезное молчание. Одна скромность спасала их от остракизма и от опасного для них крещеного цыгана, который в одну минуту «снимал с них шубы». Здесь, в бедном обозе, под открытым небом жилось весело и хорошо, как на ярмарке. Всякого разнообразия здесь было более, чем в гостиничных номерах, доставшихся только особым избранникам, или под навесами постоялых дворов, где в вечном полумраке местились в повозках люди второй руки. Правда, в бедный обоз не заходили тучные иноки и иподиаконы, не видать было даже и настоящих, опытных странников, но зато здесь были свои мастера на все руки и шло обширное кустарное производство разных «святостей». Когда мне довелось читать известное в киевских хрониках дело о подделке мощей из бараньих костей, я был удивлен младенчеством приема этих фабрикантов в сравнении с смелостью мастеров, о которых слыхал ранее. Тут это было какое-то откровенное *неглиже с отвагой*. Даже самый путь к выгону по Слободской улице уже отличался ничем не стесняемою свободою самой широкой предприимчивости. Люди знали, что этакие случаи не часто выпадают, и не теряли времени: у многих ворот стояли столики, на которых лежали иконки, крестики и бумажные сверточки с гнилою древесною пылью, будто бы от старого гроба, и тут же лежали стружки от нового. Весь этот материал был, по уверению продавцов, гораздо высшего сорта, чем в настоящих местах, потому что принесен сюда самими столярами, копачами и плотниками, производившими самые важные работы. У входа в лагерь вертелись «носящие и сидящие» с образками нового угодника, заклеенными пока белою бумажкою с крестиком. Образки эти продавались по самой дешевой цене, и покупать их можно было сию же минуту, но открывать нельзя было до отслужения первого молебна.

У многих недостойных, купивших такие образки и открывших их раньше времени, они оказались чистыми дощечками. В овраге же за становищем, под санями, опрокинутыми кверху полозьями, жили у ручья цыган с цыганкою и цыганятами. Цыган и цыганка имели тут большую врачебную практику. У них на одном полозе был привязан за ногу большой безголосый «петух», из которого выходили по утрам камни, «двигавшие постельную силу», и цыган имел кошкину траву, которая тогда была весьма нужна к «болячкам афедроновым». Цыган этот был в своем роде знаменитость. Слава о нем шла такая, что он, когда в неверной земле семь спящих дев открывали, и там он не лишний был: он старых людей на молодых переделывал, прутяные сеченья господским людям лечил и военным кавалерам заплечный бой из нутра через водоток выводил. Цыганка же его, кажется, знала еще бо́льшие тайны природы: она две воды мужьям давала: одну ко обличению жен, кои блудно грешат; той воды если женам дать, она в них не удержится, а насквозь пройдет; а другая вода магнитная: от этой воды жена неохочая во сне страстно мужа обоймет, а если усилится другого любить — с постели станет падать.

Словом, дело здесь кипело, и многообразные нужды человечества находили тут полезных пособников.

Пустошный человек как завидел купцов, не стал с ними разговаривать, а начал их манить, чтобы сошли в овражек, и сам туда же вперед юркнул.

Опять это показалось страшновато: можно было опасаться засады, в которой могли скрываться лихие люди, способные обобрать богомольцев догола, но благочестие превозмогло страх, и купец после небольшого раздумья, помолясь богу и помянув угодника, решился переступить шага три вниз.

Сходил он осторожно, держась за кустики, а жене и дочери приказал в случае чего-нибудь кричать изо всей мочи.

Засада здесь и в самом деле была, но не опасная: купец нашел в овраге двух таких же, как он, благочестивых людей в купеческом одеянии, с которыми надо было «сладиться». Все они должны были здесь заплатить пустошному уговорную плату за проводы их к угоднику, а тогда он им откроет свой план и сейчас их поведет. Долго думать было нечего, и упорство ни к чему не вело: купцы сложили сумму и дали, а пустошный открыл им свой план, простой, но, по простоте своей, чисто гениальный: он заключался в том, что в «бедном обозе» есть известный пустошному человеку человек расслабленный, которого надо только поднять и нести к угоднику, и никто их не остановит и пути им не затруднит с болящим. Надо только купить для слабого болезный одрец да покровец и, подняв его, нести всем шестерым, подвязавши под одр полотенчики.

Мысль эта казалась в первой своей части превосходною,— с расслабленным носителей, конечно, пропустят, но каковы быть могут последствия? Не было бы дальше конфуза? Однако и на этот счет все было успокоено, проводник сказал только, что это не стоит внимания.

— Мы таковые разы,— говорит,— уже видали: вы, в ваше удовольствие, сподобитеся все видеть и приложиться к угоднику во время всенощного пения, а в рассуждении болящего, будь воля угодника,— пожелает он его исцелить — и исцелит, а не пожелает — опять его воля. Теперь только скиньтесь скорее на одрец и на покровец, а у меня уж все это припасено в близком доме, только надо деньги отдать. Мало меня здесь повремените, и в путь пойдем.

Взял, поторговавшись, еще на снасть по два рубля с лица и побежал, а через десять минут назад вернулся и говорит:

— Идем, братия, только не бойко выступайте, а поспустите малость очи побогомысленнее.

Купцы спустили очи и пошли с благоговением и в этом же «бедном обозе» подошли к одной повозке, у которой стояла у хрептуга совсем дохлая клячонка, а на передке сидел маленький золотушный мальчик и забавлял себя, перекидывая с руки на руку ощипанные плодничи желтых пупавок. На этой повозке под липовым лубком лежал человек средних лет, с лицом самих пупавок желтее, и руки тоже желтые, все вытянутые и как мягкие плети валяются.

Женщины, завидев этакую ужасную немощь, стали креститься, а проводник их обратился к больному и говорит:

— Вот, дядя Фотей, добрые люди пришли помочь мне тебя к исцеленью нести. Воли божией час к тебе близится.

Желтый человек стал поворачиваться к незнакомым людям и благодарственно на них смотрит, а перстом себе на язык показывает.

Те догадались, что он немой. «Ничего,— говорят,— ничего, раб божий, не благодари нас, а богу благодарствуй»,— и стали его вытаскивать из повозки — мужчины под плечи и под ноги, а женщины только его слабые ручки поддерживали и еще более напугались страшного состояния больного, потому что руки у него в плечевых суставах совсем «перевалилися» и только волосяными веревками были кое-как перевязаны.

Одрик стоял тут же. Это была небольшая старая кроватка, плотно засыпанная по углам клоповыми яйцами; на кроватке лежал сноп соломы и кусок редкого миткалю с грубо выведенным красками крестом, копием и тростию. Проводник ловкою рукою распушил соломку, чтобы на все стороны с краев свешивалась, по-

ложили на нее желтого расслабленного, покрыли миткалем и понесли.

Проводник шел впереди с глиняной жаровенкой и крестообразно покуривал.

Еще они и из обоза не вышли, как на них уже начали креститься, а когда пошли по улицам, внимание к ним становилось все серьезнее и серьезнее: все, видя их, понимали, что это к чудотворцу несут болящего, и присоединялися. Купцы шли поспешаючи, потому что слышали благовест ко всенощной, и пришли с своею ношею как раз вовремя, когда запели: «Хвалите имя господне, раби го́спода».

Храм, разумеется, не вмещал и сотой доли собравшегося народа; видимо-невидимо людей сплошною массою стояло вокруг церкви, но чуть увидали одр и носящих, все загудели: «Расслабого несут, чудо будет»,— и вся толпа расступилась.

До самых дверей стала живая улица, и дальше все сделалось, как обещал проводник. Даже и твердое упование веры его не осталось в постыжении: расслабленный исцелел. Он встал, он сам вышел на своих ногах «славяще и благодаряще». Кто-то все это записал на записочку, в которой, со слов проводника, исцеленный расслабленный был назван «родственником» орловского купца, через что ему многие завидовали, и исцеленный за поздним временем не пошел уже в свой бедный обоз, а ночевал под сараем у своих новых родственников.

Все это было приятно. Исцеленный был интересным лицом, на которого многие приходили взглянуть и кидали ему «жертовки».

Но он еще мало говорил и неявственно — очень шамкал с непривычки и больше всего на купцов исцеленною рукою показывал: «их-де спрашивайте, они родственники, они всё знают». И тогда те поневоле говорили, что он их родственник; но вдруг под все это подкралась неожиданная неприятность: в ночь, наставшую после исцеления желтого расслабленного, было замечено, что у бархатного намета над гробом угодника пропал один золотой шнур с такою же золотою кистью.

Дознавали об этом из-под руки и спросили орловского купца, не заметил ли он, близко подходя, и что такое за люди помогали ему нести больного родственника? Он по совести сказал, что люди были незнакомые, из бедного обоза, по усердию несли. Возили его туда узнавать место, людей, клячу и тележку с золотушным мальчиком, игравшим пупавками, но тут только одно место было на своем месте, а ни людей, ни повозки, ни мальчика с пупавками и следа не было.

Дознание бросили, «да не молва будет в людях». Кисть пове-

сили новую, а купцы после такой неприятности скорее собрались домой. Но только тут исцеленный родственник осчастливил их новой радостью: он обязывал их взять его с собою и в противном случае угрожал жалобою и про кисть напомнил.

И потому, когда пришел час к отъезду купцов восвояси, Фотей очутился на передке рядом с кучером, и скинуть его было невозможно до лежавшего на их пути села Крутого. Здесь был в то время очень опасный спуск с одной горы и тяжелый подъем на другую, и потому случались разные происшествия с путниками: падали лошади, переворачивались экипажи и прочее в этом роде. Село Крутое непременно надо было проследовать засветло, иначе надо заночевать, а в сумерки никто не рисковал спускаться.

Наши купцы тоже здесь переночевали и утром при восхождении на гору «растерялись», то есть потеряли своего исцеленного родственника Фотея. Говорили, будто с вечера они «добре его угостили из фляги», а утром не разбудили и съехали, но нашлись другие добрые люди, которые поправили эту растерянность и, прихватив Фотея с собою, привезли его в Орел.

Здесь он отыскал своих неблагодарных родственников, покинувших его в Крутом, но не встретил у них родственного приема. Он стал нищенствовать по городу и рассказывать, будто купец ездил к угоднику не для дочери, а молился, чтобы хлеб подорожал. Никому это точнее Фотея известно не было.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Не в долгих днях после появления в Орле известного и покинутого Фотея в приходе Михаила Архангела у купца Акулова были «бедные столы». На дворе, на досках, дымились большие липовые чаши с лапшой и чугуны с кашей, а с хозяйского крыльца раздавали по рукам ватрушки с луком и пироги. Гостей набралось множество, каждый со своей ложкой в сапоге или за пазухой. Пирогами оделял Голован. Он часто был зван к таким «столам» архитриклином и хлебодаром, потому что был справедлив, ничего не утаит себе и основательно знал, кто какого пирога стоит — с горохом, с морковью или с печенкой.

Так и теперь он стоял и каждому подходящему «оделял» большой пирог, а у кого знал в доме немощных — тому два и более «на недужную порцию». И вот в числе разных подходящих подошел к Головану и Фотей, человек новый, но как будто удививший Голована. Увидав Фотея, Голован словно что-то вспомнил и спросил:

— Ты чей и где живешь?

Фотей сморщился и проговорил:

— Я ничей, а божий, обшит рабьей кожей, а живу под рогожей.

А другие говорят Головану: «Его купцы привезли от угодника... Это Фотей исцеленный».

Но Голован улыбнулся и заговорил было:

— С какой стати это Фотей! — но в эту же самую минуту Фотей вырвал у него пирог, а другою рукою дал ему оглушительную пощечину и крикнул:

— Не бреши лишнего! — и с этим сел за столы, а Голован стерпел и ни слова ему не сказал. Все поняли, что, верно, это так надобно, очевидно, исцеленный юродует, а Голован знает, что это надо сносить. Но только «в каком расчислении стоил Голован такого обращения?» Это была загадка, которая продолжалась многие годы и установила такое мнение, что в Головане скрывается что-нибудь очень бедовое, потому что он Фотея боится.

И впрямь тут было что-то загадочное. Фотей, скоро павший в всеобщем мнении до того, что вслед ему кричали: «У святого кисть украл и в кабаке пропил»,— с Голованом обходился чрезвычайно дерзко.

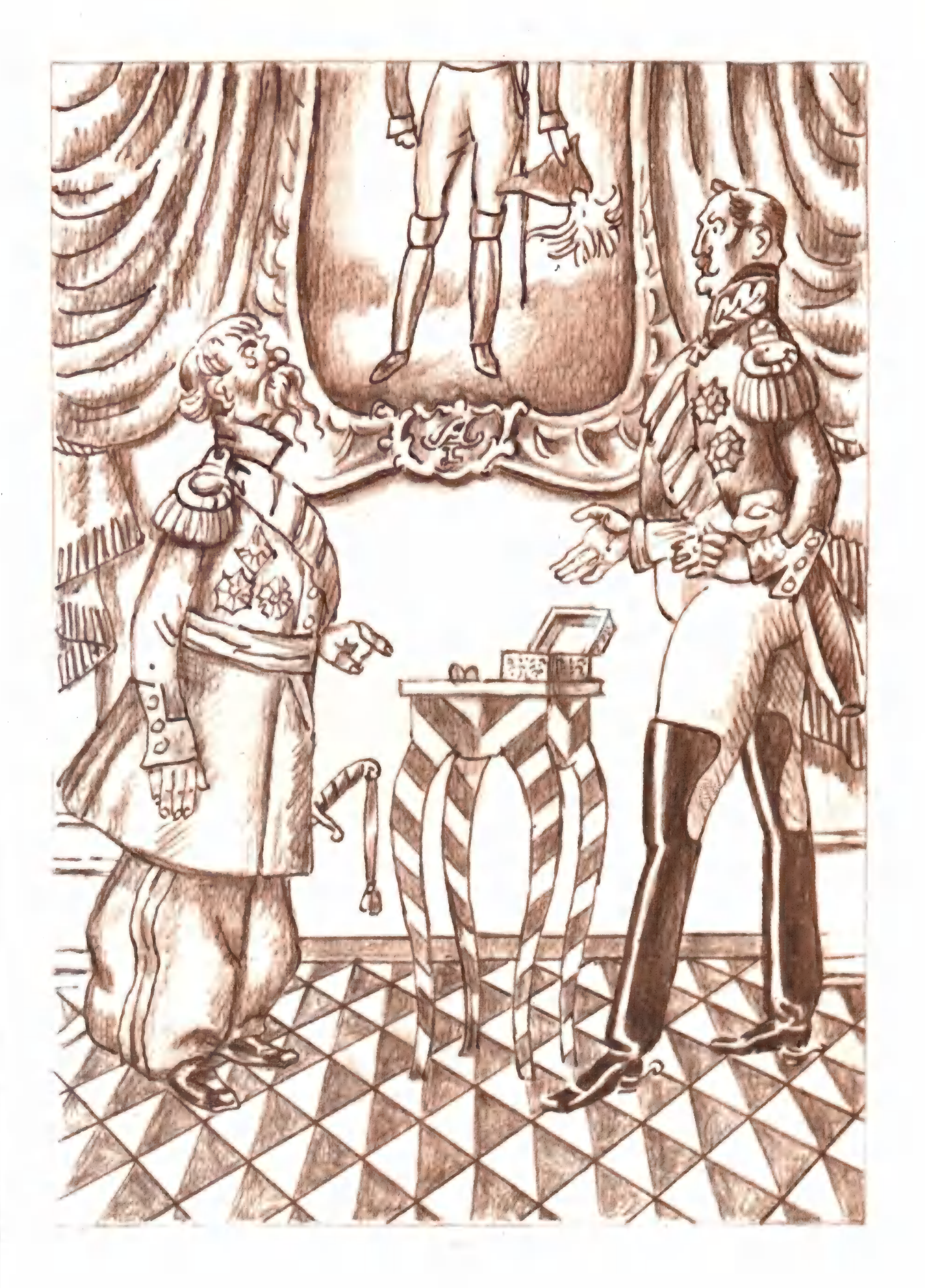
Встречая Голована где бы то ни было, Фотей заступал ему дорогу и кричал: «Долг подавай». И Голован, нимало ему не возражая, лез за пазуху и доставал оттуда медную гривну. Если же у него не случалось с собою гривны, а было менее, то Фотей, которого за пестроту его лохмотьев прозвали Горностаем, швырял Головану недостаточную дачу назад, плевал на него и даже бил его, швырял камнями, грязью или снегом.

Я сам помню, как однажды в сумерки, когда отец мой со священником Петром сидели у окна в кабинете, а Голован стоял под окном и все они втроем вели свой разговор, в открытые на этот случай ворота вбежал ободранный Горностай и с криком: «Забыл, подлец!» — при всех ударил Голована по лицу, а тот, тихонько его отстранив, дал ему из-за пазухи медных денег и повел его за ворота.

Такие поступки были никому не в редкость, и объяснение, что Горностай что-нибудь за Голованом знает, было, конечно, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у многих и любопытство, которое, как вскоре увидим, имело верное основание.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мне было около семи лет, когда мы оставили Орел и переехали на постоянное житье в деревню. С тех пор я уже не видал Голована. Потом наступило время учиться, и оригинальный мужик с большой головою пропал у меня из вида. И слышал я о нем только



раз, во время «большого пожара». Тогда погибло не только много строений и движимости, но сгорело и много людей — в числе последних называли Голована. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которой не видно было под пеплом, и «сварился». О семейных, которые его пережили, я не справлялся. После этого я вскоре уехал в Киев и побывал в родимые места уже через десять лет. Было новое царствование, начинались новые порядки; веяло радостной свежестью,— ожидали освобождения крестьян и даже поговаривали уже о гласном судопроизводстве. Все новое: сердца горели. Непримиримых еще не было, но уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели.

На пути к бабушке я остановился на несколько дней в Орле, где тогда служил совестным судьею мой дядя, который оставил по себе память честного человека. Он имел много прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий: он был в молодости щеголь, гусар, потом садовод и художник-дилетант с замечательными способностями; благородный, прямой, дворянин, и «дворянин au bout des ongles» [1]. Понимая по-своему обязательство этого звания, он, разумеется, покорствовал новизне, но желал критически относиться к эмансипации и представлял из себя охранителя. Эмансипации хотел только такой, как в Остзейском крае. Молодых людей он привечал и ласкал, но их вера, что спасение находится в правильном движении вперед, а не назад,— казалась ему ошибкой. Дядя любил меня и знал, что я его люблю и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдашних вопросах мы с ним не сходились. В Орле он делал из меня по этому поводу очистительную жертву, и хотя я тщательно старался избегать этих разговоров, однако он на них направлял и очень любил меня «поражать».

Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в которых его судейская практика обнаруживала «народную глупость».

Помню роскошный, теплый вечер, который мы провели с дядею в орловском «губернаторском» саду, занимаясь, признаться сказать, уже значительно утомившим меня спором о свойствах и качествах русского народа. Я несправедливо утверждал, что народ *очень* умен, а дядя, может быть, еще несправедливее настаивал, что народ *очень* глуп, что он совершенно не имеет понятий о законе, о собственности и вообще народ *азият*, который может удивить кого угодно своею дикостью.

— И вот,— говорит,— тебе, милостивый государь, подтверждение: если память твоя сохранила ситуацию города, то ты должен помнить, что у нас есть буераки, слободы и слободки, которые черт

[1] До кончика ногтей *(франц.)*.

знает кто межевал и кому отводил под постройки. Все это в несколько приемов убрал огонь, и на месте старых лачуг построились такие же новые, а теперь никто не может узнать, кто здесь по какому праву сидит?

Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы и их предки считали всякие документы совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в руки без всякого заявления властям и без всяких даней и пошлин в казну, а все это, говорят, писалось у них в какую-то «китрать», но «китрать» эта в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее,— умер; а с тем и все следы их владенных прав покончились. Правда, что никаких споров по праву владения не было, но все это не имело законной силы, а держалось на том, что если Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых; но как теперь требовались *права*, то прав нет, и совестному судье воочию предлежало решать вопрос: преступление ли вызвало закон или закон создал преступление?

— А зачем всё это они так делали? — говорил дядя.— Потому-с, что это не обыкновенный народ, для которого хороши и нужны обеспечивающие право государственные учреждения, а это *номады, орда*, осевшая, но еще сама себя не сознающая.

С тем мы заснули, выспались,— рано утром я сходил на Орлик, выкупался, посмотрел на старые места, вспомнил Голованов домик и, возвращаясь, нахожу дядю в беседе с тремя неизвестными мне «милостивыми государями». Все они были купеческой конструкции — двое сердовые в сюртуках с крючками, а один совершенно белый, в ситцевой рубахе навыпуск, в чуйке и в крестьянской шляпе «гречником».

Дядя показал мне на них рукою и говорит:

— Вот это иллюстрация ко вчерашнему сюжету. Эти господа рассказывают мне свое дело: войди в наше совещание.

Затем он обратился к предстоящим с очевидною для меня, но для них, конечно, с непонятною шуткою и добавил:

— Это мой родственник, молодой прокурор из Киева,— к министру в Петербург едет и может ему объяснить ваше дело.

Те поклонились.

— Из них,— видишь ли,— продолжал дядя,— вот этот, господин Протасов, желает купить дом и место вот этого, Тарасова; но у Тарасова нет никаких бумаг. Понимаешь: *никаких!* Он только

помнит, что его отец купил домик у Власова, а вот этот, третий,— есть сын господина Власова, ему, как видишь, тоже уже немало лет.

— Семьдесят,— коротко заметил старик.

— Да, семьдесят, и у него тоже нет и не было никаких бумаг.

— Никогда не было,— опять вставил старик.

— Он пришел удостоверить, что это так именно было и что он ни в какие права не вступается.

— Не вступаемся — отцы продали.

— Да; но кто его «отцам» продал — тех уже нет.

— Нет; они за веру на Кавказ усланы.

— Их можно разыскать,— сказал я.

— Нечего искать, там им вода нехороша,— воды не снесли,— все покончились.

— Как же вы,— говорю,— это так странно поступали?

— Поступали, как мощно было. Приказный был лют, даней с малых дворов давать было нечего, а была у Ивана Ивановича китрать, в нее и писали. А допреж его, еще не за моей памяти, Гапеев купец был, у него была китрать, а после всех Головану китрать дали, а Голован в поганой яме сварился, и китрати сгорели.

— Это Голован, выходит, был у вас что-то вроде нотариуса? — спросил дядя (который не был орловским старожилом).

Старик улыбнулся и тихо молвил:

— Из-за чего же мотариус! — Голован был справедливый человек.

— Как же ему все так и верили?

— А как такому человеку не верить: он свою плоть за людей с живых костей резал.

— Вот и легенда! — тихо молвил дядя, но старик вслушался и отвечал:

— Нет, сударь, Голован не лыгенда, а правда, и память его будь с похвалою.

Дядя пошутил: и с путаницей. И он не знал, как он этим верно отвечал на всю массу воспрянувших во мне в это время воспоминаний, к которым при тогдашнем моем любопытстве мне страстно хотелось подыскать ключ.

А ключ ждал меня, сохраняясь у моей бабушки.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Два слова о бабушке: она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род «не за богатство, а за красоту». Но лучшее ее свойство было — душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся

простонародный склад. Войдя в дворянский круг, она уступила многим его требованиям и даже позволяла звать себя Александрой Васильевной, тогда как ее настоящее имя было Акилина, но думала всегда простонародно и даже без намерения, конечно, удержала некоторую простонародность в речи. Она говорила «ехтот» вместо «этот», считала слово «мораль» оскорбительным и никак не могла выговорить «бухгалтер». Зато она не позволила никаким модным давлениям поколебать в себе веру в народный смысл и сама не расставалась с этим смыслом. Была хорошая женщина и настоящая русская барыня; превосходно вела дом и умела принять всякого, начиная с императора Александра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать ничего не читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в беседах, и для того «требовала людей к разговору». В этом роде собеседником ее был бурмистр Михайло Лебедев, буфетчик Василий, старший повар Клим или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе,— разбиралось, отчего на девку Феклушку мораль пущена или зачем мальчик Гришка мачехой недоволен. Вслед за таким разговором шли свои меры, как помочь Феклуше покрыть косу и что сделать, чтобы мальчик Гришка не был мачехой недоволен.

Для нее все это было полно живого интереса, может быть совершенно непонятного ее внучкам.

В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой ее пользовались соборный отец Петр, купец Андросов и Голован, которых для нее и «призывали к разговору».

Разговоры, надо полагать, и здесь были не пустые, не для одного препровождения времени, а, вероятно, тоже про какие-нибудь дела, вроде падавшей на кого-нибудь морали или неудовольствий мальчика с мачехой.

У нее поэтому могли быть ключи от многих тайностей, для нас, пожалуй, мелких, но для своей среды весьма значительных.

Теперь, в это последнее мое свидание с бабушкой, она была уж очень стара, но сохраняла в совершенной свежести свой ум, память и глаза. Она еще шила.

И в этот раз я застал ее у того же рабочего столика с верхней паркетной дощечкой, изображавшей арфу, поддерживаемую двумя амурами.

Бабушка спросила меня: заезжал ли я на отцову могилу, кого видел из родных в Орле и что поделывает там дядя? Я ответил на все ее вопросы и распространился о дяде, рассказав, как он разбирается со старыми «лыгендами».

Бабушка остановилась и подняла на лоб очки. Слово «лыгенда» ей очень понравилось: она услыхала в нем наивную переделку в народном духе и рассмеялась.

— Это,— говорит,— старик чудесно сказал про лыгенду.

А я говорю:

— А мне, бабушка, очень бы хотелось знать, как это происходило на самом деле, не по лыгенде.

— Про что же тебе именно хотелось бы знать?

— Да вот про все это: какой был этот Голован? Я его ведь чуть-чуть помню, и то все с какими-то, как старик говорит, лыгендами, а ведь, конечно же, дело было просто...

— Ну, разумеется, просто, но отчего вас это удивляет, что наши люди тогда купчих крепостей избегали, а просто продажи в тетрадки писали? Этого еще и впереди много откроется. Приказных боялись, а своим людям верили, и все тут.

— Но чем,— говорю,— Голован мог заслужить такое доверие? Мне он, по правде сказать, иногда представляется как будто немножко... шарлатаном.

— Почему же это?

— А что такое, например, я помню, говорили, будто он какой-то волшебный камень имел и своею кровью или телом, которое в реку бросил, чуму остановил? За что его «несмертельным» звали?

— Про волшебный камень — вздор. Это люди так присочинили, и Голован тому не виноват, а «несмертельным» его прозвали потому, что в этаком ужасе, когда над землей смертные фимиазмы стояли и все оробели, он один бесстрашный был, и его смерть не брала.

— А зачем же,— говорю,— он себе ногу резал?

— Икру себе отрезал.

— Для чего?

— А для того, что у него тоже прыщ чумной сел. Он знал, что от этого спасенья нет, взял поскорее косу, да всю икру и отрезал.

— Может ли,— говорю,— это быть!

— Конечно, это так было.

— А что,— говорю,— надо думать о женщине Павле?

Бабушка на меня взглянула и отвечает:

— Что же такое? Женщина Павла была Фрапошкина жена; была она очень горестная, и Голован ее приютил.

— А ее, однако, называли «Головановым грехом».

— Всяк по себе судит и называет; не было у него такого греха.

— Но, бабушка, разве вы, милая, этому верите?

— Не только верю, но я это *знаю.*

— Но как можно это *знать?*

— Очень просто.

Бабушка обратилась к работавшей с нею девочке и послала

ее в сад набрать малины, а когда та вышла, она значительно взглянула мне в глаза и проговорила:

— Голован был *девственник!*

— От кого вы это знаете?

— От отца Петра.

И бабушка мне рассказала, как отец Петр незадолго перед своей кончиною говорил ей, какие люди на Руси бывают неимоверные и что покойный Голован был девственник.

Коснувшись этой истории, бабушка вошла в маленькие подробности и припомнила свою беседу с отцом Петром.

— Отец Петр,— говорит,— сначала и сам усумнился и стал его подробнее спрашивать и даже намекнул на Павлу. «Нехорошо, говорит, это: ты не каешься, а соблазняешь. Не достойно тебе держать у себя сию Павлу. Отпусти ее с богом». А Голован ответил: «Напрасно это вы, батюшка, говорите: пусть лучше она живет у меня с богом,— нельзя, чтобы я ее отпустил».— «А почему?» — «А потому, что ей головы приклонить негде...» — «Ну так, говорит, женись на ней!» — «А это, отвечает, невозможно»,— а почему невозможно, не сказал, и отец Петр долго насчет этого сомневался; но Павла ведь была чахоточная и недолго жила, и перед смертью, когда к ней пришел отец Петр, то она ему открыла всю причину.

— Какая же, бабушка, была эта причина?

— Они жили по любви *совершенной.*

— То есть как это?

— Ангельски.

— Но, позвольте, для чего же это? Ведь муж Павлы пропал, а есть закон, что после пяти лет можно выйти замуж. Неужто они это не знали?

— Нет, я думаю, знали, но они еще кое-что больше этого знали.

— Например, что?

— А например, то, что муж Павлы всех их пережил и никогда не пропадал.

— А где же он был?

— В Орле!

— Милая, вы шутите?

— Ни крошечки.

— И кому же это было известно?

— Им троим: Головану, Павле да самому этому негодивцу. Ты можешь вспомнить Фотея?

— Исцеленного?

— Да как хочешь его называй, только теперь, когда все они перемерли, я могу сказать, что он совсем был не Фотей, а беглый солдат Фрапошка.

— Как! это был Павлы муж?

— Именно.

— Отчего же?..— начал было я, но устыдился своей мысли и замолчал, но бабушка поняла меня и договорила:

— Верно, хочешь спросить: отчего его никто другой не узнал, а Павла с Голованом его не выдали? Это очень просто: другие его не узнали потому, что он был не городской, да постарел, волосами зарос, а Павла его не выдала жалеючи, а Голован ее любячи.

— Но ведь юридически, по закону, Фрапошка не существовал, и они могли ожениться.

— Могли — по юридическому закону могли, да по закону своей совести не могли.

— За что же Фрапошка Голована преследовал?

— Негодяй был покойник,— разумел о них как прочие.

— А ведь они из-за него все счастие у себя и отняли!

— Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешагнет. Они же первое возлюбили паче последнего...

— Бабушка,— воскликнул я,— ведь это удивительные люди!

— Праведные, мой друг,— отвечала старушка.

Но я все-таки хочу добавить — и удивительные и даже невероятные. Они невероятны, пока их окружает легендарный вымысел, и становятся еще более невероятными, когда удается снять с них этот налет и увидать их во всей их святой простоте. Одна одушевлявшая их *совершенная* любовь поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с видениями, терзавшими св. Антония.

<1880>

ЛЕВША

(Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону прекло-

нять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть,— и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить: но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться,— Платов сказал себе:

«Ну, уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам».

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там,— говорит,— такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки [1], дерябнул хороший стакан, на дорожний складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и наконец в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на

[1] Кизлярки. *(Прим. автора.)*

что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит,— только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.

— Вот,— говорят,— какая у нас производительность,— и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах! — говорит,— как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? — думал Платов,— совсем того не понимаю»,— и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане всё государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар *молво?*

А англичане и не знают, что это такое *молво*. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды

до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот,— говорят,— изволите видеть соринночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это,— отвечают,— не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет,— отвечают,— не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же,— государь говорит,— я его не вижу?

— Потому,— отвечают,— что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте,— говорят,— взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами,— хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что, говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр, говорит, всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

— Оставь, пожалуста, это не твое дело — не порть мне политики. У них свой обычай.— И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана преламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, говорит, принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота [1]. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов

---

[1] «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея *Федотова*-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то *Федотов*-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». *(Прим. автора.)*

доводил, что и наши на что взглянут — всё могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты,— говорит,— к духовной беседе невоздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое,— говорит,— теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны,— а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки,— но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать,— никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я,— говорит,— пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это,— говорит,— так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии,— и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это,— говорит,— ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке,— тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали,— не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой

вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нацыя тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее,— говорят,— надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые приял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать,— остановись и спосылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть,— говорит,— будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего,— я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да не долго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу,— тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

— Тонкой работы,— говорят,— мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе *что-нибудь* государеву великолепию достойное представить.

А *что именно,* этого так-таки и не сказали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служе-

нию и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и престрашного» — святитель Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего не известно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит,— не выскочут ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда,— и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялся.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего

нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили,— тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще не скоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули

двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Всё,— отвечают,— готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и форейтор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех,— видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Всё здесь в вашем виду,— и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же,— отвечают.— Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил,— никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете,— мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны,— мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыжение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстанусь, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди,— говорит,— здесь до самого Петербурга вроде пубеля,— ты мне за всех ответишь. А вы,— говорит свистовым,— теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория,— говорит,— ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех,— а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то,— говорит Платов,— что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

— Я тебе,— говорит,— такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят,— потому они его терпеть не могли за храбрость.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут.— И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком,

потом пузичком,— словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает.— Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить,— пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы,— говорит,— вот как клали.— И положил блоху под мелкоскоп.— Смотри,— говорит,— сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь вопросил:

— А как же надо?

— Надо,— говорит,— всего одну ее ножку в подробности под

весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи,— говорит государь,— это уже очень сильно мелко!

— А что же делать,— отвечает левша,— если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы,— говорит,— был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы,— говорит,— увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет,— отвечает левша,— моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому,— говорит,— что я мельче этих подковок работал. я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты,— там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит,— это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все язы-

ки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть,— говорит,— над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще у́же перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: *«Ах люли — се тре жули»*.

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а ка́к чего-нибудь по-аглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет,— англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне,— он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть»,— и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

— А самого этого мастера,— говорят,— мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе — за руки. «Камрад,— говорят,— камрад— хороший мастер,— разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает,— может быть, отравить с досады хотите.

— Нет,— говорит,— это не порядок: и в Польше нет хозяина больше,— сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это,— спрашивают,— за книга в России Полусонник?

— Это,— говорит,— книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом,— говорит,— спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня,— говорит,— дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы,— говорит,— к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы,— говорят,— обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого,— ответил левша,— никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому,— отвечает,— что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы,— говорят англичане,— нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие,— отвечает левша,— действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому,— отвечает,— есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие,— говорит,— что у нас есть и боготворные иконы, и гроботочивые главы, и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают.— Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем,— говорит,— напрасно девушек морочить.— И отнекался.— Грандеву,— говорит,— это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

— А если,— говорят,— без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

— У нас,— говорит,— когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нацыи не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы,— говорят,— только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия,— отвечает левша,— нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же,— говорят,— ваш фасон лучше?

— Наш фасон,— отвечает,— в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнъ прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

— А потом,— говорят,— мы его на своем корабле привезем и *живого в Петербург доставим.*

На это он согласился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел, и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались,— и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает,— на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфирях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет,— засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это,— говорит,— против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли,— говорит,— я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как,— говорит,— они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы,— говорят,— парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр,— говорят,— смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

— Это все равно,— отвечает,— где умереть,— все единственно, воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет,— отвечает,— мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец,— говорит,— рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так,— отвечает полшкипер,— так давай держать с тобой аглицкое парей.

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится,— скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо,— говорит,— идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это,— говорит,— не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин.

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь,— говорит,— я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому, и вина, и холодной пищи, чтобы могли и пить, и есть, и свое пари выдержать,— а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.



Левша

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы,— говорит,— два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него,— говорит,— хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец,— говорит,— очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил — теперь меня больше не уважают,— а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

— Знай,— говорит,— свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал,— тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется»,— так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя,— в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».

<1881>

ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК

Рассказ на могиле

(Святой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.)

Души их во благих водворятся.
Погребальная песнь

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У нас многие думают, что «художники» — это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше как «серебряники». У других людей не так: Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи», а дамские платья работы Ворт и сейчас называют «художественными произведениями». Об одном из них недавно писали, будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе».

В Америке область художественная понимается еще шире: знаменитый американский писатель Брет Гарт рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который «работал над мертвыми». Он придавал лицам почивших различные *«утешительные выражения»*, свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.

Было несколько степеней этого искусства,— я помню три: «1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с богом». Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил «выражение блаженного собеседования с богом» лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни...

Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, во дни моего отрочества.

Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у Любови Онисимовны, мне минуло уже лет девять, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории.

Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но бела как лунь; черты лица ее были тонки и нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки.

Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она, несомненно, была в свое время красавица.

Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни трагическое и... иногда запивала.

Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала.

Тут я от нее и услыхал историю «тупейного художника».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он был собрат нашей няне по театру; разница была в том, что она «представляла на сцене и танцевала танцы», а он был «тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа «рисовал и причесывал». Но это не был простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с *идеями,*— словом, *художник.*

Лучше его, по словам Любови Онисимовны, никто не мог «сделать в лице воображения».

При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михайло Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына: Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году.

Ребенком, в сороковых годах, я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся

забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами:

— Погляди-ка, милый, туда... Видишь, какое страшное?

— Страшное, няня.

— Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней.

Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил иногда на «мужскую половину», то только в таком случае, если сам граф приказывал «отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения.

— Призовут его, бывало,— говорила Любовь Онисимовна,— и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался,— так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.

Словом, тупейный художник был красавец и «*всем* нравился». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того *всегда* держал его при своей уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода.

Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в бога не верил, а духовных терпеть не мог и один раз на пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил [1].

---

[1] Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом от моей бабушки Алферьевой и от известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который *сам видел,* «как псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что

Граф же, по словам Любови Онисимовны, был так страшно нехорош, через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее.

А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и «военного воображения».

И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий,— он сидел «весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А было ему тогда уже лет за двадцать пять, а Любови Онисимовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время гримировки.

Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы...

— Нас, актрис,— говорила Любовь Онисимовна,— берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут *кормилиц;* при нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство.

Завет целомудрия мог нарушать только «сам»,— тот, кто его уставил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах подпури», танцевала «первые па в «Китайской огороднице» и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли *наглядкою*».

В каких именно было годах — точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь (не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского.

Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не продавали), и спектакль поставили самый лучший. Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время самой последней репе-

---

«взял греха на душу». Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?» — Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский помиловал. *(Прим. автора.)*

тиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де Бурблян».

Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Онисимовна произносила ее именно так.

Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому.

— Тут,— говорила Любовь Онисимовна,— я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощенья просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал — заглядение.

Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что «Люба роли не испортит», ответил:

— За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня камариновые серьги.

«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенною на краткий миг в одалиски владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра «в невинном виде святою Цецилией», и во всем в белом, в венке и с лилией в руках символизированную innocence[1] доставляли на графскую половину.

— Это,— говорила няня,— по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

А в эти самые роковые часы другое — тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию.

Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже, и давно в деревне жил, и формы не надевал, и не брился, потому что «все лицо у него в буграх заросло». Тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и «в военное воображение», какое требовалось по форме.

А требовалось много.

— Теперь этого и не понимают, как тогда было строго,— гово-

---

[1] Невинность *(франц.)*.

рила няня.— Тогда во всем форменность наблюдалась и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе,— как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать,— от этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного призрения не обращали — от них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось — чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась.

Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем «заволохател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать.

Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирульников и говорит:

— Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь — бери золото и уходи, а если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь,— то сейчас убью.

А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.

В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили — рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались «преображать» Каменского. «Бог с тобою,— думают,— и с твоим золотом».

— Мы,— говорят,— этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на

ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может.

Граф велел выгнать городских цирульников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит:

— Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой: отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют.

Граф отвечает брату:

— Здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь — разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?

Тот говорит:

— А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.

А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно.

— После того,— говорит,— если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержанье всех лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется,— я его запорю и в солдаты отдам.

Брат и говорит:

— Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь, а водвою вместе это не сделаешь.

— Хорошо,— говорит граф,— пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.

— И это,— говорит,— последнее твое слово, брат?

— Да, последнее.

— И в этом только все дело?

— Да, в этом.

— Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего *пуделя остричь*. А там уже мое дело, что он сделает.

Графу неловко было от этого отказаться.

— Хорошо,— говорит,— пуделя остричь я его пришлю.

— Ну, мне только и надо.

Пожал графу руку и уехал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают.

Граф призвал Аркадия и говорит:

«Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя».

Аркадий спрашивает:

«Только ли будет всего приказания?»

«Ничего больше,— говорит граф,— но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цецилией».

Аркадий Ильич пошатнулся.

Граф говорит:

«Что это с тобой?»

А Аркадий отвечает:

«Виноват, на ковре оступился».

Граф намекнул:

«Смотри, к добру ли это?»

А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу.

Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом, да тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.

Графов брат говорит:

«Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно: сделай мне туалет в самой отважной мине и получай десять золотых, а если обрежешь — убью».

Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг,— господь его знает, что с ним сделалось,— стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман ссыпал и говорит:

«Прощайте».

Тот отвечает:

«Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?»

А Аркадий говорит:

«Отчего я решился — это знает только моя грудь да подоплека».

«Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?»

«Пистолеты — это пустяки,— отвечает Аркадий,— об них я и не думал».

«Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил».

Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:

«Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от бога: пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал».

И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет: «Не бойся, увезу».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и не заметно.

Со сцены видели и графа и его брата — оба один на другого похожи. За кулисы пришли — даже отличить трудно. Только наш тихий-претихий, будто сдобрившись. Это у него всегда бывало перед самою большою лютостию.

И все мы млеем и крестимся:

«Господи! помилуй и спаси. На кого его зверство обрушится!»

А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно, но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала: он сказал:

«Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет».

Наш только тихо улыбнулся.

Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так — чего никогда с ним не бывало — столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:

«Тро боку, тро боку!» [1] — и щеточкой лишнее с меня счистил.

[1] Слишком много *(франц.)*.

— А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией — одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено,— терпеть мы этого убора не могли. Ну, а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.

Это значит, чтобы, как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:

Приползут,— говорит,— змеи и высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпионы.

Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься.

А другие даже с медведями были прикованы, так, что медведь только на полвершка его лапой задрать не может.

Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню...

Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вкруг — тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят,— один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет... Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.

И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидании,— понимаю только: «Гонят, гонят, гони, гони!» — и больше ничего.

Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит:

«Любушка, голубушка! за нами гонятся... согласна ли умереть, если не уйдем?»

Я отвечала, что даже с радостью согласна.

Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много наших людей от Каменского бежали.

И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело и собаки залаяли; а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и сани, и лошади, все из глаз пропало.

Аркадий говорит:

«Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля божья: вот село Сухая Орлица — тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая — огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись.

«Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера».

Батюшка спрашивает:

«А что вы, светы мои, со сносом или просто беглые?»

Аркадий говорит:

«Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся».

Тот говорит:

«Нет, отчего же не могу? я могу. Что там еще в Хрущук везть. Давай за все вместе пять золотых,— я вас здесь окручу».

И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.

Священник взял и сказал:

«Ох, светы мои, все бы это ничего — не таких, мне случалось, кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж пускай, что бог даст, то и будет,— прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный и прячьтесь».

Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда своей попадье говорит:

«Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно,— она вся как голая».

А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию:

«Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть, а полезай-ка скорей под перину».

А мне говорит:

«А ты, свет, вот сюда».

Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошел приезжим двери открывать. А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят.

Вошло семь человек погони, всё из графских охотников, с кистенями и с арапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем.

Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропилейный, решатчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.

А старичок священник сробел, что ли, что дело плохо,— весь трясется перед дворецким, и крестится, и кричит скоренько:

«Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!»

А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.

«Пропала я»,— думаю, видя, как он это чудо делает.

Дворецкий тоже это увидал и говорит:

«Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов».

А поп опять замахал рукой:

«Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл».

А с этим все себя другою рукой по карману гладит.

Дворецкий и это чудо опять заметил и ключ у него из кармана достал и меня отпер.

«Вылезай,— говорит,— соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется».

А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.

«Да,— говорит,— видно, нечего делать, ваша взяла,— везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна: я ее силой умчал».

А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.

Тот говорит:

«Светы мои, видите, еще какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про это пресветлому графу».

Дворецкий ему отвечает:

«Ничего, не беспокойся, все это ему причтется»,— и велел нас с Аркадием выводить.

Рассадились мы все на трое саней, на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под такою же охраною повезли на задних, а на середних залишние люди поехали.

Народ, где нас встретит, все расступается,— думают, может быть, свадьба.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали: сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась.

Я всем говорю:

«Ах, даже нисколечко!»

Тут что́ мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым,— той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастие, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.

У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем...

Как почуяла я, что это его терзают... и бросилась... в дверь ударилась, чтоб к нему бежать... а дверь заперта... Сама не знаю, что сделать хотела... и упала, а на полу еще слышней. И ни ножа, ни гвоздя — ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться... Я взяла да своей же косой и замоталась... Обвила горло, да все крутила, крутила и слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги, и замерло... А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе... И телятки тут были... много теляточек, штук больше десяти,— такие ласковые, придет и холодными губами руку лижет, думает — мать сосет... Я оттого и проснулась, что щекотно стало... Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.

Заметила эта женщина, что я в признак пришла́, и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе... «Это вон там было»,— поясняла Любовь Онисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей? Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли «наблюдать» психозы.

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.

— Она, как убралася перед вечером,— продолжала няня,— сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит:

«Я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрядь носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай бог о том вспомнить, а тебе скажу: не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала,— на ссылу лучше, но только вот этого ужасного плакона берегись...»

И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает.

Я спрашиваю:

«Что это?»

А она отвечает:

«Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения».

Я говорю:

«Дай мне забвенного яду: я все забыть хочу».

Она говорит:

«Не пей — это водка. Я с собой не совладала раз, выпила... добрые люди мне дали... Теперь и не могу — надо мне это, а ты не пей, пока можно, а меня не суди, что я пососу,— очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение: *его* господь уж от тиранства избавил!..»

Я так и вскрикнула: «умер!» да за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы — белые... Что это!

А она мне говорит:

«Не пужайся, не пужайся, твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и ото всего тиранства спасен: граф ему такую милость сделал, какой никому и не было — я тебе, как ночь придет, все расскажу, а теперь еще пососу... Отсосаться надо... жжет сердце».

И все сосала, все сосала и заснула.

Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала, а меня тихо спрашивает:

«Спит горе или не спит?»

Я отвечаю:

«Горе не спит».

Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призвал и сказал:

«Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость: я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою,— я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали, и ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в полковых сержантах, и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская».

«Ему,— говорила пестрядинная старушка,— теперь легче и бояться больше нечего: над ним одна уже власть,— что пасть в сражении, а не господское тиранство».

Я так и верила, и три года все каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается.

Так три года прошло, и во все это время мне была божия милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в телячьей избе оставалась жить, при тетушке Дросиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела,

и когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер,— потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила, и за тетушку Дросиду много делала и с удовольствием: скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпоишь и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь и сама о нем после три дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тут, после того как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такою же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером: солнышко садится, а я у окна тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула — никого нет.

«Наверно,— думаю,— это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам с старушкой вбросил. И думаю себе: развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано? А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записочку с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу».

Развернула и стала читать, и глазам своим не верю...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Писано:

«Верная моя Люба! Сражался я, и служил государю, и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и кресты надену, и к графу явлюсь, и принесу все свои деньги, которые мне на леченье даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед престолом всевышнего создателя».

— А дальше,— продолжала Любовь Онисимовна, всегда с подавляемым чувством,— писал так, что «какое,— говорит,— вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за страда-

ние ваше, а не во грех и не за слабость поставляю и предоставляю то богу, а к вам одно мое уважение чувствую». И подписано: «Аркадий Ильин».

Любовь Онисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала, ни даже пестрядинной старухе, а только всю ночь богу молилась, нимало о себе слов не произнося, а всё за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер, и со крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде.

Просто сказать, боялась, что еще его бить будут.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что «на воле», за забором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.

— Что такое они говорили, того я,— сказывала она,— ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю ему:

«Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?»

А он отвечает:

«Это,— говорит,— они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем,— говорит,— горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови,— говорят,— и деньги при нем».

И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой...

Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича зарезал... и похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим... Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит... А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу... Мне не туда глядеть хочется,— указала она на мрачные и седые развалины,— а вот здесь возле него посидеть и... и капельку за его душу помяну...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и «помянула», или «пососала», но я ее спросил:

— А кто же здесь схоронил знаменитого тупейного художника?

— Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был.

Как же! Офицер,— его и за обедней и дьякон и батюшка «болярином» Аркадием называли и как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоялого дворника после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали, и он выдержал — жив остался и в каторжную работу клейменый пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так сто и один кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечет. Нарочно тогда палач, говорят, тульский был привезен, и ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что сто кнутов ударил всё только для одного мучения, и тот все жив был, а потом как сто первым щелканул, так всю позвонцовую кость и растрощил. Стали поднимать с доски, а он уж и кончается... Покрыли рогожечкой, да в острог и повезли,— дорогой умер. А тульский, сказывают, все еще покрикивал: «Давай еще кого бить — всех орловских убью».

— Ну, а вы же,— говорю,— на похоронах были или нет?

— Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог.

— И прощались с ним?

— Да, как же! Все подходили, прощались, и я... Переменился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный,— говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал... Сколько это он своей крови пролил...

Она умолкла и задумалась.

— А вы,— говорю,— сами после это каково перенесли?

Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.

— Поначалу не помню,— говорит,— как домой пришла... Со всеми вместе ведь — так, верно, кто-нибудь меня вел... А ввечеру Дросида Петровна говорит:

«Ну, так нельзя,— ты не спишь, а между тем лежишь как каменная. Это нехорошо — ты плачь, чтобы из сердца исток был».

Я говорю:

«Не могу, теточка,— сердце у меня как уголь горит, и истоку нет».

А она говорит:

«Ну, значит, теперь плакона не миновать».

Налила мне из своей бутылочки и говорит:

«Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь — пососи».

Я говорю:

«Не хочется».

«Дурочка,— говорит,— да кому же сначала хотелось. Ведь оно, горе, горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь этим ядом — на минуту гаснет. Соси скорее, соси!»

Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже... выпила... и теперь без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и винца покупаю... А ты, хороший мальчик, мамаше этого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди всё ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу... Сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.

Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее «плакончике».

— Спасибо, голубчик,— не говори: мне это нужно.

И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку... Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальной мама; потом тихонько стукнет шейкой «плакончика» о зубы, приладится и «пососет»... Глоток, два, три... Уголек залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку,— юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать — фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула.

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.

<1883>

ЧЕЛОВЕК НА ЧАСАХ

(1839 г.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.

Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический

анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.

Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокропогодило, что совсем как будто весне быть: снег таял, с крыш падали днем капели, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.

Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которою командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер, Николай Иванович Миллер (впоследствии полный генерал и директор лицея). Это был человек с так называемым «гуманным» направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.

На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В кордегардии тишина. Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой.

Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:

— Беда, ваше благородие, беда!

— Что такое?!

— Страшное несчастие постигло!

Н. И. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались «беда» и «страшное несчастие».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дело заключалось в следующем: часовой, солдат Измайловского полка, по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услыхал, что в полынье, которою против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи.

Солдат Постников, из дворовых господских людей, был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души.

Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется...

А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется.

Уж одно бы ему, кажется,— не тратя сил, спускаться на дно, так ведь нет! Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно тут, на этом пути, он попадет в иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед, и конец... Вот и опять стих, а через минуту снова полощется и стонет: «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется...

Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки.

С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное: так и ноет, так и стучит, так и замирает... Хоть вырви его да сам себе под ноги брось,— так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей... Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собст-

венно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и ничто иное вредное не случится. «Иль сбежать, а?.. Не увидят?.. Ах, господи, один бы конец! Опять стонет...»

За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать «сомнения рассудка». А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которою сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть, даже и «расстрел»; но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

— Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!

Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь... Конец!

Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают, да по ветру, прерываясь, долетает этот крик... может быть, последний крик...

Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькотало.

Часовой не выдержал и покинул свой пост.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья.

Утопающий схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег.

Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впоследствии упраздненной).

Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера, и притом немножко бестолковый, и изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать:

— Что за человек... что за люди?

— Тонул, заливался,— начал было Постников.

— Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?

А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет: он взял ружье на плечо и опять стал в будку.

Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатил с ним на Морскую, в съезжий дом Адмиралтейской части.

Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни.

Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззябший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его.

Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и, с свойственною полицейским людям подозрительностью, недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел? А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль «за спасение погибавших», объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.

А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие, быстрые течения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного утопленника в свои сани были неизвестны. Там измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат Постников, оставив будку, кинулся спасать человека, и как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться.

Мокрый и дрожащий солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в кордегардию, чистосердечно рассказал Н. И. Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицеймейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдет «горячка».

Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших.

Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиньину, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде.

Это было уже около трех часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Подполковник Свиньин не имел той жалостливости и того мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера: Свиньин был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего «службист» (тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением). Свиньин отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса ко злу и никому не искал причинить напрасное страдание; но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то Свиньин был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что́ придется претерпеть рядовому Постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит, и Свиньин об этом скорбеть не станет.

Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди, не симпатизировавшие Свиньину, потому что тогда еще не совсем вывелся «гуманизм» и другие ему подобные заблуждения. Свиньин был равнодушен к тому, порицают или хвалят его «гуманисты». Просить и умолять Свиньина или даже пытаться его разжалобить — было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закален крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место.

Свиньин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села; а между тем несчастная выходка человека из вверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что́ один из его солдат сделал под влиянием увлечения благороднейшим состраданием,— этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная

карьера Свиньина, а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него «слабые офицеры», что у них «люди распущены». А кто это наделал? — Свиньин. Вот так это и пойдет повторяться что «Свиньин слаб», и так, может, покор слабостью и останется несмываемым пятном на его, Свиньина, репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства Российского.

Изучением истории тогда хотя мало занимались, но, однако, в нее верили и особенно охотно сами стремились участвовать в ее сочинении.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Как только Свиньин получил около трех часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и, под влиянием страха и гнева, прибыл в караульню Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру все то же самое, что́ произошло на его часах и что́ он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат говорил, что он «богу и государю виноват без милосердия», что он стоял на часах и, заслышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и наконец на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы: покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.

Подполковник Свиньин был в отчаянии; он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его «гуманерией», которая ни на что не пригодна в военной службе; но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать если не оправдание, то хотя извинение такому поступку, как оставление часовым своего поста, было невозможно, и оставался один исход — скрыть все дело от государя...

Но есть ли возможность скрыть такое происшествие?

По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, но знал и

тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокошкина.

Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?

Свиньин хотел скакать к великому князю Михаилу Павловичу и рассказать ему все чистосердечно. Такие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь, по своему пылкому характеру, рассердится и накричит, но его нрав и обычай были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжко обидит, тем он потом скорее смилуется и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. «Брань на вороту не висла», и Свиньин очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению, но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к Михаилу Павловичу после того, когда Кокошкин побывает с докладом у государя, будет уже поздно. И пока Свиньин волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В ряду известных военных приемов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее стенами. Свиньин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину.

Об обер-полицеймейстере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим, утверждали, что он обладает удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только «умеет сделать из мухи слона, но так же легко умеет сделать из слона муху».

Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к себе, но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шалунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и Свиньин, и капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию и его «многостороннему такту», который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием.

Свиньин надел шинель, устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз: «Господи, господи!» — поехал к Кокошкину.

Это был уже в начале пятый час утра.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Обер-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о Свиньине, приехавшем по важному и не терпящему отлагательств делу.

Генерал немедленно встал и вышел к Свиньину в архалучке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал Свиньин, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно:

— Солдат бросил будку и спас человека?

— Точно так,— отвечал Свиньин.

— А будка?

— Оставалась в это время пустою.

— Гм... Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли.

Свиньин из этого еще более уверился, что ему уже все известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицеймейстера.

Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицеймейстера, да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал утопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей.

Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер.

Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто, во-первых, страшною усталостью, которую он в это время испытывал после

целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, прямо не касалось.

Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение.

Он послал за приставом Адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свиньина просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям «сорок тысяч курьеров», о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя.

Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.

Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей.

Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свиньина.

— Протокол? — односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин.

Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал:

— Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету...

— Хорошо.

Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав.

— Что такое?

Послышался неясный шепот пристава и ясные покрякиванья генерала...

— Гм... Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть... Они на том стоят, чтобы сухими выскакивать.... Ничего больше?

— Ничего-с.

Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомне-

ний, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному:

— Как ты, братец, попал в полынью против дворца?

— Виноват,— отвечал спасенный.

— То-то! Был пьян?

— Виноват, пьян не был, а был выпимши.

— Зачем в воду попал?

— Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду.

— Значит, в глазах было темно?

— Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!

— И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?

— Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется.— Он указал на офицера и добавил: — Я не мог рассмотреть, был испужамшись.

— То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвовал за тебя своею жизнью!

— Век буду помнить.

— Имя ваше, господин офицер?

Офицер назвал себя по имени.

— Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Ты православный?

— Православный, ваше превосходительство.

— В поминанье за здравие это имя запиши.

— Запишу, ваше превосходительство.

— Молись богу за него и ступай вон: ты больше не нужен.

Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили.

Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостию божиею!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:

— Вы спасли этого человека, рискуя собственною жизнью?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?

— Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.

— О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?

Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул.

Но офицер не сробел, а вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:

— С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.

— Ваш поступок достоин награды.

Тот начал благодарно кланяться.

— Не за что благодарить,— продолжал Кокошкин.— Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобитесь.

Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.

Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:

— Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.

— Слушаю-с,— отвечал понятливо пристав.

— Вы мне больше не нужны.

Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по набожной привычке, перекрестился.

Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали.

В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Свиньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил:

— Вы не были у великого князя?

В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.

— Я прямо явился к вам,— отвечал Свиньин.

— Кто караульный офицер?

— Капитан Миллер.

Кокошкин опять окинул Свиньина взглядом и потом сказал:

— Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили.

Свиньин даже не понял, к чему это относится, и промолчал, а Кокошкин добавил:

— Ну все равно: спокойно почивайте.

Аудиенция кончилась.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В час пополудни инвалидный офицер действительно был опять потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалид-



Левша

ной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалует ему медаль «за спасение погибавших». При сем Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свиньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить point sur les *i* [1].

Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою Спасителя и, возвратясь домой с успокоенною душой, послал попросить к себе капитана Миллера.

— Ну, слава богу, Николай Иванович,— сказал он Миллеру,— теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы, без сомнения, обязаны сначала милосердию божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвастовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было воспользоваться для спасения многих, и Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности,— напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною *очень доволен*. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.

— Да, пора! — подсказал обрадованный Миллер.

— Ну, конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумя стами розог.

---

[1] Точку над *i* *(франц.)*.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Миллер изумился и сделал попытку склонить Свиньина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но Свиньин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.

— Нет,— перебил он,— это оставьте: я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!

Свиньин переменил тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью:

— А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации в ваших подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно... как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом: они товарища не секут как должно, а только блох у него за спиною пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.

Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира.

Рота была выстроена на дворе измайловских казарм, розги принесены из запаса в довольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников «был сделан» при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все point sur les *i*, в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Батальонный командир Свиньин, по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был «сделан как следует». Свинь-

ин остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал:

— Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость.

И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда; а такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастию его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюций, о которых выше рассказано.

Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Под сурдинкою подвиг рядового Постникова расползся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя — солдата Постникова — утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтический характер.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили: один — должную награду, а другой — заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к «светским событиям» владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиньиных.

Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волн Невы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и суесловят, но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Однажды, когда Свиньин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним «кстати о выстреле». Свиньин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали «кстати о выстреле».

Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свиньин кончил, владыко тихо журчащею речью произнес:

— Посему надлежит заключить, что в сем деле не все и не везде излагалось согласно с полною истиной?

Свиньин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин.

Владыко в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил:

— Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.

Опять четки, опять молчание, и наконец тихоструйная речь:

— Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.

— Это действительно так,— заговорил поощренный Свиньин.— Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг...

Четки и тихоструйный перебив:

— Долг службы никогда не должен быть нарушен.

— Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя... Это высокое, святое чувство!

— Святое известно богу, наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенесть на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость от вас нимало не пострадала.

— Но он лишен и награды за спасение погибавших.

— Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас — подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг.

Пауза, четки и тихоструй:

— Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее — это то, чтобы хранить о всем деле сем осторож-

ность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказывано.

Очевидно, и владыко был доволен.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым, по великой их вере, дано проницать тайны божия смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятно, и сам бог был доволен поведением созданной им смирной души Постникова. Но вера моя мала; она не дает уму моему силы зреть столь высокого: я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа.

<1887>

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

(Пейзаж и жанр)

Днем они сретают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью.

Иова, V, 14

У Спаса бьют, у Николы звонят, у старого Егорья часы говорят.

В. Даль (Присловие)

I

Зимний, северный день с небольшою оттепелью. Два часа. Рассвет не успел оглядеться, и опять смеркается.

В гостиной второй руки сидят за столом хозяйка и гостья. Хозяйка стара, и вид ее можно бы назвать почтенным, если бы на лице ее не отпечатлелось слишком много заботливости и искательности. Она зрела когда-то лучшие дни и еще не потеряла надежды их возвратить, но она не знает, что́ для этого надо сделать. Чтобы ничего не упустить, она готова быть всем на свете: это «сосуд», сформованный «в честь» и служащий ныне «сосудом в поноше-

ние». Гостья, которую застаем у этой хозяйки, тоже не молода. Во всяком случае, она уже дожила до тех лет, когда можно отказаться от игры в чувства, но она, кажется, от этого еще не отказалась. Эта женщина, без сомнения, была замечательно хороша собою, но теперь, когда она отцвела, от прежних красот остались только «боресты»; фигура ее, однако, еще гибка, и черты лица сохраняют правильность, а в выражении преобладает замечательная смешанность: то она смотрит тихою ланью, то вдруг эта лань взметнется брыкливою козой.

Бескорыстно увлекаться этою дамой уже нельзя, но, быть может, что-нибудь в этом роде еще возможно, если она поставит вопрос иначе. В своей манере держаться по отношению к солидной хозяйке гостья оттеняет что-то особенно теплое и почтительное, даже как бы дочернее, но эти дамы вовсе не родственницы. Их соединяет дружба, основанная не на одном согласии их вкусов, но и на единстве целей: их объединяет «métier».[1]

Теперь они пьют чай, который подан на гара́ховском сервизе, покрытом вязаным одеяльцем, и гостья сообщает хозяйке о том, что́ случилось замечательного, и о том, что́ «говорят». Говорят о соперничестве двух каких-то чудотворцев, а случилось нечто еще более интересное и достойное внимания: вчера совершенно неожиданно приехала из-за границы кузина Олимпия. Это известная особа, она с давних пор посвятила себя «вопросам» и постоянно живет в чужих краях; но когда она приезжает сюда, она привозит с собою кучу новостей и «делает оживление». Ее жизнь есть нечто удивительное: она не богата. О, совсем не богата! Она даже не имеет решительно никаких средств, но при всем том она ни у кого не занимает и не жалуется на свое положение, а еще приносит своей стране очень много пользы.

Таких дам теперь, слава богу, есть несколько, но Олимпия занимает между ними самое видное место. У нее большое и прекрасное родство. Она родственница и тем двум дамам, которые здесь о ней разговаривают. Во всех глазах Олимпия — величина очень большая, и все ей верят, несмотря на предостережение, которое Диккенс делал против всех лиц, живущих неизвестными средствами.

Домой, на родину, Олимпия навертывается всегда внезапно и на короткое время: приедет, бросит взгляд, с одним, с другим повидается, «освежит ресурсы» и уедет снова. Многие говорят, что она очень талантлива, но, что еще важнее всего, она совершенно необходима.

Хозяйка на нее немножко недовольна и обращает внимание

---

[1] Ремесло *(франц.)*.

на то, как дует в окна. Кроме того, она сообщает, что Виктор Густавыч сожалеет еще, что Олимпия не хочет «ладить». Иначе она непременно стала бы очень необходима.

— Впрочем, это нимало не мешает Олимпии отлично себя держать,— заключает хозяйка,— так как Виктор Густавыч сам ни в чем не уверен. Это немало значит.

Гостья глядит глазами лани и этим взглядом отвечает, что она согласна, причем делает маленькое движение брыкливой козы и взглядывает на шезлонг, помещающийся перед камином между трельяжем и экраном.

В стороне от дам, в очень глубоком кресле за трельяжем, полулежит, скрестив на груди руки и закрыв глаза, миловидная девушка лет двадцати трех или четырех. Она, по-видимому, совсем не интересуется тем, о чем говорят дамы: она устала и отдыхает, а может быть, она даже спит. Эта девушка — племянница хозяйки; родные называют ее просто Лидия, а чужие Лидия Павловна. Она нелюбима в своей семье, потому что ведет себя не так, как хочется матери и братьям. Братья ее — блестящие офицеры, и один из них уже дрался на дуэли. Лидия не в фаворе тоже и у тетки, которую она зашла теперь навестить в кои-то веки, но и то не скрыла, что чувствует себя здесь не на своем месте.

Хозяйка посмотрела на Лидию и сказала:

— Она спит. Впрочем,— добавила она,— если б она и не спала, это ей все равно: она нимало не интересуется обществом. Что не касается их курсов, того ей и не надо. Но Олимпия, в которой я не отрицаю ее ума и связей, все-таки очень шлепнулась с тех пор, как она в свой прошлый приезд хотела развести историю с этими высеченными болгарами. Помните, какая тогда с этим было вышла чепуха. Они тогда прознали, что она едет, и сами наехали сюда в большом множестве и все рассказывали, что у них будто бы уже всех секут и что их самих будто тоже всех высекли. Олимпия хотела этим воспользоваться, но увлеклась, и когда с ней спорили, что они хвастаются, то она уверяла, что их будто здесь осматривали в какой-то редакции, и потом, чтобы поднять их значение, она хотела нарочно открыть с ними бал, но тогда стали говорить, что иностранки, пожалуй, не пойдут, потому что, знаете, с сечеными ведь некоторые не танцуют.

— Я помню это. И, как хотите, танцевать с сечеными... Это... это очень необыкновенно!

— Ну да! — продолжала хозяйка,— а после кто-то проведал, что это даже и затевать не надобно, потому что эти господа будто сами себя здесь секут в каком-то переулке, для того чтобы им удобнее было привлечь внимание... Говорили, что Олимпия будто это и знала... Это бог весть что такое!.. А потом опять оказалось, будто

и это неправда, потому что в переулке их хоть и секли, но совсем не для этого, а их так лечил какой-то их компатриот, вроде массажа... Бог уж их знает, как и разобрать, что правда и что неправда.

— Да, это вышла какая-то путаница, в которой нельзя было ничего разобрать, кроме того, что их секли там и секли здесь.

— Вот именно — разгордьяж! И это повело к большой потере, потому что брат Лука рассердился и не только перестал давать денег на славянство, а даже не захотел и слушать. Он ведь, знаете, как осел упрям и прямо сказал: «Все обман!» — и не велел пускать к себе не только славян, а и самое Олимпию, и послал ей в насмешку перо.

— Какое перо?

— Не знаю какое,— говорили, будто сорочье перо, в шапочку.

— Да разве?

— Конечно! Вот, дескать, тебе, сорока, летай, и теперь никого не принимает.

— На каком это основании Лука Семеныч так дорого ценит свои приемы?

— Богат и ни у кого ничего не ищет,— вот и может не принимать, кого не хочет видеть.

— Но ведь у него никакого другого влияния и нет?

— Никакого. Но все боятся, что он их не примет.

Гостья понизила тон и спросила:

— Вы у него этой зимой были?

Хозяйка сделала отрицательный знак и проговорила:

— Он слишком колок.

— И Аркадий тоже, кажется, у него не бывает?

— Ни Аркадий, ни Валерий: он моих обоих сыновей ненавидит.

— Сварливый старик! Кого же он, однако, теперь принимает?

— Из всех родных к нему теперь вхожи только двое: брат Захар и вот она — Лида.

Гостья кивнула головой на трельяж и улыбнулась.

— Что он принимает Лидию Павловну — это я понимаю. Не принимать людей с весом и значением и ласкать племянницу-фельдшерицу, которая идет наперекор общественным традициям,— это в его вкусе. Так Лука Семеныч манкирует тем, кто желал бы быть у него принят. Но почему из всех родных второе исключение предоставлено Захару Семенычу? Наш милый генерал такой же, как и все мы, бедный грешник.

— Старик Захарушку щадит: «Он,— говорит,— наш брат Захар, наказан в сытость за якшательство с дурными людьми. Пусть бог простит, что он себе устроил».

— Ах, вот что!

Девушка за трельяжем пошевелилась. Дамы это заметили, и гостья, улыбнувшись, промолвила тихо:

— Неужели она опять уснет?

— Наверное,— отвечала хозяйка.— Она так повсеместно: придет, поспит и побежит в свою вонючку «совершать свое дело — потрошить чье-то мертвое тело». Но, однако, надо сказать, что Бертенсон их отлично держит в руках, особенно с тех пор, как они его огорчили.

— Но ведь и он их потом проучил...

— Это правда, но они все-таки от него много терпят.

— Но отчего же Лидии Павловне дома не спать?

— Хаос в семье, все друг другу не нравятся, ей неприятно слышать, что говорят ее братья о гиппических конкурсах и дуэлях, а тем неприятно, что она потрошит мертвое тело, да и матери неприятно слышать, чем она занята, вот и идет весь дом — кто в лес, кто по дрова... Но зато брат Лука ее очень ласкает и даже посылает ей цветы в вонючку.

Гостья кивнула на спящую и тихо спросила:

— Она ведь скоро кончит и будет фельдшеричка?

— Да.

— Мне помнится, она еще давно как будто бы училась перевязкам?

— Ах, ее ученьям несть конца: и гимназия, и педагогия, и высшие курсы — все пройдено, и серьги из ушей вынуты, и корсет снят, и ходит девица во всей простоте.

— По-толстовски?

— Мм... Ну, к Толстому, знаете... молодежь к нему теперь уже совсем охладевает. Я говорила всегда, что это так и будет, и нечего бояться: «не так страшен черт, как его малютки».

Гостья улыбнулась и заметила:

— Это правда: он надоел своей моралью, но ведь было время, что вы не держались этой пословицы, а раньше и сами к нему были пристрастны.

— Я? Да, я переменилась, и я этого и не скрываю. Я всегда очень любила чтение и тогда во всех отношениях была за Толстого. Его Наташа, например! Да разве это не прелесть? Это был мой идол и мое божество! И это так увлекательно, что я не заметила, где там излит этот весь его крайний реализм — про эти пеленки с детскими пятнами. Что же такое? Дети мараются. Без этого им нельзя, и это не производило на меня ничего отвратительного, как на прочих. Или вспомните потом, как у него описан этот Александр Первый.

— Как же! Он одевается?

— Да. Помните, как он пристегивает помочи?

— Ах, это божественно!

— Да; но разве там только одни помочи? Ведь он перед вами тут же весь, как живой!.. Я его вижу, я его чувствую!..

— Тоже очень хорош и Наполеон с его темными глазами.

— У Наполеона были серые глаза.

— Но они давали такое впечатление...

— Об этом не спорю; в этом во всем Толстой несравненен. Тут нет и спора, но когда он заумничался, бросил свое дело и стал писать глупости, вроде того, чтобы запрещать людям есть мясо и чтобы никто не женился, а девушки чтобы зашивались по шею и не выходили замуж, то я сразу же прямо сказала: это вздор! Тогда лучше всех свесть к скопцам, и конец, но я, как православная, я не хочу быть на его стороне.

Тут гостья тихо заметила, что Толстой *собственно* никогда никому не *запрещал* есть мясо и, кажется, говорил, что иным даже надо жениться.

— Да, я знаю, что *собственно* он еще ничего не запрещал, но, *однако*, для чего он об этом писал так сильнодержавно?

— Да, он, конечно, писал очень смело, но собственно он, слава богу, у нас еще даже не имеет и права ничего запретить.

— Конечно, слава богу! Но для чего он все это одно только и твердит? Вот это зачем? Он убеждает, что злых не надо обижать, или просто доказывает, что без веры нельзя служить, и все это очень мило, но вдруг сорвется и опять начинает писать глупости: например, зачем мыло? Ну, скажите на милость: он не знает, зачем мыло! Позвольте, но как же без мыла: как мыть руки, голову и, наконец, белье? В золе его, что ли, золить? Но, однако, я бы ему еще и это простила за его прежнее. По совести говоря, все мужчины глупы, когда берутся не за свое дело; но мало ли что говорится! Не всякое же лыко в строку: вольному воля, а спаси нас рай. То же и о мясе. Кто любит рыбное или мучное, пусть и не ест мяса. Какая форма правления ни будь, а к этому нигде и никто никого не принуждает... Сделайте милость! Еще, может быть, от этого для нас филейная вырезка дешевле будет. Не правда ли?

— Конечно.

— Ну, то-то и есть! Все равно и те, кто не хочет жениться или которые не хотят замуж выходить,— они пусть так и остаются, как им угодно. Ведь о них и в Евангелии сказано: «суть скопцы...» Понимаете, это безумцы!

Гостья сделала согласный знак головой.

— У моих сыновей, когда они были мальчики,— продолжала хозяйка,— был репетитор из академистов, очень честолюбивый, но

смешной, и все собирался в монахи, а когда мы ему говорили: «Вы, monsieur, лучше женитесь!» — так он на это прямо отвечал: «Не вижу надобности».

Дама слегка полуоборотилась к трельяжу и сказала:

— Лидия, ты проснулась или спишь еще?

— Да, ma tante[1],— ответил полусонный контральто.

— То есть что же это значит: ты выспалась или ты еще спишь?

— Вы, ma tante, вероятно, хотите говорить о чем-нибудь, чего я не должна понимать, и хотите, чтоб я вышла?

— Я хотела бы, чтобы ты вышла, но только не из комнаты, а вышла бы, наконец, замуж.

— А я тоже спрошу вас, как ваш семинарист: «для какой надобности?»

— А вот хотя бы для той надобности, чтобы при тебе можно было обо всем говорить, не стесняясь твоим присутствием.

— Да мне кажется, вы и так не стесняетесь.

— Ну, нет!

— Значит, я еще мало знаю; но считайте, что я замужем и знаю все, что вам известно.

— Послушайте, пожалуйста, что она говорит на себя! Но я вам что-то хотела сказать... Ах да!.. Вы ведь, наверное, слышали, что все рассказывали о том, как к графу приехал будто один родной, какой-то гусар, в своей форме, все в обтяжку, а он будто взял и подвязал ему нянькин фартук, а иначе он не хотел его пустить в салон.

— Да, об этом говорили... и, говорят, это правда.

— Ну да! И если хотите, по-моему, гусарская форма в самом деле... не совсем скромно.

— Да, но очень красиво!

— Красиво — да. Но и этот фартук, ведь это тоже дерзость! Гусар — и в фартуке! Но вот чего ему еще больше нельзя простить, это его несносная проницательность. От нее общественный вред.

— Вот, вот! Конечно, вред обществу нельзя позволить. Я слушаю, в чем вы видите это дело?

II

— А дело в том, что по какому праву господин граф портит нашу прислугу? Если он себя приучил, чтобы все за собою прибирать, то это для него и преудобно; но мы к этому пока еще ведь не стремимся. Не так ли?

---

[1] Тетушка *(франц.)*.

— Конечно.

— Так для чего же он навязывает нам невозможную жизнь панибратства с прислугою, которая и груба и порочна?

— Это глупо.

— Конечно, глупо! Я внушила Аркадию, чтоб он сделал это в смешные стихи и прочитал. Вы знаете, его талант в свете ведь очень многим нравится.

— Да, это все говорят, и он такой искательный... О, он пойдет!

— Может быть, и даже вероятно; но о будущем нельзя так судить: будущее, как говорят, «в руках всемогущего бога». Только, конечно, ему в его успехе очень много помогает его симпатичный талант. Второй мой сын, Валерий, совсем иной: это практик!

— О, разумеется! — отвечала, немного смутившись, гостья и торопливо повернула вопрос в другую сторону.— В чем же именно Толстой портит с прислугою? — спросила она.

— Извольте! — отвечала хозяйка.— Мы будем говорить о прислуге как настоящие чиновницы, но это не пустой вопрос: о прислуге говорит Шопенгауер. Прислуга может вас успокоить и может расстроить. Я вам не буду приводить всех толстовских рацей о прислуге, а прямо дам вам готовую иллюстрацию, как это отражается. У меня вышло расстройство с моей камеристкой... Лидия мешает вам *все* рассказать, но я не могу утерпеть и кое-что расскажу.

— Пожалуйста, ma tante, говорите все, что хотите! — отозвалась девушка.— Я сейчас вот досплю последний кусочек и уйду.

— Коротко скажу,— продолжала хозяйка,— пришлось перед праздником негодницу прогнать. Ну, а перед праздниками, вы знаете, каков наш народ и как трудно найти хорошую смену. Все жадны, все ждут подарков, а любви к господам у них — никакой. На русский народ очень хорошо смотреть издали, особенно когда он молится и верит. Вот, например, у Репина, в «Крестном ходе», где, помните, изображено, как собрались все эти сословные старшины...

— Да; или акварель Петра Соколова...

— Да, но тут немножко много синей краски.

— Это правда: он переложил.

— Наши художники вообще не знают меры.

— Да, но ведь все дело в впечатлении... А у меня,— вы знаете ее,— есть одна знакомая: мы все зовем ее «апостолица». Наверное, знаете!

— Конечно, знаю: вы говорите о Marie?

— О ней. Теперь есть несколько подобных ей печальниц, но эту я с другими не сравню. Эта на других не похожа, и притом она уже относится к доисторическим временам, когда еще все

мы говорили по-французски, и не было в моде ни Засецкой, ни Пейкер, и даже еще сам Редсток не приезжал... Ух, какая старина! Василий Пашков был еще в военном, а Модест Корф обеими руками крестился и при всех в соборе молебны служил в камергерском мундире. А что до Алексея Павловича Бобринского, так он тогда был еще совсем воин галицкий и так кричал, что окна в министерстве дрожали. Сережа Кушелев даже очень мило нарисовал все это в карикатуре и возил всем показывать, и все очень смеялись.

— Я все это помню.

— Да, это ведь несправедливость, что будто Толстой завел моду ходить пешком и трудиться: Marie это раньше всех, первая стала делать. Она и полы сама мыла и выносила все за больными до гадости. Даже она несколько раз ходила с Николаем Андреевичем в портерные, хотела спасать там каких-то несчастных девчонок, которые их же и просмеяли... Конечно, нельзя же их всех спасать — это глупость: они необходимы, но все-таки со стороны Marie было доброе желание... а как в полиции тогда был Анненков, то он все уладил, и скандала не вышло.

— Я помню: это смешно рассказывали.

— О, это было преинтересно, но все равно Marie и теперь такая же осталась: «мать Софья и о всех сохнет». Она ни Редстока не ревновала к богу, ни Пашкова, и Толстого теперь не ревнует: ей как будто они все сродни, а о самой о ней иначе нельзя сказать, как то, что хотя она и сектантка и заблудшая овца, а все-таки в ней очень много доброты и жалости к людям. Это лучше всей ее веры.

— Ах, кажется это так!

— Конечно, что же их вера? Ведь очень многие эти девочки совершенно жалки: мужчины их сманят с собой и бросят... Помните, как это сделал Бертон? Увез, бросил и живи как хочешь; а Marie проводит всю жизнь в заботах о ком-нибудь. Если хотите найти сердечного человека, идите к ней: у нее всегда есть запас людей «униженных и оскорбленных». Я к ней и обратилась с просьбой порекомендовать мне скромную и правдивую девушку, чтобы не было в доме дурного примера и фальши. Главное, чтобы не было фальши, так как я фальшь ненавижу. А Marie даже обрадовалась. «Ах, как мне приятно слышать, говорит, ваше рассуждение! Ложь — это порок, которым сатана начал порчу человека. Он ведь *обманул* Еву?» Да, да, да, думаю; ты очень начитана, но ты это далеко берешь о прародителях и о сатане, а я тебя просто прошу о горничной девушке.

«Ну да, есть и такая! — отвечает Marie,— у меня теперь приютилась в ожидании места как раз такая превосходная девушка».

«Не притворщица и не побегушка?»

«О, как можно! Она христианка!»

«Да ведь у нас все крещеные и даже православные, но нравы и правила у всех ужасные».

«Нет, что вы: у христиан прекрасные правила! Притом это девушка, которая всегда занята, работает и читает «посредственные книжки».

«Ага, значит, она толстовка! Ну, ничего: я всякие утопии ненавижу, но прислуге вперять непротивление злу, по-моему, даже прекрасно. Давайте мне вашу непротивленку! Я ее буду отпускать к моленью. Где они собираются молиться? Или они совсем не молятся?»

«Не знаю,— говорит: это дело совести, об этом не надо спрашивать».

«Конечно, мне бог с ней, как она хочет. Но как ее звать?»

«Федорушка».

«Ай, какое неблагозвучное имя!»

«Отчего же? Очень хорошо! Вы зовите ее Феодора, или даже Theodora. Чего же лучше?»

«Нет, это театрально, я буду звать ее Катя».

«Зачем же?»

«Ну, это,— говорю,— у меня такой порядок».

Marie не стала возражать и прислала мне свою непротивленку, и вообразите, девушка мне очень понравилась, и я ее наняла.

— Почем? — спросила гостья.

— Семь рублей в месяц.

— Как очень дешево.

— Да. Но она больше и не требовала. Она сама даже совсем ничего не просила, а сказала: «Сколько буду стоить, столько и положите». Я и назначила. Но позвольте, это ведь не в том дело; а она мне тогда очень понравилась, потому что действительно она выглядела этакая опрятная и скромная. А я, признаться, когда услыхала, что она непротивленка, то я опасалась за ее опрятность, так как в ихних книжках ведь есть против мыла, и я помню, няня читала, как на одну святую бросился бесстыжий мурин, но как она никогда мылом не мылась, то этот фоблаз от нее так и отскочил.

— Это ужасно!

— Да, все другие подверглись, а она нет; но я решительно не понимаю, неужели Толстой из-за этого против мыла?

— Ах, нет же! Вы разве забыли, из чего мыло сгущают?

— Из мясного сока.

— Ну вот и разгадка.

— Тетя! — отозвалась из-за трельяжа девушка.— Ну как вам это не стыдно говорить такие вздоры?

— А что такое?

— Из мяса мыла не варят, и притом очень много мыла делают не из животных, а из растительных жиров. Наконец есть яичное мыло, которое вы и покупаете.

— Ах, правда, правда! Точно, есть яичное мыло. Это в Казани, где был губернатор Скарятин; но я его теперь не покупаю. Долго покупала и очень им мылась, но с тех пор, когда был шах персидский и я узнала, что он этим мылом себе ноги моет, мне стало неприятно, и я его больше не покупаю.

— Охота была вам об этом и знать!

— Ну, отчего? Нас в институтах такой гордости не учили. И, по-моему, лучше интересоваться такими особами, чем неумойками. Я ведь помню, когда Аркадий оканчивал курс, тогда его посещали разные, и приходили и эти непротивленыши, и все они были в этой ихней форме, тусклые и в нечищеных сапогах.

— Ужасные «малютки»! — сказала гостья.

— Да, какие-то они... все с курдючками. Подпояшутся, и сзади непременно у них делается курдючок, а лапки без калош — и натопчут. Это неопрятность! Но девушка-непротивленка ко мне пришла совсем в опрятном виде и работала превосходно, но в практической жизни все-таки она оказалась невозможна.

— Почему же?

— Да, да, да! В практической жизни много сторон, и она мне оказалась хуже всех противленок!

— Появился какой-нибудь непротивленыш?

— Куда там! Нет! Просто не отгадаете!

III

— Начну хоть с пустяков: пробегаю я ее паспорт и наталкиваюсь опять на то, что там стоит имя Федора. Я говорю ей:

«Моя милая, мне твое имя не нравится (я не люблю говорить людям *вы*), я буду звать тебя Катею». И она сразу же отвечает рассуждением: «Если вам так угодно, чтобы в вашем доме служанка называлась иначе, то мне это все равно: *это обычаи человеческие*»!

— Как это смешно!

— Ужасно смешно. «Обычаи человеческие»... А то еще у них есть «непосредственные обязанности к богу». Но я сама из деревенских барышень и люблю иногда с прислугой поразговаривать. Я и говорю: «Я буду звать тебя Катей, и ты должна откликаться». Отвечает: «Слушаю-с!» — «И еще,— говорю,— я тебе забыла

сказать, что к твоим обязанностям тоже должно относиться, чтобы ты помогала кухарке убирать посуду и подтирала мокрою тряпкой крашеные полы в дальних комнатах». Но что же-с, полы она подтирала и мне на мой зов «Катею» откликалась, а если кто из моих знакомых ее спросит, как ее имя, она всем упорно отвечает: «Федора». Я ей говорю: «Послушай, моя милая! Ведь тебе же сказано и ты должна помнить, что ты теперь Катя! Зачем же ты противоречишь?» А она начинает резонировать: «Я,— говорит,— сударыня, на ваше приказание откликаюсь, так как вы сказали, что это такой порядок в вашем доме, и мне это не вредит: но сама я лгать *не могу*...» — «Что за вздор!» — «Нет,— говорит,— я лгать не могу,— мне это вредит».

— Какова штучка! — воскликнула гостья.— Она себе вредить не желает!

— О, не желает!.. Да ведь еще и как!.. Это что-то пунктуальное, что-то узкое и упрямое, как сам Мартын Иваныч Лютер. Ах, как я не люблю это сухое лютеранство! И как хорошо, что теперь за них у нас взялись. Я спрашиваю:

«Какой тебе вред? Живот, что ли, у тебя заболит или голова?»

«Нет,— говорит,— живот, может быть, не заболит, но есть вещи, которые важнее живота и головы».

«Что же это именно?»

«Душа человека. Я желаю иметь мою совесть всегда в порядке».

— Ведь это шпилька-с!

— Это прямо дерзость!

— Да; но, как брат Захар говорит, «хотя это и неприятно, но после благословенного девятнадцатого февраля — это неизбежно».

— Да, после этого февраля мы у них в руках.

— Особенно перед самым праздником. Нельзя же самим стать у своих дверей и объявлять визитерам, что нас дома нет. До этого еще вообще не дошло, но между тем непротивленская малютка это-то именно у меня и устроила.

— Да что вы?

— Факт-с!

— Право, вся надежда на градоначальника.

— Да, он их возьмет — «руки назад». В праздник я ей толком растолковала: «Катя, будут гости, ты должна всем говорить, что я дома и принимаю». И она принимала; но потом приехал Виктор Густавыч. Вы знаете, человек с его положением и в его силе, а у меня два сына, и оба несходного характера: Аркадий — это совершенная рохля, а Валерий, вы его знаете,— живчик. Очень понятно, что я о них забочусь, и я хотела с ним немножко поговорить

о Валерии, который не попал за Аркадием, а попал в этот... университет и в будущем году кончит, без связей и без ничего...

Гостья сделала едва заметное движение.

— И вот я посадила Виктора Густавыча, подбегаю к ней и говорю: «Катя, а теперь если кто приедет, ты должна говорить: *я уехала* и что *меня нет дома»*. Кажется, всякая дура может это понять и исполнить!

— Что же тут не исполнить!

— Да, самое обыкновенное. А она, вообразите, всем так и говорила, что «я ей *приказала говорить*, что я уехала и меня дома нет!»

— Ах ты боже мой! — воскликнула гостья и расхохоталась.

— Но вы представьте себе, что и все точно так же, как вы, на это только смеялись, а никто не обиделся, потому что ведь все же прекрасно знают, что всегда в этих случаях лгут... Это так принято... Но молодежь стала мне говорить: «Ma tante, ваша непротивленка, кажется, очень большая дура». Но я верно поняла, что это действует ее вера, и я разъяснила всем, что это из нее торчит граф Толстой и сильно-державно показывает всем образованным людям свой огромный шиш. «Никаких-де визитов не надо! Всё это глупости: лошадям хвосты трепать не для чего, а когда вам нужен моцион — мойте полы».

— Без мыла?

— Да, совершенно так просто!

— Но как же вы после этого сделали с непротивленкой?

— Я с ней объяснилась; я ей сказала: «Ты обдумай, тебя мне рекомендовали как очень хорошую девушку и христианку, а ты очень хитрая и упорная натура. Что это за выходка с твоей стороны, чтобы выдать меня за лгунью?» А она простодушно извиняется: «Я не могла сказать иначе».

«Отчего-о-о? Бедная ты, помраченная голова! Отчего-о ты не могла сказать иначе?»

«Потому что вы были дома».

«Ну так и что за беда?»

«Я бы солгала».

«Ну что же такое, если бы ты немножко и солгала?»

«Я нисколько лгать не могу».

«Нисколько?»

«Нисколько».

«Но ведь ты *служишь!* Ты нанимаешься, ты получаешь жалованье!.. Для чего ты с такими фантазиями нанимаешься на место?»

«Я нанимаюсь делать работу, а не лгать; лгать я не могу».

С каких сторон с ней ни заговори, она все дойдет до своего «я лгать не могу» и станет.

— Какая узость, узость!

— Страшно! «Да ведь надо же,— говорю,— уметь отличать, что есть такая ложь, какой нельзя, а есть такая, которую сказать можно. Спроси у всякого батюшки».

«Нет, нет, нет! — отвечает,— я не хочу этого различать: бог с ними, я не буду их и спрашивать. В Евангелии об этом ничего не сказано, чтоб отличать. Что неправда, то все ложь,— христиане ничего не должны лгать».

— Вот я тут и вспомнила, что когда я ее нанимала, я думала, что в прислуге и вообще в низшем классе «непротивление» годится и не мешает, и даже, может быть, им оно и полезно, но и это вышло совсем не так! Вышло, что и здесь оно не годится и что этому везде надо противодействовать!

IV

Хозяйка сдвинула серьезно брови и сказала, что она говорила о такой «заносчивости» с батюшкой, и тот ей разъяснил, что это «плод свободного, *личного* понимания».

— Да, но какая же свобода, когда это все ужасно узко? — вставила с ученым видом гостья.

— Я с вами и согласна, и, кроме того, не все для всех хорошо.

Хозяйка постучала с угрозой по столу рукой, на пальцах которой запрыгали кольца с бирюзой, и продолжала:

— Я ведь очень помню, когда были в славе Европеус и Унковский. Это было совсем не нынешнее время, и тогда случилось раз, что мы вместе в одном доме ужинали, и туда кто-то привел Шевченку... Помните, хохол... он что-то нашалил и много вытерпел; и он тут вдруг выпил вина и хватил за ужином такой экспромт, что никто не знал, куда деть глаза. Насилу кто-то прекрасно нашелся и сказал: «Поверьте, что хорошо для немногих, то совсем может не годиться для всех». И это всех спасло, хотя после узнали, что это еще раньше сказал Пушкин, которому Шевченко совсем не чета.

— Ну, еще бы стал говорить этак Пушкин!..

— Конечно, он бы не стал,— перебила хозяйка,— он жил в обществе, и декабристы знали, что с ним нельзя затевать. А Шевченко со всеми якшался, и бог его знает, если даже и правда, что Перовский сам велел наказать его по-военному, то ведь тогда же было такое время: он был солдат — его и высекли, и это так следовало. А Пушкин умел и это оттенить, когда сказал: «Что прекрасно для Лондона, то не годится в Москве». И как он сказал, так это и остается: «В Лондоне хорошо, а в Москве не годится».

— В Москве теперь уже никого и нет... Катков умер.

За трельяжем послышался сдержанный смех.
— Что вам смешно, Лида?
— «Катков умер». Вы это сказали так, как будто хотели сказать: «Умер великий Пан».
— А вы на это «сверкнули», как Диана.
— Я не помню, как сверкала Диана.
— А это так красиво!
— Не знаю уж, куда и деться от всякой красоты! Я впрочем помню, что Диана покровительствовала плебеям и рабам и что у нее жрецом был беглый раб, убивший жреца, а сама она была девушка, но помогала другим в родах. Это прекрасно.
— Прекрасно!
А хозяйка покачала головою и заметила:
— Ты совершенно без стыда.
— Со стыдом, ma tante!
— Так что ж ты говоришь! Чего ж ты хочешь?
— Хочу, чтоб девушки не скучали в своем девичестве от безделья и помогали тем, кому тяжело.
— Но для чего же в родах?
— Да именно и в родах, потому что это ужасно, и множество женщин мучаются без всякой помощи, а барышни играют глазками. Пусть они помогают другим и сами насмотрятся, что́ их ожидает, когда они перестанут блюсти себя как Дианы.
— Позвольте,— вмешалась гостья,— я не о той совсем Диане: я о той, которая сверкнула в лесу на острове, у которого слышали с корабля, что «умер великий Пан».— Кажется, ведь это так у Тургенева?
— Я позабыла, как это у Тургенева.
Хозяйка продолжала:
— Теперь опять забывают хорошее, а причитают то, что говорят «посредственные книжки».
— А вы не обращали на эти книжки внимания Виктора Густавыча? — спросила гостья.
— О, он их презирает, но, знаете, он ведь лютеран, и по его мнению, если где есть о добре, то это все хорошо.
— Но, однако, ваша непротивленка в самом-то деле ведь и не была добра?
— Ну, так прямо я этого сказать не могу. Злою она ни с кем не была, но когда ей долго возражаешь, то я замечала, что и у нее тоже что-то мелькало в глазах.
— Да что вы?
— Я вас уверяю. Знаете, если шутя подтрунишь, так глазенки этак заискрятся... и... какое-то пламя.
— Боже мой! И для чего вы ее еще держали?

— Да, да! Я тоже раз подумала: «эге-ге,— думаю себе,— да ты с огоньком», и отпустила. Но, разумеется, я прежде хотела знать, что можно от таких людей ждать, я ее пощупала.

— Это интересно.

V

— Я спросила ее так: «Что же это, моя милая, стало быть, если бы при тебе в доме случилось что-нибудь такое, что должно быть тайной, что от всех надо скрыть, стало быть, ты и тогда не согласилась бы покрыть чей-нибудь стыд или грех?» Она сконфузилась и стала лепетать: «Я об этом еще не думала... Я не знаю!» Я воспользовалась этим и говорю: «А если бы тебя призвали и стали спрашивать о твоих хозяевах, ведь ты должна же... Ведь какие в старину были хорошие и верные слуги, а и те, когда приходило круто, говорили, что от них хотели». Вообразите, что она ответила:

«Это тот виноват, кто их до этого доводил».

«А если это делалось по приказу?»

«Это все равно».

— Какова!

— Да-с! Я говорю: за это можно страдать. А она отвечает:

«Лучше пострадать, чем испортить свой путь жизни».

— Каково непротивление!

— Ну вот, как видите!

— Впрочем, если смотреть по-ихнему и держаться Евангелия, то она не совсем и неправа...

— Да, она даже очень права; но ведь общество не так устроено, чтобы все по Евангелию, и нельзя от нас разом всего этого требовать.

— Да, это очень печально; но если вы это сломаете, а потом исковеркаете, то что же вы новое поставите на это место?

— Нигилисты говорили: *ничего!*

Хозяйка промолчала и сучила в пальцах полоску бумаги, а умом как будто облетала что-то давно минувшее и потом молвила:

— Да, *ничего*, они только и умели сбивать с толку женщин и обучать их не стыдясь втроем чай пить.

— А как эта непротивленка вела себя в этих отношениях?

— Вы, верно, хотите спросить о тех отношениях, о которых не говорят при Лиде...

Но отдыхавшая за трельяжем Лидия к этому времени, верно, совсем подкрепилась и сама вмешалась в разговор уже не сонною речью.

— О такой женщине, как Федорушка, можно при всех и все говорить,— сказала Лида.— И притом, когда же вы, ma tante, при-

выкнете, что я ведь не ребенок и лучше вас знаю, не только из чего варится мыло, но и как рождается ребенок?

— Лида! — заметила с укоризной хозяйка.

— Да, конечно, ma tante, я это знаю.

— Господи!.. Как ты можешь это знать?

— Вот удивление! Мне двадцать пятый год. Я живу, читаю, и, наконец, я должна быть фельдшерицей. Что же, я буду притворяться глупою девчонкой, которая лжет, будто она верит, что детей людям приносят аисты в носу?

Хозяйка обратилась к гостье и внушительно сказала:

— Вот вам Иона-циник в женской форме. И притом она Диана, она пуританка, квакерка, она читает и уважает Толстого, но она не разделяет множества и его мнений, и ни с кем у нее нет ладу.

— Я, кажется, не часто ссорюсь.

— Зато и не тесно дружишь ни с кем.

— Вы ошибаетесь, ma tante, у меня есть друзья.

— Но ты их бросила. Ведь тоже и непротивленыши пользовались у тебя фавором, а теперь ты к ним охладела.

— С ними нечего делать.

— Но ты, однако, любила их слушать.

— Да, я их слушала.

— И наслушалась до тошноты, верно?

— Нет, отчего же? Я и теперь готова послушать, что у них хорошо обдумано.

— Прежде ты за них заступалась до слез.

— Заступалась, когда ваши сыновья, а мои кузены, собирали их и вышучивали. Я не могу переносить, когда над людьми издеваются.

Хозяйка засмеялась и сказала:

— Смеяться не грешно над тем, что смешно.

— Нет, грешно, ma tante, и мне их было всегда ужасно жаль... Они сами добрые и хотят добра, и я о них плакала...

— А потом сама на них рассердилась.

— Не рассердилась, а увидала, что они всё говорят, говорят и говорят, а дела с воробьиный нос не делают. Это очень скучно. Если противны делались те, которые всё собирались «работать над Боклем», то противны и эти, когда видишь, что они умеют только палочкой ручьи ковырять. Одни и другие роняют то, к чему поучают относиться с почтением.

— Нет, тебя уязвило то, что они идут против наук!

— Да, и это меня уязвляет.

— А я тут за них! Для чего ты, в самом деле, продолжаешь столько лет все учиться и стоишь на своем, когда очевидно, что

все твое ученье кончится тем, что ты будешь подначальной у какого-нибудь лекаришки и он поставит тебя в угол?

— Ma tante, ведь это опять вздор!

— Ну, он тебя в передней посадит. Сам пойдет в комнаты пирог есть, а тебе скажет: «Останьтесь, милая, в передней».

— И этого не будет.

— А если это так случится, что же ты сделаешь?

— Я пожалею о человеке, который так грубо обойдется со мной за то, что я не имею лучших прав, и только потому, что мне их не дали.

— И тебе не будет обидно?

— За чужую глупость? Конечно, не будет.

— А не лучше ли выйти замуж, как все?

— Для меня — нет!

— А отчего?

— Мне не хочется замуж.

— Ты, однако, престранно выражаешься. Это закон природы.

— Ну так он, верно, еще не дошел до меня.

— И религия того же требует.

— Моя религия этого не требует.

— Христос был, однако, за брак.

— Не читала об этом.

— А для чего же он благословлял жениха и невесту?

— Не знаю, когда это было.

— Читай в Евангелии.

— Там этого нет.

— Как нет!

— Просто нет, да и конец!

— Господи! да что же это... вы все, значит, уж вымарали!

Девушка тихо засмеялась.

— Нечего хихикать: я знаю, что об этом было, а если не в Евангелии, то в премудрости Павлочтении. Во всяком случае, он был в Кане Галилейской.

— Ну и что же из этого?

— Значит, он одобрял брак.

— А он тоже был и у мытаря?

— Да.

— И говорил с блудницей? Неужто это значит, что он одобрял и то, что они делали?

— Ты ужасная спорщица.

— Я только отвечаю вам.

— А теща Петрова! Ведь Христос ее, однако, вылечил!

— А вы разве думаете, что если б она не была чьею-нибудь тещей, так он бы ее не вылечил?

— У тебя самый пренеприятный ум.

— Да. Это многие говорят, ma tante, и это всего больше убеждает меня, что мне нельзя выходить замуж.

— Ведь вот ты, решительно и совершенно как змея, вьешься так, что тебя нельзя притиснуть.

— Ma tante, да зачем же непременно надо меня притиснуть?

— Мне очень хочется...

— Мой друг, да что же делать? Нельзя все устроить так, как вам хочется.

— Нет, я ведь не про то: я хотела бы знать, какой у вас законоучитель и как он не видит, что вы все безбожницы!

— Мы получаем у него все по пяти баллов.

— Извольте! За что же он вам ставит по пяти баллов?

— Он не может иначе: мы все отлично учимся.

— Вот ведь назрели какие характеры!

— Полноте, ma tante, что это еще за характеры! Характеры идут, характеры зреют,— они впереди, и мы им в подметки не годимся. И они придут, придут! «Придет весенний шум, веселый шум!» Здоровый ум придет, ma tante! Придет! Мы живы этою верой! Живите ею и вы, и... вам будет хорошо, всегда хорошо, что бы с вами ни делали!

— Спасибо, милая.

— Не сердитесь, ma tante,— и Лидия Павловна вдруг оборотилась к теткиной гостье и сказала ей: — А вы хотели знать, был ли у Федоры роман? Я вам об этом могу рассказать. У нее был жених часовщик, но Федорушка ему отказала, потому что у нее была сестра, которая «мирилась с жизнью». У нее были «панье», брошь и серьги и двое детей. Она серьги и брошь берегла, а детей хотела стащить в воспитательный дом, но Федора над ними сжалилась и платила за них почти все, что получала.

— А собственного увлечения у нее не было?

— Вот это-то и было ее собственное увлечение!

— Да, но ей будет трудно платить: с таким характером и такими правилами, как у нее, она нигде себе места не нагреет.

— Другие помогут.

— Видите?.. Настоящие сектантки, у них все *миром,*— отозвалась хозяйка.— Гоните их, они не боятся и даже радуются.

— Ведь так и следует,— поддержала девушка.

— Фантазии!

— Однако так сказано: надо радоваться, когда терпим гонение за правду, и в самом деле, это очень помогает распространению идей. Нас гонят, а мы идем дальше и всё говорим про хорошее всё новым и новым людям...

— Ну, ты послушай, однако, сама: какая же, наконец, у самой тебя вера?

— А это такой деликатный вопрос, ma tante, которого я никому не позволяю касаться.

— Вон как уж у нас стали отвечать о вере! Это, кажется, совсем не по-нашенски.

— Да, это не по-вашенски,— рассмеявшись, ответила Лидия.— По-вашенски, «подобает вопросити входящего: рцы, чадо, како веруеши?»

Хозяйка постучала по столу веером и погрозила племяннице:

— Лида! В этот раз... что ты сказала здесь, это еще ничего, пусть это так и пройдет, но впредь помни, что у тебя есть мать и ты не должна быть помехой своим братьям в карьере!

— Этого, ma tante, не забудешь!

— Ну так и нечего либеральничать.

— А «како веруеши» — это разве либеральность?

— Это не по сезону.

— Ну, ma tante, извините: жизнь, в самом деле, дается всего один раз, и очень нерасчетливо ее приноравливать к какому бы то ни было сезону... Это скоро меняется.

Сказав это, девушка встала из-за трельяжа и вышла на середину комнаты. Теперь можно было видеть, что она очень красива. У нее стройная, удивительной силы и ловкости фигура, в самом деле, напоминающая статуэтку Дианы из Танагры, и милое целомудренное выражение лица с умными и смелыми глазами.

VI

Тетка на нее посмотрела, и на лице ее выразилось артистическое удовольствие; она просияла и тихо заметила:

— Желала бы я знать, где глаза у людей, которые смеют что-нибудь говорить против породы? Лида, неужели ты без корсета?

— Я хожу так постоянно.

— И стройна, как богиня. Но Валериан говорил мне, что у вас очень много уро́дих, и *все* теперь сняли кольца и решили не носить ни серег и никаких других украшений.

— Ему какая забота?

— Отчего же, его интересует все. Но разве это в самом деле правда?

— Правда.

— И вот вы увидите, что, наверное, многие не выдержат.

— Очень может быть.

— Которой серьги к лицу, та и не выдержит — наденет.

— Что же, если и не выдержит, то, по крайней мере, поучится выдерживать, и это что-нибудь стоит. Прощайте, ma tante.

— И у кого пребезобразная фигура, той лучше корсет.

— Ma tante, ну что нам за дело до таких пустяков? До свидания.

— До свидания. Красота ты, моя красота! Я только все не могу быть покойна, что ты кончишь тем, что уйдешь жить с каким-нибудь непротивленышем.

Лидия холодно, но ласково улыбнулась и молвила:

— Ma tante, как можно знать, что с кем будет? Ну, зато я не сбегу с оперным певцом.

— Нет! Бога ради нет! Лучше кто хочешь, но только чтоб не непротивленыш. Эти «малютки» и их курдючки... это всего противнее.

— Ах, ma tante, я уж и не знаю, что не противно!

— Ну, пусть лучше будет все противно, но только не так, как эти, которые учат, чтоб не венчаться и не крестить. Обвенчайся, и потом пусть бог тебя хранит, как ему угодно.

И тетка встала и начала ее крестить, а потом проводила ее в переднюю и тут ей шепнула:

— Не осуждай меня, что я была с тобой резка. Я так должна при этой женщине, да и тебе вперед советую при ней быть осторожной.

— О, пустяки, ma tante! Я никого не боюсь.

— Не боишься?.. Не говори о том, чего не знаешь.

— Ах, ma tante, я не хочу и знать: мне *нечего бояться.*

Сказав это, девушка заметалась, отыскивая рукою ручку двери, и вышла на лестницу смущенная, с пылающим лицом, на котором разом отражались стыд, гнев и сожаление.

Проходя мимо швейцара, она опустила вуалетку, но зоркий, наблюдательный взор швейцара все-таки видел, что она плакала.

— Эту тут завсегда пробирают! — сказал он стоявшему у ворот дворнику.

— Да, ей видать что попало! — ответил не менее наблюдательный дворник.

А хозяйка между тем возвратилась в свой «салон» и спросила:

— Как вам нравится этот экземплярец?

Гостья только опустила глаза кроткой лани и ответила:

— Все уловить нельзя, но везде и во всем сквозит живая красная нитка.

— О, да сегодня она еще очень тиха, а в прошлый раз дело чуть не дошло до скандала. Кто-то вспомнил наше доброе время и сказал, какие тогда бывали сваты, которым никто не смел отказать. Так она прямо ответила: «Как хорошо, что теперь хоть это не делается!»

— Они, из гимназий, так реальны, что совсем не понимают институтской теплоты.

— Нисколько! Я ее тогда прямо спросила, неужто ты бы не была тронута, если бы тебе подвели жениха? — так она даже вспыхнула и оторвала: «Я не крепостная девка!»

— Я говорю вам, везде красная нить. И какая заносчивость, с какою она самоуверенностью говорит о личном увлечении несчастной сестры этой Федоры!

— Она очень сострадательна к детям.

— Но что же делать, когда дети не наполняют женщине всей ее жизни?

— Ах, с детьми очень много хлопот!

— Да и даже простые, самые грубые люди при детях еще ищут забыться в любви. У меня в прачках семь лет живет прекрасная женщина и всегда с собой борется, а в результате все-таки всякий год посылает нового жильца в воспитательный дом. А анонимный автор все продолжает, без подписи, и ничего знать не хочет: придет, отколотит ее, и что есть, все оберет. И таковы они все. Альфонсизм в наших нравах. А когда я ей сказала: «Брось их всех вон или обратись к религии: это поможет»,— она меня послушала и поехала в Кронштадт, но оттуда на обратном пути купила выборгских кренделей и заехала к мерзавцу вместе чай пить, и теперь опять с коробком ходит и очень счастлива. Что же тут сделать? «Не могу,— говорит,— бес сильнее». Когда женщина сознает свою слабость, то с этим миришься.

— Да, миришься, потому что это наше простое, родное, русское.

— Вот, вот, вот! Это она, наша бедная русская бабья плоть, а не то что эти, какие-то куклы из аглицкой клеенки. Чисты, но холодны.

— О, как холодны! Ведь она вот стоит за детей, но она и их, заметьте, не любит.

— Да что вы?

— Я вас уверяю, она вообще о детях заботится, но никогда ими не восхищается и даже их не целует.

— Что не целует — это прекрасно.

— Положим, конечно, это, говорят, нездорово, но она это не любит!

— Неужели?.. Ведь это всем женщинам врожденно нежить детей.

— Нежить, нет! Она допускает только заботливость, а любить, по ее рассуждению, должно только того, кто сам имеет любовь к людям. А дети к тому неспособны.

— Да разве известно, что из маленького выйдет?

— Так и она говорит: «Я не люблю *неизвестных* величин, я люблю то, что мне известно и понятно».

— Какое резонерство!

— Я и говорю: это отдает не сердцем, а математикой. Она даже не верит, что другие любят детей... «Иначе,— говорит,— не было бы таких негодяев, через которых русское имя в посмеянье у умных людей». Нашу славу и могущество они ведь не высоко ставят. И вообразите, они утверждают это на Майкове:

> Величие народа в том,
> Что носит в сердце он своем.

Хозяйка и гостья обе переглянулись и сразу же обе задумались, и лица их приняли не женское, официальное выражение. У гостьи и это прошло прежде, и она заметила:

— В то время как мы, русские женщины, подписываем адрес madame Adan, не худо бы, чтобы мы протестовали против учреждений, где не внушают уважения к русским началам.

Хозяйка стала нервно сучить в руках бумажку и, сдвинув брови, прошептала в раздумье:

— Кто же это, однако, начнет?

— Не все ли равно, кто?

— Но, однако... Бывало, брат мой Лука... Он независим, и никогда не был либерал, и ему нечего за себя бояться... Он, бывало, заговорит о чем угодно, но теперь он ни за что-с! Он самым серьезным образом отвернулся от нас и благоволит к Лидии, и это ужасно, потому что у него все состояние благоприобретенное, и он может отдать его кому хочет.

— Неужто все это может достаться Лидии Павловне?

— Всего легче! Брат Лука к моим сыновьям не благоволит, а брата Захарика считает мотом и «провальною ямой». Он содержит его семейство, но ему он ничего не оставит.

Гостья встала и отошла к открытому пианино и через минуту спросила:

— А где теперь супруга и дочери Захара Семеныча?

— Его жена... не знаю в точности... она в Италии или во Франции.

— Ее держало что-то в Вене.

— Ах, это уж давно прошло! Таких держав у нее не перечесть до вечера. Но с ней теперь ведь только три дочери, ведь Нина, младшая, уж год как вышла замуж за графа Z. Богат ужасно.

— И ужасно стар?

— Конечно, ему за семьдесят, а говорят, и больше, а ей лет двадцать. Много ведь их, четыре девки. А граф, старик, женился

назло своим родным. Надеется еще иметь детей. Мы ездили просить ему благословение.

— Пусть бог поможет!

— Да. На свадьбе брат Захар сказал ему: «Пью за ваше здоровье бокал, а когда моя дочь подарит вам рога, я тогда за ее здоровье целую бутылку выпью».

В ответ на это гостья оборотилась от пианино лицом к хозяйке, и лицо ее уже не дышало милою кротостью лани, а имело выражение брыкливой козы, и она, по-видимому не кстати, но, в сущности, очень сообразительно, сказала:

— Очевидно, что дело начать надо вам.

— Но Лидия мне родная.

— Потому-то это и нужно: это покажет ваше беспристрастие и готовность все принести в жертву общественной пользе, а она будет устранена от наследства.

Хозяйка смотрела на гостью околдованным взглядом. Дело соображено было верно, но в душе у старухи что-то болталось туда и сюда, и она опять покрутила бумажку и шепнула:

— Не знаю... Дайте подумать. Я спрошу батюшку.

— Конечно, его и спросите.

— Хорошо, я спрошу.

VII

В это время распахнулась дверь, и вошел седой, бодрый и кругленький генерал с ученым значком и с веселыми серыми проницательными глазами на большом гладком лице, способном принимать разнообразные выражения.

Это и был брат Захар.

Хозяйка протянула ему руку и сказала:

— Ты очень легок на помине; мы сейчас о тебе говорили.

— За что же именно? — спросил генерал, садясь и довольно сухо здороваясь с гостьей.

— Как *за что*? Просто о тебе говорили.

— У нас просто о людях никогда не говорят, а всегда их за что-нибудь ругают.

— Но бывают и исключения.

— Два только: это père Jean и père Onthon.

— Ты настаиваешь на том, что это надо произносить не Antoine, а Onthon?

— Так произносят те, которые на этот счет больше меня знают и теплее моего веруют. Я сам ведь в вере слаб.

— Это стыдно.

— Что ж делать, когда ничего не верится?

— Это огорчало нашу мать.

— Помню и повиновался, а притворяться не мог. Она, бывало, скажет: «Ангел-хранитель с тобою»,— и я всюду ходил с ангелом-хранителем, вот и все!

— Олимпия приехала.

— Мне всегда казалось, что ее зовут Олимпиада. Впрочем, я ею особенно не интересуюсь.

— У нее много новостей, и некоторые касаются тебя. Твоя дочь, графиня Нина, беременна.

— Да, да! Разбойница, наверное, осуществляет «Волшебное дерево» из Боккаччио. Я, однако, выпью сегодня бутылку шампанского и пошлю поздравительную телеграмму графу. Кстати, я встретил на днях одного товарища моего зятя и узнал, что он старше меня всего только на четырнадцать лет.

— Какие же подробности об их житье?

— Я ничего не знаю.

— Ты разве не был еще у Олимпии?

— Я? Нет, мой ангел-хранитель меня туда не завел. Я видел, что какая-то дама мчалась в коляске, и перед нею у кучера над турнюром сзади часы. Я подумал: что это еще за пошлая баба тут появилась? И вдруг догадался, что это она. А она сразу же устроила мне неприятность: я хотел от нее спастись и прямо попал навстречу еврею, которому должен чертову пропасть.

— Бедный Захарик!

— Но слава богу, что мой хранитель бдел надо мной и что это случилось против собора: я сейчас же бросился в церковь и стал к амвону, а жид оробел и не пошел дальше дверей. Но только какие теперь в церквах удивительно неудобные правила! Представь, они открывают всего только одну дверь, а другие закрыты. Для чего закрывать? В Париже все храмы весь день открыты.

— У нас, друг мой, часто крадут... Было несколько краж.

— Какие проказники! А я через это, вообразите, несколько молебнов подряд отстоял, но жида все-таки надул. Он ждал меня у общей двери, а я с знакомым батюшкой утек через святой алтарь и, кстати, встретил Лиду. Она была расстроена, и я, чтоб ее развеселить, все рассказал ей, как попался Олимпии, а потом жидам и, наконец, насилу спасся через храм убежища. Она развеселилась и зашла со мною выпить чашку шоколаду.

— Это ты старался ее утешить? Что за милый дядя!

— Да, но тут еще и другой был умысел. Там была одна... балерина, которой никогда не удается изобразить богиню... Я ей показал Лиду и сказал: «Смотри, дура, вот богиня!» Но кто и где обидел Лиду?

— Вот не берусь тебе ответить. Верно, «нашла коса на камень»; но она, впрочем, сама здесь говорила, что ее будто даже и «*нельзя* обидеть».

— Ах, это ничего более как всем противные толстовские бетизы! Уверяю вас, что всеми этими глупостями это все их Лев Толстой путает! «Da ist der Hund begraben!» [1]. Решительно не понимаю, чего этот старик хочет? Кричат ему со всех концов света, что он первый мудрец, вот он и помешался. А я решительно не нахожу, что́ такое в самом в нем находят мудрецовского?

— И я тоже.

— Да и никто не находит, а это все за границей. Мы с ним когда-то раз даже жили на одной улице, и я ничего премудрого в нем не замечал. И помню, он был раз и в театре, а потом у общих знакомых, и когда всем подали чай, он сказал человеку: «Подай мне, братец, рюмку водки».

— И выпил?

— Да, выпил и закусил, не помню, баранкой или корочкой хлеба. И все это было самое обыкновенное, а потом вдруг зачудил и в мудрецы попал!.. Удача! Но я хотя и не разделяю его христианства, которое несет смерть культуре, но самого его я уважаю.

— За что же?

— Конечно, не за его премудрости! Это пустяки! Но я этих его непротивленышей люблю, с ними так хорошо поговорить за кофе.

— Я этого не нахожу.

— Ну, нет!.. На многое они оригинально смотрят. Я не признаю, чтобы это что-нибудь из их фантазии было можно осуществить. Теперь не тот век, но отчего не поболтать? Ведь Бисмарк же любил поговорить с социалистами. «Малютки» же эти идут наперекор социалистам.

— Как это наперекор?

— А так: непротивленыши ведь отказываются от наследств всегда в пользу родных... Это то самое, чего Петр Первый хотел достичь через майораты... Это надо поощрять, чтобы не дробились состояния. А сам Толстой только чертовски самолюбив, но зато с большим характером. Это у нас редкость. Его нельзя согнуть в бараний рог и заставить за какую-нибудь бляшку блеять по-бараньи: бя-я-я!

Генерал потравил себя пальцами за горло и издал звуки, очень рассмешившие хозяйку и гостью.

— Но зачем же у него эта несносная проницательность и для чего он так толкует, что будто ничего не нужно?

---

[1] Вот где собака зарыта! *(нем.)*

— А это скверность, но я успокоиваю себя твоею русскою пословицей: «Не так страшен черт, как его малютки».

— И я это говорю всегда: он там я не знаю где, а эти Figaro ci — Figaro lá [1] разбрелись, как цыплята.

— Вот именно цыплята... Отчего это у них так топорщится, как будто хвосты перя́тся?

— А уж это надо их осмотреть и удостовериться.

— Ну, как можно их смущать!

— А они не церемонятся смущать веру.

— Мою веру смутить нельзя: в рассуждении веры я байронист; я ем устриц и пью вино, а кто их создал: Юпитер, Пан или Нептун — это мне все равно! И я об этом и не богохульствую, но его несносная на наш счет проницательность — это скверно. И потом, для чего он уверяет, будто «не мечите бисера перед свиньями» сказано не для того, чтобы предостеречь людей, чтоб они не со всякою скотиной обо всем болтали — это глупость. Есть люди — ангелы, а есть и свиньи.

— Но только эти милые животные, надеюсь, находятся в своих местечках, где им надо быть.

— Да, им бы всем надо быть в своих закутах, но случается и иначе: бывает, что свиньи садятся в гостиных.

— О, господи! какие ужасы!

— О да! Есть много ужасов.

— Но, а есть ли зато где-нибудь ангелы?

— А есть... Вот, например, хоть такие, как наша Лида!

— Не нахожу: девчонки, которые не знают, что они такое.

— Вы, господа, пребезбожно их мучите и, можно сказать, истязаете!

— Каким это образом?

— Вы к ним пристаете, их злите, а когда бедные девочки в нетерпении что-нибудь вам брякнут, вы это разглашаете и им вредите. По правде сказать, это подлость!

— Ни о чем таком не слыхала.

— А я, представь, слышал. Говорят, будто когда Лида пришла к тебе на бал в закрытом лифе, ты ей сделала колкость.

— Нимало!

— Ты над ней обидно пошутила: ты сказала, что она, вероятно, когда будет дамой, то и своему будущему Адаму покажет себя «кармелиткой», в двойном капишоне, а она тебе будто отвечала, что к *своему* Адаму она, может быть, придет даже «Евой», а посторонним на балу не хочет свои плечи показывать.

— И представь, это правда, она так и сказала!

---

[1] Фигаро здесь, Фигаро там *(франц.)*.

— Сказала, потому что не надо было к ней приставать. Байрон прекрасно заметил, что «и кляча брыкается, если сбруя режет ей тело», а ведь Лида не кляча, а молодая, смелая и прекрасная девушка. Для этакой Евы, черт бы меня взял, очень стоит отдать все свои преимущества и идти снова в студенты.

— Ты за ней просто волочишься?

— Я не очень, а ты б послушала, какого мнения о ней наш старший брат Лука! Он говорит, что «провел с ней самое счастливейшее лето в своей жизни». А ведь ему скоро пойдет восьмой десяток. И в самом деле, каких она там у него в прошлом году чудес наделала! Мужик у него есть Симка, медведей все обходил. Человек сорока восьми лет, и ишиасом заболел. Распотел и посидел на промерзлом камне — вот и ишиас... болезнь седалищного нерва... Понимаете, приходится в каком месте?

— Ты без подробностей.

— Так вот его три года врачи лечили, а брат платил; и по разным местам целители его исцеляли, и тоже не исцелили, а только деньги на молитвы брали. И вся огромнейшая семья богатыря в разор пришла. А Лидия приехала к дяде гостить и говорит: «Этому можно попробовать помочь, только надо это с терпением».

— Ну, этого ей действительно не занимать стать! — заметила с сдержанною иронией хозяйка.

— Да, она и начала класть этого мужичищу мордой вниз да по два раза в день его под поясницей разминала! Понимаете вы? Этакими-то ее удивительными античными руками да по энтакому-то мужичьему месту! Я посмотрел и говорю: «Как же теперь после этого твою руку целовать?» Она говорит: «Руки даны не для того, чтоб их целовать, а для того, чтоб они служили людям на пользу». А брат Лука... он ведь стал старик нежный и нервный: он как увидал это, так и зарыдал... Поп приходил к нему дров просить, так он схватил его и потащил и показывает попу: «Смотри! — говорит,— видишь ли?» Тот отвечает: «Вижу, ваше высокопревосходительство!»

«А разумеешь ли?»

«Разумею,— говорит,— ваше высокопревосходительство! Маловерны только и ко храму леностны, но по делам очень изрядны».

«То-то вот и есть «очень изрядны»! А ты вот и молись за них в храме-то. Это твое дело. А я тебе велю за это дров дать».

«Слушаю,— говорит,— ваше высокопревосходительство! Буду стараться!»

— И ничего небось не старался?

— Ну, разумеется: дурак он, что ли, что будет стараться, когда дрова уже выданы? А только Симка-то теперь ходит и опять детей своих кормит, а Лиду как увидит, сейчас плачет и пищит: «Не по-

мирай, барышня! Лучше пусть я за тебя поколею... Ты нам матка!» Нет, что вы ни говорите, эти девушки прелесть!

— Только с ними человеческий род прекратится.

— Отчего это?

— Не идут замуж.

— Какой вздор! Посватается такой, какого им надо, и пойдут. А впрочем, это бы еще и лучше, потому что, по правде сказать, наш брат, мужчинишки-то, стали такая погань, что и не стоит за них и выходить путной девушке.

— Пусть и сидят в девках.

— И что за беда?

— Старые девки все злы делаются.

— Это только те, которым очень хотелось замуж и их темперамент беспокоит.

— Дело совсем не в темпераменте, а на старую девушку смотрят как на бракованную.

— Так смотрят дураки, а умные люди наоборот, даже с уважением смотрят на пожилую девушку, которая не захотела замуж. Да ведь девство, кажется, одобряет и церковь. Или я ошибаюсь? Может быть, это не так?

VIII

Хозяйка улыбнулась и отвечала:

— Нет, это так; но всего любопытнее, что за девство вступаешься *ты*, мой грешный Захарик.

— А что, сестрица, делать? Теперь и я уже не тот, и в шестьдесят пять лет и ко мне, вместо жизнерадостной гризетки, порою забегает мысль о смерти и заставляет задумываться. Ты не смейся над этим. Когда и сам дьявол постареет, он сделается пустынником. Посмотри-ка на наших староверов, не здесь, а в захолустьях! Все ведь живут и согрешают, а вон какая у них есть отличная манера: как старичку стукнет шестьдесят лет, он от сожительницы из чулана прочь, и даже часто выселяется совсем из дому. Построит себе на огороде «хижину», под видом баньки, и поселяется там с нарочитым отроком, своего рода «Гиезием», и живет, читает Богословца или *Ключ разумения*, а в деньгах и в делах уже не участвует, вообще не мотрошится на глазах у молодых, которым надо еще в жизни свой черед отвести. Я это, право, хвалю. Пускай там и говорят, будто отшельнички-старички раз в недельку, в субботу, по старой памяти к своим старушкам в чулан заходят, но я верю, что это они только приходят чистое бельецо взять... Милые старички и старушечки! Как им за то хорошо будет в вечности!

— Бедный Захарик! Может быть, и ты так хотел бы?

— О, без сомнения! Но только куда нам, безверным! А кстати, что это я заметил у твоего Аркадия, кажется, опять новый отрок?

Хозяйка сдвинула брови и отвечала:

— Не понимаю, с какой стати это тебя занимает?

— Не занимает, а я спросил к слову о Гиезии, а если об этом нельзя говорить, то перейдем к другому: как Валерий, благополучно ли дошибает свой университет?

— А почему же он его «дошибает»?

— Ну, да, кончает, что ли! Будто не все равно? Не укусила ли его какая-нибудь якобинская бацилла?

— Мой сын воспитан на здоровой пище и бацилл не боится.

— Не возлагай на это излишних надежд: домашнее воспитание все равно что домашняя температура. Чем было в комнате теплее, тем опаснее, что дети простудятся, когда их охватит.

— Типун тебе на язык. Но я за Валерия не боюсь: его бог бережет.

— Ах да, да, да, ведь он «тепло-верующий!»

— Такими вещами не шутят. Мы, русские, все тепло верим.

— Да, мы теплые ребята! Но постойте, господа, я видел картину Ге!

— Опять яичница?

— Нет. Это просто *бойня*! Это ужасно видеть-с!

— Очень рада, что его прогоняют с выставок. Мне его самого показывали... Господи! Что это за панталоны и что за пальто!

— Пальто поглотило много лучей солнца, но это еще не серьезно.

— А ты находишь, что его мазня — это серьезно?

— Я говорю не о мазне, а о фраке.

— Что за вздор!

— Это не вздор. Он должен был представиться и не мог, потому что подарил свой фрак знакомому лакею.

— Но почему это узнали?

— Он сам так сказал.

— Как это глупо!

— И дерзко! — поддержала гостья.

А генерал заключил:

— Это *замечательно*! Теперь просто говорят: «замечательно!»

— А почему замечательно?

— А потому замечательно, что эти,— как вы их кличете,— «непротивленыши!» или «малютки», всё чему-то противятся, а мы, которые думаем, что мы *сопротивленцы* и взрослые,— мы на самом деле ни на черта не годны, кроме как с тарелок подачки лизать.

— Ну,— пошутила хозяйка,— он опять договорится до того, что кого-нибудь зацепит!

И, проговорив это, она снисходительно вздохнула и вышла как бы по хозяйству.

IX

В гостиной остались вдвоем генерал и гостья, и тон беседы сразу же изменился.

Генерал сдвинул брови и начал отрывистую речь к гостье:

— Я предпочел видеться с вами здесь, потому что ваш больной муж вчера приходил ко мне и был неотступен. Это с вашей стороны, позвольте вам сказать, сверх всякой меры жестоко — рассылать больного старика по таким делам!

— По каким «таким делам»?

— Которым на языке порядочных людей нет имени.

— Я ничего не понимаю, но я писала вам письмо, а вы, как неаккуратный человек, на него не отвечали.

— Позвольте, но чтобы прислать вам удовлетворительный ответ на ваше письмо, надо было доставить вам тысячу рублей.

— Да.

— Вот то и есть! А я не шах персидский, которому стоит зацепить горсть бриллиантов, и дело готово.

Дама позеленела и, сверкая злобой, спросила:

— Что это значит? К чему здесь при мне второй раз вспоминают персидского шаха?

— А я почему могу знать, отчего его при вас вспоминают? Мне только кажется, что есть люди, которым я уже давно сделал все, что я мог, и даже то, чего не мог и чего ни за что не стал бы делать, если б это грозило неприятностями только одному мне, а не другим людям.

Генерал, видимо, сердился и говорил запальчиво:

— Минуло двадцать лет, как ваш муж так удивительно узнал, когда я был у вас и... Я спасся и спас вас, да не спас мою памятную книжку, и вот я берегу людей...

— О! вы еще всё возитесь с этой жалобной сказкой?

— Позвольте: я вожусь! Я не подлец, и потому я вожусь и делаю для вас подлости, чтобы только перетерпеть все на себе самом. Прошу за вас особ, с которыми я не хотел бы знаться, но вам все *мало*. Скажите же, когда вам будет, наконец, довольно?

— Другие получают больше!

— Ах, вот, зачем другие больше? Ну, уж это вы меня простите! Я этих дел не знаю, за что кого и по скольку у вас оделяют.

Может быть, другие искуснее вас... или они усерднее и оказывают больше услуг.

— Пустое! Никто ничем не может услужить. Уху нельзя сварить без рыбы...

— Ну, я не знаю!.. «Без рыбы»! Господи! Неужто уж совсем не стало рыбы?

— Вообразите, да! Безрыбье!

— Ну, я теперь не знаю, что заведете делать!.. Я вам сказал, что этих ваших дел решительно не знаю! Всем грешен, всем, но этою мерзостью не занимался!

Генерал высоко поднял руку и истово перекрестился.

— Вот! — сказал он, нервно доставая из кармана конверт и подавая его даме.— Вот-с! Возьмите, пожалуйста, скорей. Здесь ровно тысяча рублей. Я бедный, прогорелый человек, но ничего из чужих денег не краду. Тысяча рублей. Это для вас пособие, которое я выпрашиваю второй раз в году. Только, пожалуйста, пожалуйста, не благодарите меня! Я делаю это с величайшим отвращением и прошу вас...

Дама хотела что-то сказать, но он ее перебил:

— Нет, нет! Прошу вас, не присылайте больше ко мне своего несчастного мужа! Умоляю вас, что у меня есть нервы и кое-какой остаток совести. Мы его с вами когда-то подло обманывали, но это было давно, и тогда я это мог, потому что тогда он и сам в свой черед обманывал других. Но теперь?.. Этот его рамолитический вид, эти его трясущиеся колени... О господи, избавьте! Бога ради избавьте! Иначе я сам когда-нибудь брошусь перед ним на колени и во всем ему признаюсь.

Дама рассмеялась и сказала:

— Я уверена, что вы такой глупости никогда не сделаете.

— Нет, сделаю!

— Ну так я ее не боюсь.

По лицу генерала скользнула улыбка, которую он, однако, удержал и молвил:

— Ага! значит, это для него не было бы новостью! О господи! Разрази нас, пожалуйста, чтобы был край нашему проклятому беспутству!

— А вы в самом деле болтун!

Улыбка опять проступила на лице генерала, и он, встав, ответил:

— Да, да, я большой болтун, это «замечательно»!

Он с нескрываемым пренебрежением к гостье надел в комнате фуражку и вышел, едва удостоив собеседницу чуть заметного кивка головою.

В передней к его услугам выступила горничная с китайским разрезом глаз и с фигурою фарфоровой куклы: она ему тихо кивнула и подала пальто.

— Мерси, сердечный друг! — сказал ей генерал.— Доложите моей сестре, что я не мог ее ожидать, потому что... я сегодня принял лекарство. А это,— добавил он шепотом,— это вы возьмите себе на память.

И он опустил свернутый трубочкою десятирублевый билет девушке за лиф ее платья, а когда она изогнулась, чтобы удержать бумажку, он поцеловал ее в шею и тихо молвил:

— Я стар и не позволяю себе целовать женщин в губки.

С этим он пожал ей руку, и она ему тоже.

Внизу у подъезда он надел калоши и, покопавшись в кармане, достал оттуда два двугривенных и подал швейцару.

— Возьми, братец.

— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство! — благодарил швейцар, держа по-военному руку у козырька своего кокошника.

— Настоящие, братец... Не на Песках деланы... Смело можешь отнести их в лавочку и потребовать себе за них фунт травленого кофе. Но будь осторожен: он портит желудочный сок!

— Слушаю, ваше превосходительство! — отвечал швейцар, застегивая генерала полостью извозчичьих саней. Но генерал, пока так весело шутил, в то же время делал руками вокруг себя «повальный обыск» и убедился, что у него нигде нет ни гроша. Тогда он быстро остановил извозчика, выпрыгнул из саней и пошел пешком.

— Пройдусь,— сказал он швейцару,— теперь прекрасно!

— Замечательно, ваше превосходительство!

— Именно, братец, «замечательно»! Считай за мной рубль в долгу за остроумие!

Он закрылся подъеденным молью бобром и завернул на своих усталых и отслужившихся ногах за угол улицы.

Когда он скрылся, швейцар махнул вслед ему головою и сказал дворнику:

— Третий месяц занял два рубля на извозчика и все забывает.

— Протерть горькая! — отвечал, почесывая спину, дворник.

— Ничего... Когда есть, он во все карманы рассует.

— Тогда и взыщи.

— Беспременно!

X

Гостья, как только осталась одна, сейчас же открыла свой бархатный мешок, и, вытащив оттуда спешно сунутые деньги, стала считать их. Тысяча рублей была сполна. Дама сложила билеты поаккуратнее и уже хотела снова закрыть мешок, как ее кто-то схватил за руку.

Она не заметила, как в комнату неслышными шагами вошел хорошо упитанный, розовый молодой человек с играющим кадыком под шеей и с откровенною улыбкою на устах. Он прямо ловкою хваткой положил руку на бронзовый замок бархатной сумки и сказал:

— Это арестовано!

Гостья сначала вздрогнула, но мгновенный испуг сейчас же пропал и уступил место другому чувству. Она осветилась радостью и тихо произнесла:

— Valerian! Где был ты? Боже!

— Я? Как всегда: везде и нигде. Впрочем, теперь я прямо с неба, для того чтобы убрать к себе вот этот мешочек земной грязи.

Дама хотела ему что-то сказать, но он показал ей пальцем на закрытую дверь смежной комнаты, взял у нее из рук мешок и, вынув оттуда все деньги, положил их себе в карман.

Гостья всего этого точно не замечала. Глядя на нее, приходилось бы думать, что такое обхождение ей давно в привычку и что это ей даже приятно. Она не выпускала из своих рук свободной руки Валериана и, глядя ему в лицо, тихо стонала:

— О, если бы ты знал!.. Если бы ты знал, как я истерзалась! Я не видала тебя трое суток!.. Они мне показались за вечность!

— А-а! что делать? Я этих деньков тоже не скоро забуду! Куда только я не метался, чтобы достать эту глупую тысячу рублей! Нет, теперь я убежден, что самое верное средство брать со всех деньги, это посвятить себя благодетельствованию бедных! Еще милость господня, что есть на земле дураки вроде oncle Zacharie [1].

— Оставь о нем!

— Э, нет! Я благодарен: он уже во второй раз дает нам передышку.

— Но не доведи себя до этого, мой милый, в третий.

— Если я так же глупо проиграюсь еще раз, то я удавлюсь.

— Какой вздор ты говоришь!

— Отчего же? Это, говорят, очень приятная смерть. Что-то

---

[1] Дяди Захара *(франц.)*.

вроде чего-то... Смотрите, вот у меня про всякий случай при себе в кармане и сахарная бечевка. Я пробовал: она выдержит.

— О боже! Что ты говоришь! — и, понизив голос, она прошептала: — Avancez une chaise!..[1]

Молодой человек сделал комическую гримасу и опять молча показал на завешенную дверь.

Дама сморщила брови и спросила шепотом:

— Что?

Молодой человек приложил ко рту ладони и ответил в трубку:

— Maman здесь подслушивает!

— И все это неправда! Ты очень часто клевещешь на свою мать!

Валериан перекрестился и тихо уверил:

— Ей-богу, правда: она всегда подслушивает.

— Как тебе не стыдно!

— Нет, напротив, мне за нее очень стыдно, но я ее и не осуждаю, а только предупреждаю других. Я знаю, что она делает это из отличных побуждений... Святые чувства матери...

— Approchez-vous de moi[2], милый!

— Значит, вы не верите, что она слышит?.. Ну, я ее сейчас кликну...

— Пожалуйста, без этих опытов!

— Лучше поезжайте скорее домой, и через двадцать минут...

— Ты будешь?

Он согласно кивнул головой.

Она сжала его руку и спросила:

— Это не ложь?

— Это правда, но не надо царапать ногтями мою руку.

— Когда же я не могу!

— Пустяки!

— Поцелуй меня хоть один раз!

— Еще что!

— Но отчего же!

— Ну, хорошо!

Молодой человек поцеловал ее и встал с места: он очень хотел бы, чтобы его дама сейчас же встала и ушла, но она не поднималась и еще что-то шептала. Ее дальнейшее присутствие здесь было ему мучительно, и это выразилось на его искаженном злостью лице. И зато он взял ее руку и, приложив ее к своим губам, сказал:

---

[1] Подвиньте стул! *(франц.)*
[2] Приблизьтесь ко мне *(франц.)*.

— Lilas de perse [1]— это мило: я люблю этот запах!

Дама вспрыгнула и, сжав рукой лоб, покачнулась.

— Что с вами? — спросил ее Валериан.— Спешите на воздух!

Она взглянула на него исподлобья и прошипела:

— Это низко!.. это подло!.. это бесчестно!.. После того когда я тебе это откровенно объяснила... ты не имеешь права... не имеешь пра... ва... пра... ва...

— Бога ради только без истерики!.. Вам нужно скорее на воздух!

— Воздух... пустяки... Я все это должна была выполнить...

— Ну да... и выполнила... Поезжай скорей домой, и все будет прекрасно.

При этом обрадовании она опять взяла его руку и прошептала:

— Ну да... О, боже! Но если ж я тебе уже все рассказала, для чего это так было нужно, то для чего ж говорить: «lilas de perse»! Ведь это низко!.. Я всем скажу... вот именно... как это низко... А я отсюда не уйду...

— Да, да! Пожалуйста останьтесь: maman сейчас придет.

И он встал с места, но она его удержала.

— Я, верно, схожу с ума! — произнесла она, приложив к бьющимся вискам тыльную сторону своих стынущих пальцев, и повторила: — Помогите! Я, право, схожу с ума!

Валериан испугался страдальческого выражения ее лица и начал ее крестить. Она с негодованием его оттолкнула и прошептала:

— Креститель!

— Что ж тебе надо?

— Мне? Унижения и новых обид! Мне нужно, чтобы ты был со мною!

— Но я же с тобою!

— О-о, конечно, не здесь!

— Ну и поезжай скорее домой, и я сейчас буду, и там падай, как хочешь.

— Как я хочу... Меня стоит убить!..

Она хотела сказать что-то еще, но вместо того поцеловала его руку, а он, с своей стороны, нагнулся к ней и прикоснулся губами к вьющейся на ее шее косичке.

Искаженное лицо женщины озарилось румянцем чувственного экстаза, и она поспешно закрыла себя вуалью и вышла. По ее щекам текли крупные, истерические слезы, и ее глаза померкли, а

---

[1] Персидская сирень *(франц.)*.

губы и нос покраснели и выпятились, и все лицо стало напоминать вытянутую морду ошалевшей от страсти собаки.

Она догадалась, что она гадка, и закрылась вуалем.

Когда она проходила мимо швейцара, тот молча подал ей хранившееся у него за обшлагом ливреи письмо с адресом «живчика», а она бросила ему трехрублевый билет и села в сани, тронув молча кучера пальцем.

— Инда земли не видит от слез! — заметил своему собеседнику швейцар.— А ему хоть бы что!

— Да, нонче себя мужской пол не теряют напрасно.

XI

Молодой Валериан собственноручно запер дверь за дамою и, возвратясь в гостиную, вынул из кармана панталон скомканные деньги и начал их считать.

Из-за двери, на которую Валериан указал гостье, в самом деле послышался голос его матери. Она спросила:

— Ты что-то делаешь?

— Да я уж сделал.

— Ты можешь купить «промышленные»: все уверяют, что они к весне сыграют вдвое.

— Maman, я знаю кое-что повыгоднее.

— А что такое, например?

— Ну, мало ли! Теперь ведь посыпают персидским порошком ростовщиков, и даже наш «взаимный друг» Michel окочурился... В их место нужно же нечто новое.

— Вот то и есть, но что же именно?

— Ах, maman! Это возможно только тому, кого, как меня, считают беззаботным мотом, у которого нет ничего за душою.

За дверью что-то резали и положили ножницы.

— Вы, maman, что-нибудь шьете?

— Да, мой сын, я зашиваю свои дыры, я чинюсь... подшиваю лохмотья, которых не хочу показать моей горничной.

— Это, maman, очень благоразумно и благородно.

— Но неприятно.

Юноша хотел что-то ответить, но промолчал, и только кадык у него ходил, клубясь яблоком.

За дверью опять послышалось, как что-то отрезали ножницами и снова положили их на место, и в то же время хозяйка сказала:

— Я думаю, что ты гораздо больше бы выиграл, если бы помог дяде Захару поправить увлечения его молодости. Лука это наверное бы оценил и стал бы принимать нас.

— Очень может быть, maman, но я ведь не самолюбив и не падок на то, чтобы хвалиться, где меня принимают.

— Но он бы тебе просто дал много денег.

— Что ж, я очень рад, но только как это сделать?

— Надо взять бумагу, которой боится дядя Захар.

— То есть, милая мама, ее ведь надо *украсть*!

— У тебя такая грубость, что с тобой нельзя говорить.

— Maman, я ничего не грублю, а я только договариваю то, что́ надо сделать.

— Неправда. Эта женщина сама все тебе сделает.

— Э-э! ошибаетесь! Эта женщина есть превосходный агент и превосходный математик, но ее же не оплетеши.

— Однако же она считает тебя игроком и мотом.

— Да, maman, но я употребляю очень большие усилия, чтобы устроить себе такую репутацию, только из-за того, что это должно сослужить мне службу при новом курсе.

— Сказать по совести, я ничего не понимаю, для чего это нужно.

— А кажется, что проще! Все уже вкусили «доблего» жития, и оно, наконец, надоело... Что делать? Род людской неблагодарен и злонравен... Felicitas temporum [1] откланивается... Нужен реванш... есть потребность в реакции...

— И что же будет в реакции?

— Это, maman, еще неясно, но известно всем, что явления не повторяются, а после дождичка бывает вёдро, и потому прослыть мотом и кутилой теперь все-таки выгодно — это значит обнаружить в себе известную благонадежность, которая пригодится очень скоро.

— А вы уже на всё готовы!

— Как же вы хотите иначе? Ведь мы же так и натасканы, чтоб быть на всё готовыми.

— Скажи, однако, как не мудрена ваша мудрость!

— Ах, maman, что такое нам мудрость? Уж фельетонисты, и те где-то вычитали и повторяют, что «блага мудрость с наследием», а ведь вы с папашею нам наследия не уготовили.

— Христианские родители и не обязаны снабжать вас наследием.

— Нет-с, извините-с, обязаны!

— Где же это сказано?

— А вот в «премудрости Павла чтение», на которое любят ссылаться; там это и сказано: «не дети *должны собирать* имение для родителей, но родители для детей».

— Это что-нибудь из толстовского, в простом этого нет!

---

[1] Счастливое время *(лат.)*.

— Извините-с! Не угодно ли посмотреть в самом в простом второе послание к коринфянам двенадцатая глава?

— Откуда ты все это знаешь, где и какая глава?

— Га! Я интересуюсь-с! Я хочу этим побить Толстого!

— Так и бей! Это прекрасно тебя выставит.

— Позвольте-с,— придет время.

— Какого еще надо время: он надоел.

— Прекрасно-с, но ничего не надо делать даром... Из их похвал не шубу шить. С тех пор как изобретены денежные знаки, за всякие услуги надо платить: я из руки выпускаю услугу, а ты клади об это самое место денежный знак.

— Но ты бы мог и получить наследие.

— Ах, вам все не идет из головы дядя Лука!

— Именно не идет.

— Ну, я вас успокою: с наследством этим все кончено: «оставь надежду навсегда!»

— Ты этого не можешь знать.

— Нет, знаю. Я это купил, родная, у нотариального писаря. Все отдано на «питательные учреждения» и «открытое научение».

— Ты шутишь!

— Нисколько-с.

— А Лидия?

— Ей не нужно; она не хочет возбуждать зависти и ссор, и отказалась.

— Вот дура!

— И вредная! не отдала родным!

— Но этого нельзя допустить!

— Не надо бы-с!

— Что ж делать?

— Надобно спасаться, чем знаете, хоть даже чудом!

— Теперь ты веришь в чудо?

— О да, maman!.. Я верю во все, во что угодно: я жить хочу.

И жить, я чувствую, я буду!
Хоть чудом,— о, я верю чуду!

Я вам даже нечто и больше скажу, но это между нами.

— Пожалуйста.

— Надо проводить нового чудотворца.

— Какие пустяки!

— Нет-с: это надо. И у меня такой есть!

— Но что же он может делать?

— Не беспокойтесь!.. маленькие вещицы он уже делает, и очень недурно, но надо его хорошо вывесть и хорошо рекомендовать. О, я знаю, что надо в жизни!

XII

Мать и сын умолкли. Казалось, они оба вдруг устали от всех перебранных ими впечатлений и тяжести такого решения, после которого каждым из них ощущалась потребность в каком-нибудь внешнем толчке и отвлечении, и за этим дело не стало. В эти самые минуты, когда мать и сын оставались в молчании и ужасе от того, на что они решились, с улицы все надвигался сгущавшийся шум, который вдруг перешел в неистовый рев и отогнал от них муки сознания. Валерий все еще был погружен в соображения, но хозяйка встревожилась и оживилась: она выбежала в беспорядочном туалете в гостиную, бросилась к окну и закричала:

— Смотри, какая толпа!

Валериан лениво потянулся как бы спросонья и отвечал сквозь зубы:

— Нелепая толпа, maman, не стоит и смотреть!

— Да, но, однако, это трогательно!

— А я так думаю — нимало.

— Но да, но все-таки ведь это вера!

— Не знаю, право!

— А вообрази, наш швейцар: он, должно быть, совершенный нигилист.

— Он, кажется, когда-то славился другим.

— А именно?

— Он помогал переводить нигилистов. О нем знает ваш генерал.

— Но как же,— я его спрашиваю,— что это значит? А он отвечает: «Необстоятельный народ-с мечется, а не знает чего».

— Он, однако, умно вам ответил.

— Ну, полно, пожалуйста! Но что за глупые, вправду, чего они все разом хотят?

— Вероятно, они хотят, чтоб их вытолкали и побили.

— И какие гадкие: испитые, оборванные!

— Ну да, труждающиеся и обремененные. Тут, верно, где-нибудь Jean или Onthon.

— Гляди, пожалуйста: вот и эта бойкая женщина, на которую жалуются. Взаправду, смотри, как она их царапает!

Валериан встал и оживился.

— А-а! — сказал он, улыбаясь,— вот к этой я неравнодушен. Это личность с характером, ее зовут как-то вроде Елизавет Воробей; она вывозит знаменитость в свет, и бьет, и царапает ту самую публику, которая сделала им всю ихнюю славу. По-моему, она да Мещерский только двое и постигли, что нужно людям, которые не знают, чего хотят. Пойду смотреть, как она этих олухов лущит!

Walerian вышел в переднюю, где было темно, но у лампы возилась со спичками та самая красивая горничная с китайскими глазками, которая несколько времени назад ласково позволяла генералу целовать ее в шейку. Увидав ее, Walerian поморщился и стал надевать перчатки.

Девушка бросила спички и хотела уйти, но опять остановилась. Она была неспокойна, и лицо ее разгоралось и принимало дерзкое выражение.

Молодой человек это заметил и, вскинув на голову фуражку, стал сам надевать без помощи свое пальто.

Девушка посмотрела на него искоса и решилась ему помочь. Она взяла у него из рук пальто, но едва лишь он начал вздевать его в рукава, как она бросила пальто на пол и исчезла за вешалкой, где была маленькая дверь в каютку, служившую ей помещением. Из этой каютки на парадную лестницу выходило маленькое зеркальное окошечко, затянутое голубою тафтой.

— Свинья! — прошептал вслед ей Валериан и, подняв с полу пальто, отряхнул и надел его без посторонней помощи, а потом, выйдя на лестницу, торопливо побежал вниз по ступеням. Но быстрота его не спасла, и вслед ему из окна раздалось:

— Ишь, сгорбил как виноватую спину! Думает, не знаю, куда поспешает! Драть бы вас с вашим старухам-то!

Но Валериан убегал и старался не слушать о том, чего, надо думать, он заслужил.

XIII

Внизу лестницы встретились два брата: Аркадий и Валерий, «рохля» и «живчик». Аркадий (рохля) был старше Валерия (живчика) лет на шесть и гораздо его солиднее. Он был тоже породистый «полукровок»: как Валерий, пухлый и с кадыком, но как будто уже присел на ноги. С лица он походил разом на одутловатое дитя и на дрессированного волка. От него пахло необыкновенными духами, напоминавшими аромат яблочных зерен.

Дверь материной квартиры рохля нашел незакрытою. Так она оставалась после недавнего выхода Валериана. Аркадий презрительным тоном обратил на это материно внимание. Та пожала плечами и сказала:

— Что ж делать? Мы ведь даже не вольны в нашей прислуге. Принять и отпустить человека — целая процедура, и люди это знают и не боятся, а позволяют себе все что угодно.

Аркадий перебил:

— Надо, чтобы Валериан не ставил себя в такое положение, чтобы зависеть от женщины!

Мать махнула рукой и сказала:

— Ах, уж оставь говорить против женщин!

Из комнатки за вешалкой как бы в ответ на это слышалось тихое истерическое всхлипывание.

Хозяйка встала и заперла эту дверь и снова села.

— Я всегда буду говорить, что женская прислуга никуда не годится,— произнес тихо Аркадий.

— Она дешевее и полезнее,— отвечала мать.

— Зато вот и терпите ее выходки.

— Ах, я уж и не знаю, от каких выходок хуже! Мне кажется, от всех этих впечатлений можно сойти с ума!

— Это всегдашняя ваша песня, maman... Но зачем вы за мной посылали?

— У меня был брат Захар... Когда ж это кончится?

— Да что такое? Дядя вечно болтает... Он известный болтун!

— Пусть он болтун, но ты не порть свою карьеру. Я за тебя дрожу!

— Да нечего вам дрожать, maman! То время, когда шантаж был развит, прошло. Теперь все в низшем классе знают, что за шантаж есть наказание, и к тому же я и сам не хочу здесь больше оставаться, где этот fabulator elegantissimus [1] невесть что обо всех сочиняет. Тетя Олимпия сама взялась мне уладить это с Густавычем. Его зятя переведут на Запад, а я получу самостоятельное назначение на Востоке.

— О, пусть бы она хоть этим загладила свой грех передо мною!

— Какой же это грех?

— Грех? Несчастье всей моей жизни.

— Ах, это что-нибудь такое, чего мы, как дети, не должны знать!

— Вы не знаете ничего, кроме того, что вас самих касается. Но когда же она тебя устроит?

— Сегодня... может быть, сейчас! Если я получу назначение, то танта Олимпия сюда заедет... Да вот и она,— добавил он, взглянув в окно на улицу,— я вижу, у подъезда ее коляска и кучер с часами на пояснице.

Рохля пошел в переднюю и открыл дверь на лестницу, по которой поднималась пожилая, очень массивная дама в тальме дипломатического фасона, который, впрочем, очень любят и наши кухарки. Под меховою тальмой, представляющей как бы рыцарскую мантию, на могучей груди дамы сверкала бисерная кираса. Дама

---

[1] Искуснейший сочинитель *(лат.)*.

немножко тяжело дышала, но поднималась бодро и говорила, улыбаясь, «рохле»:

— Смотри, мне скоро шестьдесят пять лет, а мое сердце работает еще как добрый кузнец.

При этом она взяла руку племянника и приложила ее к своей кирасе, а потом, войдя в переднюю, подставила хозяйке свою щеку для поцелуя и продолжала:

— Прости, я к вам на минуту: взойду, но не разденусь. Я лишь затем, чтобы вас обрадовать: Аркадий, ты назначен! Ступай, сейчас ступай благодари! Это его свяжет и отрежет ему путь к отступлению.

— Сейчас, ma tante,— отвечал Аркадий и стал искать свое пальто.

Из-за вешалки показалась оправившаяся горничная, но Аркадий судорожно от нее уклонился и спешно вышел.

Олимпия это заметила и, входя в гостиную, сказала с улыбкой:

— Он все еще по-прежнему... такой же шут... боится женщин!

— Ах!

Хозяйка махнула рукой.

— Э, милая, не стоит думать!.. Это теперь совсем не так необыкновенно! Но хорошо, однако, что il ne met plus de manchettes [1]. Теперь он все-таки похож как все люди. Но, однако, adieu! [2] Я к тебе, может быть, еще заверну поговорить по душе, а пока у меня миллион дел. Вы все ведь здесь уснули! Так нельзя! Вы просто *дрыхнете*, как это говорят, и притом жуете онуч... Вас надо будить! Куда ни заглянешь, везде всех надо будить. Ваш сон ужасно затрудняет все славянство. Святая Русь есть сила мира, и это будет ее имя: Silămira! Но это еще пока спящая сила! Со временем это будет не так! Тогда не надо будет приходить с Запада и толкать вас, как теперь, когда вы начинаете очень скандально сопеть и храпеть...

— Да, но у нас теперь все веруют!

— А по-моему, вы даже плохо и веруете: вы веруете все както сонно... точно во сне... точно вы насилу плывете и насилу веруете, и того и гляди, сейчас куда-то опуститесь и всё позабудете... Прощай! До свидания!.. Ты, разумеется, уже слышала, что сделала Нина, Захарова дочь?

— Говорят, будто она... будет матерью.

— Чего там: «говорят»! Это факт! Конечно, она будет

---

[1] Он не носит уже больше манжет (то есть штатской одежды) *(франц.)*.

[2] До свидания *(франц.)*.

матерью... Но как это случилось?.. Ведь граф так стар и так глуп, что он женился только назло своим дочерям Гонерилье и Регане...

— Какая безнравственность!

— Нет, да ты, вероятно, еще не все знаешь? C'est un inceste!..[1] Ей поручили отвезти племянника, который еще до сих пор кадет или что-то подобное...

— О боже! Боже!

— Да, именно уж это настоящий criminal conversation de Byzance! [2]

И она замотала руками и головой и пошла к двери, но хозяйка удержала ее у порога и сказала:

— Ты много сделала, что устроила опять Аркадия, но я боюсь — что, если он взаправду сумасшедший?

— Оставь и будь спокойна,— ответила Олимпия,— помни, что говорил Оксенштиерна: «Не велик ум надо, чтобы делать политику».

Олимпия прижала ладони к своей кирасе и добавила:

— Это совсем не наша обязанность, чтобы поставлять умы для всего света, а наше métier совсем иное, и оно все в том, чтобы насыпать соли на хвост всем, кто рвется вперед.

Объяснив свое призвание, дама еще раз щелкнула себя по кирасе и, встряхнув руку хозяйке аглицкою встряской, сошла вниз, села в коляску наискось против часов, торчавших на пояснице кучера, и понеслась jouer un tour de son métier [3].

XIV

Хозяйка осталась одна и сейчас же спросила себе пальто и калоши, взяла в карман флакон с нюхательною солью и ушла из дома, сказав, что хочет сделать покупки в «бракованной лавке».

Она чувствовала ту ужасную усталость, о какой может иметь понятие только актриса, исполняющая роль, которая не спускает ее целый акт со сцены.

Она была очень утомлена, почти измучена, но в ней еще много силы для таких же борений. Она скоро оправится на воздухе и будет в состоянии дать наилучший отчет на своем месте.

А пока кошка в отсутствии, без нее начинают шалить домашние мыши.

---

[1] Это кровосмешение! *(франц.)*
[2] Неуместный разговор о преступлениях! *(франц.)*
[3] Заниматься своим ремеслом *(франц.)*.

По уходе хозяйки горничная с китайскими глазами и фигуркой фарфоровой куклы прошла по всем комнатам и везде открыла форточки, а потом отдернула портьеру и отворила дверь из гостиной в будуар, который служил тоже хозяйке и ее кабинетом и тайником. Здесь девушка убрала беспорядок, потом вынула из кармана подобранный ключик, открыла им стол и, достав оттуда надушенный листок слоновой бумаги, зажгла свечи и начала выводить:

«Если предложения ваши обстоятельны, то хотя ваши лета и не сходны, но за вежливость вашу я согласна иметь для вас полные чувства, только никак не в вашем собственном доме и не при ваших людев».

Она перечитала написанное и внизу после своей подписи еще приписала:

«Только пожалуста с ответом по почте».

Написав это письмо, девушка достала из бювара своей госпожи конверт и начала тщательно выводить адрес. В это время портьера раскрылась с другой стороны будуара, и в комнату, выпятив зоб, как гусыня, вошла рослая белая женщина лет сорока пяти, с большим ртом и двухэтажным подбородком. Это была домовая кухарка.

— Достань-ка мне у нее пару папиросок,— сказала она горничной.

— Возьми сама,— отвечала девушка и продолжала надписывать конверт.

Кухарка взяла из сердоликовой коробочки несколько папирос, закурила одну из них и, севши на шелковом пуфе перед зеркалом, начала выдавливать ногтями прыщик на подбородке, а потом она запудрила это место барыниной пуховкой и сказала:

— Мочи нет как прыщи одолели!

— Не лакай черного пива...

— И то уж не пью.

— Ну, так не тискай мальчонков, которые приносят покупки.

— Ты, что ли, это видала?

— Еще бы! Зеленщикова мальчонку вчера, думала, ты, как русалка, совсем защекочешь.

— Он ребенок, еще совсем без понятьев.

— Так ты и станешь дожидаться евонных понятьев!

— Нет, я ведь, ей-богу, я только всего и люблю баловать да помять их, красивых детишков. У меня крестник уж был шестнадцати лет, да вот помер,— я и скучаю. А ты это на кого еще грех новый наводишь: кому это пишешь?

Девушка не ответила.

— Думаешь, я не знаю! А я знаю!

Китаянка опять промолчала.

— Хочешь, скажу?

— Ну, говори!

— Генерала ты путаешь, вот что!

— Ну, так и знай, что его самого!

Она стала наклеивать марку.

— Вот ты надо мной смеешься, что я ласкаю детишков, а сама хуже попалась.

— Ничего не попалась.

— А отчего ж ты ревешь и некрасивая стала?

— Реву о том, что дура была,— в верности жить полагала.

— Вот то-то и есть; а теперь и видать — непорожняя.

— И врешь, ничего еще пока не видать.

— Отчего же, когда батюшка был, он меня поблагословил и попить мне чайку дал с своего блюдца, а тебе нет?

— У меня на лбу петушки были натрепаны: он не любит. Да и не надо: не все то и сбывается, что́ он говорит.

Кухарка покачала головой и, вздохнувши, сказала поучительным тоном:

— Да, уж это неизвестно, почему так он по купечеству много отмаливает, а в разных званьях не может.

— Не потрафляет!

— Не надо, дружок, так говорить, потому что хотя он и не потрафляет и не все пусть сбывается, ну, а все мы должны верить в божье посланье, хотя я и сама... этой драчихе, которая царапает, так бы ей все космы выдрала!

— И отвели бы тебя под суд,— сказала девушка, у которой нрав был шкодливый, но робкий. Но кухарка, женщина опытная, смело ей отвечала:

— Ничего не значит: «нарушение тишины беспорядка! Восемь дней на казачьем параде!» Ей-богу, вздую!

XV

В это время внезапно раздался звонок. Кухарка и горничная обе быстро вскочили: девушка проворно опустила письмо в карман и побежала отворить парадный вход, а кухарка прошла в коридор, соединяющий переднюю с кухней, и притаилась у двери.

Вошел Валериан и негромко спросил:

— Кто у нас?

— Никого,— ответила девушка.

— А мама?

— Вышли.

— Не вышел ли, кстати, и из тебя твой дурацкий каприз?

— Как не дурацкой! Скажите, пожалуйста... нечего мне капризничать?

Девушка забирала самую бранчивую ноту.

— Возьми, пожалуйста, вот это себе и не дуйся, как дама женского пола.

— Что это такое?

— Серьги.

— Мне не серьги нужны, а добудь мне средство.

— После добуду.

— Нет, вы меня обманываете! Я вам не дура!

— Бери пока это!

— Не надо.

— Что за глупость! Кому же я их отдам?

— Мне что за дело? Я не хочу! Ничего от вас не хочу, потому что вы не благородный господин и студент, а самый низкий и подлый мужчина!

Валерий хотел ее остановить какою-то грубостью, но она дернулась и сказала:

— Смей-ка, посмей! — и ушла в свою каютку.

Молодой человек юркнул туда же за нею и заговорил с лаской:

— Послушай... Ведь ты же хотела... ты просила сережки... Бери же теперь, когда куплено!

— Куплено!.. Где?.. В чьем магазине? Или, быть может, сдернул шутя у Савки на лавке?

— Зачем ты этакие пошлости говоришь?

— А как же не спросить? Быть может, их и носить нельзя?

— Это еще что за глупость?

— А, может быть, эта жимолость увидит и с ушами оторвет.

Молодой человек вспыхнул.

— Какая «жимолость»? — вскричал он.

— Да старуха-то эта... ваша Камчатка... Ведь она... жимолостная...

— Какая Камчатка!

— Не знаешь!

— Разумеется, не знаю!

— Полно дурака-то валять!

— Я тебе говорю, что не знаю: что́ такое Камчатка и почему Камчатка!

— Так ты у нее спроси, что это она сама Камчатка или за нее других посылают в Камчатку, а только я ее не боюсь и говорю, что она самая преподлая-подлая и уж давно бы ей бы пора умирать, а не ребят нанимать, которые хуже самой болтущей девчонки.

— Однако ты действительно невыносимо забываешься!

— Что же? Мне еще можно. Зато, когда старухой сделаюсь, не позабудусь.

Валериан бросил свой подарок на комодик девицы и, сжав ее руку, прошептал:

— Я тебя ненавижу!

— Чего благороднее, как теперь ненавидеть!

— Ты сама довела, что мне стала противна.

— А противна, так зачем ты сюда пришел?

— Я только и хотел тебе это сказать, что ты скверна!

— Ну да! Сделайте одолжение!.. Непременно скверна!.. Для кого-нибудь не скверна, а ты сказал, и уходи. Совсем напрасно ваши пульсы бьются...

— Ты врешь, мои пульсы не бьются!

— Ну да!.. Оно и видно!

— Ну так я тебе это сейчас объясню, для чего они бьются.

— Э, нет, брат, нет, нет! Я уж от этих ваших объясненьев-то вон каким уродом стала, что́ даже все замечают.

Он что-то сказал, но она отвечала: «нет», потом опять: «нет», и потом еще:

— Нет, нет, нет! Что-о?.. Ага!.. Нет!.. Подаренье мне — это в состав не входит, а ты виноват и прощенья проси.

— И еще попроси!

— И еще!

— Ну, вот так! А то ступай вон... Вашего брата надо пробирать!

Подслушивавшая кухарка от этих последних слов пришла в восторг и, озарившись радостной улыбкой, плюнула и прошептала:

— Ах ты шельма! давно ли из деревни, а как умеет! Это она опять на колени его поставила! Тьфу! Ей-богу, в ее черт ложку меду кладет!

И кухарка еще сильнее затаила дыхание, чтобы наблюдать, что будет, но дальнейшей проборки уже не было слышно, потому

что дверь маленькой каютки закрылась, а с другого конца коридора, где своим чередом совершалась забота о пище, пополз невыносимый чад.

Кухарка бросилась к своему бурливому алтарю и застала на плите самый полный беспорядок: одно перекипело и било через край, другое перегорело, пережарилось и все наполняло смрадом помещение с потолка и до пола.

Кухарка рассердилась и закричала:

— О, черт бы вас взял с вашими пульсами и с вашею проборкой! Все, дьяволы, будете нынче без жратвы!

С этим, полная гнева, она вскочила на стол, открыла форточку и размахнула настежь дверь с черного хода; но едва она это сделала, как вся просияла; на ее конце улицы тоже заходил праздник: у самого порога стоял румяный лавочный мальчик с корзиною на голове и не решался перешагнуть.

— А-а! — приветствовала его весело белая баба,— то-то я, братцы, слышу: кто это с такою великолепною гордостью ползет и катится, а это ты, шышь-пыжь — лавочная мышь? Здорово, Петрунька!

Мальчик дулся и молчал, а кучерявая бабелина рассмеялась и, потянув его за фартук в кухню, бойко продолжала:

— Полно дуть губу!.. Дурак! Ведь жив, чай, остался!

— Только и есть, что жив вам достался! — ответил плаксиво розовый мальчик и враз изменил голос, крикнув: — Принимай, что ли, скорее корзинку! Мне не время!

— А мне что за дело? Тут не снимай!.. Видишь, здесь чадно! Неси вон туда, в мою комнату.

Мальчик с корзинкою тронулся и опять в нерешительности остановился, но кухарка втолкнула его в комнату, и оттуда сейчас же послышался жалостный писк.

Вечер густеет. Все тихо.

XVI

В кухне прочистилось; чад унесло; из кухаркиной комнаты, озираясь, вышел робко лавочный мальчик; у него на голове опрокинута опорожненная корзина. Она закрывает ему все лицо, и в этом для него, по-видимому, есть удобство. Кухарка его провожает и удерживает еще на минуту у порога; она молча грозит ему пальцем, потом сыплет ему горсть сухого господского компота, и, наконец, приподнимает у него над головою корзинку, берет

руками за алые щеки и целует в губы. При этом оба целующиеся смеются.

Мальчик уже сбросил с себя свою детскую робость, а она ему шепчет:

— На гулянье пойдем вместе. Гляди, там какое веселье!.. Я тебе к празднику голубую рубашку сошью. Прибеги только завтра примерить.

— Прибегу,— отвечает мальчишка.

Она его еще обняла и, прижав к груди его головенку, сказала ему с материнскою нежностью:

— А когда тебя пошлют к прачке в заведение, ты с ее гладильщицами не разговаривай... Слышишь?.. Они девчонки ветреные. Можешь пропасть...

— Не-ет! — отвечал мальчик.— Мне и так всех стыдно!

— Вот то-то и есть! Да все, милка, ничего и не значит... А я всех дворников подкуплю, и мне сейчас всё и донесут.

Он посвистывает и спускается с лестницы, обнаруживая в самом деле «великолепную гордость».

Дворницкий работник встречает его с вязанкою дров и говорит:

— Пётра, сколько ты прожил лет?

— Тринадцать.

— Ишь, старик! А жить хорошо?

— Ничего!

— Ожидай, значит, лучшего!

Пётр благодарит и уходит в ожидании лучшего.

Он будет на гулянье, она ему подарит рубашку. Со временем он попросит ее купить ему часы. А то ну ее к черту!

В передней и в кухне засветились хорошо протертые лампы. На плите в кастрюлях все подлито и подправлено, буря прошумела и отхлынула, наступает снова чистота и порядок, как требуется. Надо и себя примундирить.

Кухарка повернула кран и спустила над раковиной воду до холодной струи. Этой воды она налила полный жестяной уполовник и всю ее выпила. Она пьет с жадностью, как горячая лошадь, у которой за всяким глотком даже уши прыгают. Прежде чем она кончила свое умыванье, в кухню входит тоже и горничная, и эта точно так же молча взяла уполовник, и так же налила его холодною водой, и так же пьет с жадностью, и красные уши ее вздрагивают за каждым глотком.

Затем и эта умылась холодною водой над тою же самою раковиной и замахала над головой мокрыми руками, потому что забыла взять с собой утиральник.

Говорить ей не хочется.

Кухарка ее поняла, кинула ей чистый конец своего полотенца и, поклонившись ей наподобие реверанса, сказала:

— Поздравляю с приятным бонжуром!

Горничная сделала шутливую гримасу и ответила:

— И вас с теми же делами!

Они, кажется, признавали за настоящие «дела» — только одни дела природы, которая множит жизнь, не заботясь о том, в чем ее смысл и значение.

<1894>

ПРИМЕЧАНИЯ

В силу ограниченности объема в настоящее издание не могли быть включены все значительные произведения Н. Лескова.

Представленные здесь повести и рассказы, расположенные в хронологическом порядке, все же дадут возможность читателю проследить эволюцию творчества Лескова на протяжении более трех десятилетий — от 60-х до середины 90-х годов XIX века.

Произведения датируются не по первой публикации, а по времени их написания.

Тексты даны по Собранию сочинений Н. С. Лескова в одиннадцати томах, Государственное издат. художеств. литературы, М., 1956—1958.

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

В первой публикации повесть называлась «Леди Макбет нашего уезда».

Н. С. Лесков предполагал создать цикл очерков о женщинах разных сословий. Он писал в редакцию журнала «Эпоха»: «Леди Макбет нашего уезда» составляет 1-й № серии очерков исключительно одних типических женских характеров нашей (окской и частию волжской) местности. Всех таких очерков я предполагаю написать двенадцать, каждый в объеме от одного до двух листов, восемь из народного и купеческого быта и четыре из дворянского. За «Леди Макбет» (купеческого) идет «Грациэлла» (дворянка), потом «Майорша Поливодова» (старосветская помещица), потом «Февронья Роховна» (крестьянская раскольница) и «Бабушка Блошка» (повитуха). Далее пересчитывать не буду, тем более что они еще не отделаны; но те, которые я назвал Вам, могут идти друг за другом, по одному в месяц, и должны, по моему расчету, все выйти к следующей зиме особым изданием» (Н. С. Лесков. Собр. соч. в одиннадцати томах, т. 10, М., 1958, с. 253) [1].

[1] В дальнейшем ссылки на Собрание сочинений Н. С. Лескова даются сокращенно: том и страница.

Перечисленные Лесковым произведения неизвестны. Возможно, материал этот использован в таких рассказах и повестях, как «Воительница», «Котин доилец и Платонида», «Житие одной бабы».

Лесков вспоминал: «А я, вот, когда писал свою «Леди Макбет», то под влиянием взвинченных нервов и одиночества чуть не доходил до бреда. Мне становилось временами невыносимо жутко, волос поднимался дыбом, я застывал при малейшем шорохе, который производил сам движением ноги или поворотом шеи. Это были тяжелые минуты, которых мне не забыть никогда» («Как работал Лесков над «Леди Макбет Мценского уезда». Сборник статей к постановке оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Ленинградским государственным академическим Малым Оперным театром. Л., 1934, с. 19).

Характер Катерины Измайловой, как и описанная в повести трагедия,— итог изучения жизни и быта провинциальной купеческо-мещанской среды. Некоторые воспоминания детства, в сочетании с более поздними наблюдениями, помогли писателю создать убедительную картину жизни. Лесков вспоминал, например: «Раз одному соседу старику, который «зажился» за семьдесят годов и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, нетерпеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч... Я помню, как его хоронили... Ухо у него отвалилось... Потом ее на Ильинке (на площади) «палач терзал». Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая...» («Как я учился праздновать. Из детских воспоминаний писателя». Цит. по Собранию сочинений Лескова, т. 1, с. 498).

Стр. 23. *Пихтéрь* — большая плетеная корзина раструбом для носки сена и другого корма скоту.

Стр. 42. *Кисá* — кожаный затягивающийся мешок, мошна.

Стр. 45. *Патерик* — сборник житий преподобных отцов.

Стр. 49. *Престол* — день памяти события или святого, во имя которого сооружен храм.

Форшляг (нем.) — небольшая мелодическая фигура.

Стр. 58. *Иов* — библейский праведник, безропотно переносивший ниспосланные ему богом испытания.

«За окном в тени мелькает...» — из стихотворения Я. Полонского «Вызов».

ВОИТЕЛЬНИЦА

В первом издании рассказ предварялся посвящением художнику Михаилу Осиповичу Микешину (1835—1896), с которым Лесков был в дружеских отношениях.

Стр. 61. *Эпиграф:* слова Сенеки из I части драмы А. Майкова «Люций».

Стр. 64. *Арид* — библейский патриарх, проживший очень долгую жизнь (отсюда «аридовы веки»).

Стр. 67. *Фактотум* (от лат. fac totum — делай все) — лицо, беспрекословно выполняющее чьи-либо поручения.

Серизовая (от франц.) — вишневого цвета.

Гроденаплевая — шелковая ткань, которую впервые стали вырабатывать в г. Неаполе.

Стр. 68. *Кортит* — не терпится.

Стр. 73. *Спажинки* (спожинки) — пост накануне успенья (15 августа); праздник жатвы.

Карамболь — термин в биллиардной игре: удар шаром по двум другим шарам с рикошета.

Стр. 99. *Бзырит* (диалект.) — рыскает, бегает.

Стр. 100—101. *Гамлетовское выражение...*— Слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира (II акт, 2-я сцена).

Стр. 105. *Живейный* — извозчик, возивший пассажиров (в отличие от ломового, возившего грузы).

Стр. 107. *Вохловатый мужичок.*— Вохлы (псковск.) — космы, патлы.

Стр. 111. *Ледунка* (лядунка) — патронташ.

Стр. 118. *Тарбан* (торбан) — струнный музыкальный инструмент типа украинской бандуры.

Стр. 121. *Навью кость сводила.*— Навья кость — мертвая кость, одна из мелких косточек ступни, выступающая под кожей; по поверью, является вестницей беды или смерти.

Стр. 126. *Канон* — церковная молитва, исполнявшаяся на заутренях и вечернях.

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ

В период создания повести Лесков выступает со статьями, посвященными проблемам иконописи. Его статья «Об адописных иконах», появившаяся в июле 1873 года в газете «Русский мир», вызвала целую дискуссию в печати. Там же в сентябре 1873 года была опубликована статья «О русской иконописи».

Древнерусским искусством и религией, в частности старообрядческой, Лесков интересовался еще с детства. Этому способствовало его близкое знакомство с археологом, преподавателем Академии художеств В. А. Прохоровым (1818—1882). В самом начале литературной деятельности, в 60-е годы, Лесков публикует серию статей в «Биржевых ведомостях» — «Русские архиереи и русские монастыри в старину», «Искания школ старообрядцами» и др.

Церковной тематики касается Лесков и в литературно-критических статьях 70-х годов: «Карикатурный идеал. Утопия из церковно-бытовой жизни (Критический этюд)» — о книге «Жизнь сельского священника» третьестепенного писателя официального направления Ф. В. Ливанова; статья о рассказах и повестях А. Ф. Погосского и др.

Н. С. Лесков выступал в защиту «одной из самых покинутых отраслей

русского искусства» — иконописи, которая, по его мнению, служила делу просвещения народа. Он указывал на мировое значение таких шедевров, как «филаретовские святцы в Москве», «канонические створы русского письма, находящиеся в Ватикане у папы».

Лесков не воспринимает литографированные иконы как искусство. «Иконы надо писать руками иконописцев»,— утверждает он. Наивысшую оценку дает он русской школе иконописи.

Из выдающихся русских мастеров-изографов своего времени Лесков называет имена Пешехонова, Силачева, Савватиева.

Таким образом, созданию «Запечатленного ангела» предшествовала большая работа Лескова по изучению иконописи как искусства.

Лесков обнаруживает также всесторонние и глубокие знания апокрифической литературы.

По требованию издателя «Русского вестника» М. Н. Каткова, Лесков вынужден был придать концовке повести поучительный характер: раскольники признают превосходство «господствующей церкви», якобы убежденные ее чудесами. Однако это «чудодейственное» преображение выглядит неправдоподобно,— об этом сам Лесков говорил в последней главе «Печерских антиков».

Как и многие произведения Лескова, «Запечатленный ангел» не сразу нашел издателя. Над этой повестью Лесков долго работал. «...вытачивать «Ангелов» по полугода да за 500 р. продавать их — сил не хватает, а условия рынка Вы знаете, как и условия жизни»,— жаловался писатель одному из корреспондентов (т. 10, с. 360).

Близость «Запечатленного ангела» к рождественскому рассказу вызвала к нему благосклонное внимание царя Александра II. Лесков пользовался «высочайшим» отзывом, чтобы оградить повесть от посягательств цензуры.

Стр. 127. *Святки* — период от рождества (25 декабря) до крещенья.

...накануне Васильева вечера.— День святого Василия — 1 января.

...перекрестился древним большим крестом — не тремя, а двумя пальцами, как старовер.

Стр. 129. *Скиния* (г р е ч.) — переносная церковь.

...новгородских или строгановских изографов.— Новгородская иконописная школа (XIV—XV вв.) и продолжавшая ее традиции строгановская характеризовались мелким письмом по золоту.

Деисус — трехличная икона — Богоматери, Спасителя и Иоанна Предтечи.

Индикт — церковное исчисление времени, при котором мерой отсчета был пятнадцатилетний период. Началом отсчета было 1 сентября. Здесь — посвященная этому дню многоличная икона.

Святцы — месяцеслов с перечнем святых. Здесь двенадцать икон с изображением святых, чтимых в каждом месяце.

Собор — икона с изображением архангелов Михаила или Гавриила, держащих икону младенца — Христа (Эммануила).

Отечество — икона с изображением бога Саваофа с младенцем Христом на руках в окружении архангелов.

Стр. 130. *Шестоднев* — икона с шестью сюжетными изображениями, к каждому дню недели.

Целебники — иконы с изображением святых, избавлявших от болезней.

«Троица с Авраамлиим поклонением у дуба мамврийского» — сюжет иконы, на которой изображены три святых в гостях у Авраама.

Олинфы — оливковые деревья.

Ушки с тороцами.— Тороци (тороки) — ток божественного или ангельского слуха, изображаемый на иконах в виде струи или лучей.

Рясно — ожерелье или подвески.

Пернат (пернач) — булава с перистым набалдашником.

Веселиил — согласно Библии, основатель храма, построенного евреями в пустыне после их ухода из Египта.

Стр. 131. *Тябло* — киот, полочка, ярус иконостаса.

Лествица — лестница.

Аналогий (аналой) — высокий церковный столик для чтения стоя.

Стр. 132. *...положит благословящий начал...*— Начал — молитва раскольников.

...пения, расположенного по крюкам...— старинный способ обозначения нот, без линеек.

Амалфеев рог — рог изобилия.

Стр. 133. *Мравolев* — фантастическое животное, смешение муравья со львом (по «Физиологу»).

Гуменцо (гуменце) — темя, выстригаемое при посвящении церковнослужителей.

Щаповатый (щапливый) — нарядный, щегольской.

Велиар (библейск.) — темная, мрачная сила.

Оцетность.— Оцет (польск.) — уксус.

Колоника — загустевший на осях телеги деготь.

Жвир (польск.) — крупный песок.

Стр. 136. *Заставки* — здесь: подставные иконы.

Стр. 137. *Цыбастая* — тонконогая.

Сойга (сайга) — степная коза.

Стр. 140. *Гаплик* — застежка.

Остегны — шаровары.

Стр. 141. *Шпилман* (нем.) — странствующий музыкант; здесь в ироническом смысле.

Ботвит — бодрится, чванится, бахвалится.

Стр. 143. *Ротитися* — божиться.

Иродиада — по Евангелию, жена дяди своего, иудейского царя Филиппа,

добившаяся смертной казни Иоанна Крестителя, который разоблачил ее преступную связь с братом Филиппа Иродом Антиппой.

Стр. 144. *Кучился* — умолял.

Стр. 145. *Котелки* — баранки.

Стр. 147. *Водный труд* — водянка.

Стр. 148. *Аммос-пророк* — библейский пророк, выступавший против израильских властителей.

Стр. 149. *Петр Могила* (1596—1647) — киевский митрополит, издавший в 1646 году руководство к церковной службе (требник).

Вапа — краска.

Стр. 150. *Мстера* (Мстёра) — поселок Владимирской области, древнейший центр русской миниатюрной живописи и иконописи.

Стр. 151. *...ушаковское писание.*— Ушаков Симон (Пимен) Федорович (1626—1686) — выдающийся русский художник и теоретик искусства, призывавший к «правдивому отображению земной красоты».

Парамшин — русский иконописец XIV века.

В Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы Андрей, Сергей да Никита в тринадцатом веке писали.— В дальнейшем было установлено, что эти так называемые «капонические створы» (по имени итальянского коллекционера Капони) написаны во второй половине XVII века. Не подтверждается и тот факт, что «створы» были подарены итальянцу самим Петром I, хотя несомненно, что они выполнены русскими мастерами.

Стр. 152. *Архистратиг* — военачальник, главный воевода.

Князь Потемкин Таврический — Потемкин Г. А. (1739—1791) — политический и государственный деятель при дворе Екатерины II. В 1783 году получил титул «Таврический» за присоединение к России Крыма.

Студодейный — непотребный.

Скрижаль — доска с заповедными письменами.

Митра — архимандритская и архиерейская шапка — при полном облачении.

Давид — царь израильский (X в. до н. э.).

Даниил — библейский пророк, предсказывавший падение Вавилона, приход мессии — освободителя народа иудейского из плена, восстановление Иерусалима и смерть Христа.

Стр. 154. *Притоманный* (диалект.) — сородич, близкий.

Пакибытие — духовное возрождение.

Стр. 155. *Клинцы, Злынка, Орел* — центры старообрядчества.

Оле — увы.

Рефть — краска, смесь голубого и черного цветов.

Нефть — белая краска, обычно смешивавшаяся с золотом.

Стр. 156. *Нарохтиться* — бахвалиться.

Стр. 158. *Аристетелевы* (Аристотелевы) *врата* — сборник неканонических текстов, запрещенный на Руси в 1551 году как еретический.

Анахорит (анахорет) — отшельник.

Стр. 160. *Избутелый* — гнилой.

Стр. 163. *...сия вера кафолическая* — восточная (греко-православная) ветвь христианской религии, в отличие от западной (римско-католической), находящейся под управлением римского папы.

Свайка — изогнутый металлический прут (обычно на деревянной ручке), используемый для плетения веревочных, лыковых и других изделий.

Стр. 164. *Скорбь демоноговейная* — то есть идолопоклонническая.

Стр. 165. *Вавилон строить.*— Согласно Библии, после потопа древние вавилоняне пытались построить башню до небес, но бог смешал их языки, и они, перестав понимать друг друга («Вавилонское столпотворение»), рассеялись по всей земле. Здесь — мирская жизнь.

Стр. 167. *Избиение младенцев.*— Согласно Евангелию от Матфея, иудейский царь Ирод, чтобы избавиться от новорожденного Христа, приказал уничтожить всех младенцев мужского пола.

Пядница (пядь) — расстояние между большим и указательным пальцами, раздвинутыми по плоскости. Здесь — доска соответствующей меры.

...вылевкасил.— Левкас—шпаклевка у иконописцев, смесь клея с мелом.

Иоанн Предтеча (Креститель) — согласно Ветхому завету, последний из пророков, предрекавших пришествие Христа.

Соломия — по Евангелию, мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова.

Бокан (бакан) — краска багряного цвета.

Стр. 168. *Вохряна* (вохря) — желтая краска.

Стр. 169. *Халепа* — зимняя непогода, мокрый снег.

Еспер-звезда — планета Венера.

Стр. 170. *Басма* — тонкий образной оклад, тисненое серебро или кожа.

Стр. 171. *Корнавка* — куртка.

Ковчежец (от ковчег) — серебряный ларец для хранения церковных драгоценностей и грамот.

Сочельник — канун рождества Христова.

Стр. 175. *Шафран* — краска ярко-красного цвета, приготавливаемая из одноименного растения.

Стр. 177. *Катавасия* — вступительный стих церковной песни.

Головщик — управляющий одним из клиросов в церкви.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Первоначальное название «Черноземный Телемак».

Сопоставляя героя «Очарованного странника» с Телемаком, Дон Кихотом и Чичиковым, Лесков отвергал идею чисто приключенческого сюжета, которую пытались ему навязать. «Почему же лицо самого героя должно непременно стушевываться?..— пишет он в январе 1874 года.— А Дон Кихот? А Телемак? А Чичиков? Почему не идти рядом и среде и герою?» (т. 10, с. 360).

Жанр этого произведения Лесков определял как рассказ. Большинство советских литературоведов считают его повестью.

Лесков не видел резких границ между жанрами. Повести и рассказы свои он часто называл очерками. Для него главнейшим принципом являлась художественность («искусность»). Защищая свою повесть от несправедливой критики, он писал: «...нельзя от картин требовать того, что Вы требуете. Это *жанр*, а жанр надо брать на одну мерку: искусен он или нет. Какие же тут проводить направления? Этак оно обратится в ярмо для искусства и удавит его, как быка давит веревка, привязанная к колесу» (т. 10, с. 360).

Стр. 181. *Валаам* — остров на Ладожском озере, где в начале XIV века был построен мужской монастырь.

Чухонский — финский.

Стр. 183. *Филарет* (1782—1876) — московский митрополит.

Преподобный Сергий — причисленный к лику святых известный деятель русской церкви XIV века Сергий Радонежский (1314—1392), основатель Троице-Сергиева монастыря и ряда других обителей.

Стр. 184. *Странтопедарх* — начальник военного лагеря.

Стр. 185. *Духов день* — праздник сошествия святого духа; воскресный день — троица, понедельник — духов день.

Кантонисты — потомственные солдаты, дети военных, обязанные по своему происхождению служить в армии.

Стр. 186. *Рарей Джон* (1827—1866) — американский дрессировщик лошадей.

Стр. 187. *Всеволод Мстиславич* (Гавриил) — Новгородский князь, причисленный к лику святых. Умер в 1137 году.

Муравный — покрытый глазурью, стекловидной оболочкой.

Стр. 189. *Граф К.*— Имеется в виду С. М. Каменский (1771—1835), известный своим деспотизмом помещик.

Стр. 190. *Ворок* (ворки) — загон, скотный двор.

Старинною синею ассигнациею жалован — денежная бумажная купюра пятирублевого достоинства.

Стр. 191. *П... пустынь* — предположительно Предтечева пустынь (монастырь) в Орловской губернии.

Стр. 193. *...поехали мы... к новоявленным мощам...*— Речь идет о «мощах» первого воронежского епископа Митрофания, «открытие» которых произошло в 1832 году.

Стр. 198. *За коней мы взяли триста рублей, разумеется по тогдашнему, на ассигнацию.*— То есть на бумажные деньги, которые оценивались в 30—40-х годах XIX века двадцать семь копеек серебром за один рубль ассигнацией.

Стр. 199. *Крест... от Митрофания* — крест, полученный в воронежском Митрофаниевском монастыре.

Стр. 211. *Курохтан* — буро-серая степная птица типа горленки.

Стр. 217. *Сабур* — алоэ.

Калганный корень — растение, употреблявшееся как пряность и лекарство.

Стр. 222. *Чилизник* (чилига) — степная полынь.

Стр. 223. *Хлупь* (хлуп) — кончик крестца у птицы.

Стр. 229. *...под ставки* — под кибитки.

Стр. 232. *Керемети* — согласно чувашским поверьям, добрые духи, которые живут в лесах.

Стр. 244. *...Иов на гноище.*— Согласно одной из библейских легенд, бог, чтобы испытать веру Иова, поразил его проказой, и Иов должен был уйти из города и сидеть в пепле и навозе.

Стр. 246. *Лонтрыга* (лантрига) — мот, гуляка.

Стр. 247. *Четминей* (Четьи-Минеи) — книга житий святых, расположенных в порядке празднования их памяти.

Стр. 252. Ассигнации различались по цвету: «синие синицы» — пять рублей, «серые утицы» — десять рублей, «красные косачи» — двадцать пять рублей, «белые лебеди» — сто и двести рублей.

Стр. 254. *«Челнок»* — песня на слова Д. Давыдова «И моя звездочка».

Стр. 256. *Коник* — ларь, сундук с подъемной крышкой.

Стр. 262. *Обельма* — множество, куча.

Стр. 274. *Перезниял* — перегнил.

Стр. 277. *Авария* — бывшее Аварское ханство. С 1864 года — Аварский округ (современный Дагестан).

Стр. 280. *Страстная неделя* — последняя неделя великого поста.

Стр. 282. *Малый постриг* — обряд посвящения в духовное звание младшего чина без наложения строгих правил.

Старший постриг — обряд посвящения в монахи пожизненно с наложением строгих правил.

Стр. 287. *Тихон Задонский* — воронежский епископ, «чудотворец», «Житие» которого было издано в 1862 году.

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ

Рассказ основан на подлинных событиях, относящихся к жизни писателя конца 50-х и 60-х годов, когда он служил в компании фирмы «Скотт и Вилькенс».

Прототипом Пекторалиса, видимо, послужил инженер Крюгер, хотя, конечно, в рассказе — это характер, явившийся результатом творческого обобщения.

Стр. 290. *Железный «граф».*— Имеется в виду германский канцлер О. Бисмарк (1815—1898).

Стр. 291. *Крымская война* (1853—1856) — война России с коалицией

Англии, Франции, Турции и Сардинии в Крыму и на Черном море из-за столкновения интересов этих стран на Ближнем Востоке. Закончилась поражением России.

Стр. 292. *Эолова арфа.*— Эол в древнегреческой мифологии — бог ветров; согласно легенде, струны эоловой арфы звучали при дуновении ветра.

Стр. 293. ***Гайдн Иосиф*** (1732—1809) — великий австрийский композитор.

Стр. 302. *...миллиард в тумане.*— Так называлась статья либерала В. А. Кокорева (№№ 5, 6 «С.-Петербургских ведомостей» за 1859 г.) по вопросу об освобождении крестьян и выкупе крестьянских земель, оцениваемых автором в один миллиард.

Стр. 305. *Стоики* — течение в античной философии (III в. до н. э.— V в. н. э.), согласно которому человек должен жить сообразно природе и быть твердым в жизненных испытаниях.

Стр. 308. *Цевочка* — часть конской ноги от пятки до бабки или щетки.

Стр. 310. *Лютеране* — приверженцы протестантского вероисповедания, основанного М. Лютером в XVI веке в Германии.

Стр. 313. *Чего тебя черти носили,*
мы бы тебя дома женили.— Строфа из распространенной в то время народной песни «Как задумал Михеич жениться».

Стр. 314. *Клопс* (клопец) — мелко изрубленная и поджаренная в сухарях говядина.

«Мельничиха в Марли» — французский водевиль, популярный в России в 40-е гг. XIX в. Полное заглавие: «Мельничиха из Марли, или Племянник и тетушка».

Rue de Sevres — улица в Париже, где находился один из центров ордена иезуитов.

«Сарептские гернгутеры» — религиозная секта, призывавшая к отказу от земных благ. Центр ее находился в городе Сарепте Саратовской губернии.

Стр. 317. *И как Гейне все мерещился во сне...*— из 18-й главы поэмы Гейне «Германия».

Стр. 320. *Иосиф* — согласно Библии, любимый сын Иакова и Рахили, которого братья продали царедворцу египетского фараона Пентефрию.

Стр. 326. *Ископа ров себе и упадет...*— Цитируется Псалтырь, гл. VII, 16.

...сильный силою-то своею не хвались...— Из книги пророка Иеремии, гл. IX, 23.

Стр. 329. *...в книгах от царя Алексея Михайловича писано...*— Имеются в виду появившиеся в «Русской старине» (1871, № 3) и других изданиях материалы о регламентации положения немцев в России.

Стр. 334. *...потерять дух — все потерять...*— из трагедии «Кроткие Ксении» И.-В. Гете.

Стр. 340. *Что доблестнее для души...*— Слова из монолога Гамлета «Быть или не быть?» — в переводе Н. Полевого.

Стр. 341. *Что есть человек...*— из послания апостола Павла евреям.

Стр. 343. *Целовальник* — продавец вина в питейных домах и кабаках.

Штоф — стеклянная четырехугольная водочная бутылка с коротким горлом (безмерная).

Стр. 348. *Ёмки* — ухват, рогач.

Стр. 349. *Обсервация* (лат.) — осмотр, наблюдение.

Стр. 350. *Подчегаристый* — худощавый.

Стр. 354. *Шабольно* — беспорядочно.

Стр. 357. *Схватить в охапку кушак да шапку...*— из басни И. А. Крылова «Демьянова уха» (у Крылова: «схватив»).

Завертка — привязь оглобли к саням.

ОДНОДУМ

В первой половине 1879 года Лесков писал издателю «Нового времени» Суворину:

«Вы меня просили выискать что-нибудь недорогое, интересное и тягучее, с непрерывающимся интересом для «Недельного Нового времени». Вот я Вам и прилагаю программу, что можно составить и что будет от начала до конца живо, интересно, весело и часто смешно, а в то же время нетенденциозно, но язвительнее самой злой брани... Напишу я это с любовью, выбрав материал из редкостного антика, давно скупленного и уничтоженного... Я буду поспевать к каждому №» (т. 10, с. 458).

Рассказ предварялся подзаголовком (впоследствии снятым): «Русские антики (Из рассказов о трех праведниках)».

Стр. 358. *...по словарю кн. Гагарина.*— Имеется в виду «Всеобщий географический и статистический словарь кн. С. П. Гагарина». М., 1843.

Стр. 359. *«В беде не сробеет, спасет...»* — из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз Красный нос» (ч. I, гл. IV. У Некрасова: «в горящую избу войдет»).

Ночвы — лотки.

Стр. 360. *Поэт вроде Борнса.*— Бернс Роберт (1759—1796) — великий шотландский поэт.

Стр. 361. *Пророк Исайя* — библейский пророк, выступавший с критикой богачей и правителей.

Катехизис (греч.— наставление) — изложение христианского вероучения в вопросах и ответах.

«Позна вол стяжавшего...» — Не совсем точная цитата из Книги пророка Исайи (I гл.).

Стр. 362. *Иезекииль* — библейский пророк, который якобы видел ожившие по воле бога «сухие кости».

Стр. 363. *Теократическая полноправность.*— Теократия (греч.) — форма правления, при которой духовенству принадлежит политическая власть.

Сретали (старослав.) — встречали.

Стр. 364—365. *...и даже сами вольтерьянцы против этого не восста-*

вали.— Неточно приведенные слова городничего из «Ревизора» Н. В. Гоголя. У Гоголя: «и вольтериянцы напрасно против этого говорят» (д. I, явл. I).

Стр. 366. *Сорокоуст* — сорокодневная молитва в церкви по умершим.

Стр. 367. *Великий пост* — шесть недель поста перед пасхой.

Стр. 371. *...посылали молиться в Соловецкий монастырь.*— То есть ссылали.

Ланской Сергей Степанович (1787—1862) — костромской губернатор в первой половине 30-х годов, с 1855 по 1861 год — министр внутренних дел России.

Стр. 372. *Зерцало* — трехгранная призма с тремя указами Петра I, стоявшая на столе во всех учреждениях.

Стр. 374. *Маншкурт* — короткие рукава.

Оффенбах Жак (1819—1880) — французский композитор, один из основоположников классической оперетты, автор «Прекрасной Елены», «Периколы», «Сказок Гофмана» и др.

Стр. 379. *...апликовый* — из металла, покрытого накладным серебром.

Стр. 380. *Солея* — возвышение перед царскими вратами в церкви.

Стр. 383. *...исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича.*— Имеется в виду брак Павла I с принцессой Вильгельминой, вскоре умершей.

Попенный сбор — налог за срубленные деревья (с пня).

НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОЛОВАН

16 октября 1880 года Лесков пишет в редакцию «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому: «Голован» весь написан *вдоль*, но теперь надо его пройти *вопоперек*». В конце письма — снова тревожные ноты: «Голован» ...вышел слабее других (рассказов о праведниках.— *Л. К.*). Надо бы его хорошенько постругать. Не торопите до последней возможности» (т. 10, с. 472—473).

Стр. 386. *...часть его большая, от тлена убежав, продолжала жить в благодарной памяти...*— Неточная цитата из стихотворения Державина «Памятник».

Стр. 392. *Молокане* — религиозная секта в России, придерживавшаяся аскетических правил жизни и не признававшая обрядов официальной церкви.

Стр. 394. *«Прохладный вертоград»* — лечебный справочник, переведенный с греческого Симеоном Полоцким для царевны Софьи в XVII веке.

Стр. 395. *Веред* — чирей, нарыв.

Во удесех — в членах.

Стр. 396. *Сафенова жила* — жила между большим и указательным пальцами.

Спатика — жила на правой стороне тела

Базика — жила на левой стороне тела.

Дондеже — пока.

Антель — проскурняк (лечебная трава).

Водка буглосовая — настоянная на траве буглос (воловий язык).

Митридат — по имени врача Митридата Эвпатора (132—63 до н. э.) — универсальное лечебное средство из пятидесяти четырех элементов.

Сворбориновый уксус — настоянный на шиповнике.

Стр. 397. *Оленьи слезы или безоар-камень* — камень из желудка козы, ламы, используемый как народное лекарство.

Стр. 398. *Егорий Светлохрабрый* — день Егория Храброго 23 апреля.

Стр. 399. *Никодим* — орловский епископ в 1828—1839 годах.

...иметь еще одну кавалерию — стать кавалером ордена еще раз.

Стр. 400. *Аполлос* (1745—1801) — орловский епископ с 1788 по 1798 год (гражданская фамилия Байбаков).

Стр. 401. *Юрьева роса* — роса в Юрьев день (23 апреля).

Стр. 402. *С Ивана до полу-Петра* — с 8 мая до 30 июня.

Стр. 403. *Федосеевцы* — старообрядческая секта, выделившаяся из беспоповцев в начале XVIII века; проповедовали безбрачие, не признавали молитвы за царя.

Пилиппоны (филипповцы) — старообрядческая секта, проповедовавшая культ самосожжения; отделилась от беспоповцев в 30-х годах XVIII века.

Перекрещиванцы (анабаптисты) — религиозная секта, в которой обряд крещения производился над взрослыми людьми, с целью «сознательного» приобщения их к вере.

Хлысты — религиозная секта, возникшая в России в XVII веке. «Радения» сопровождались ударами хлыстом, исступленными песнопениями, прыжками.

Стр. 404. *Зодия* — одна из двенадцати частей Зодиака (греч.) — солнечного пояса, древнего астрономического указателя. Каждая из двенадцати частей круга (равная одному месяцу) носила имена тех созвездий, в которых пребывало солнце при своем годичном движении (например, март назывался и обозначался знаком Овна и т. д.).

Плезирная трубка — подзорная труба.

Краевич Константин Дмитриевич (1833—1892) — русский ученый и педагог.

...не признавал седьмин Даниила прореченными на русское царство.— То есть не распространял на Россию библейское пророчество Даниила о пришествии мессии через 70 $\times$ 7 лет («седьмины»).

Стр. 405. *Поппе* (Поп А.) (1688—1744) — английский поэт, автор поэмы «Опыт о человеке».

Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — русский генерал, соратник Суворова и Кутузова.

Стр. 406. *...при открытии мощей нового угодника...*— По-видимому, речь

идет о мощах воронежского епископа Тихона Задонского, открытых в августе 1861 года.

Стр. 407. *Девясил* — растение, используемое в народе для лечения грудных болезней.

Надхождение стени (древнеслав.) — приступ боли (стенаний).

Стр. 409. *...корчемство* — торговля спиртными напитками (корчма — кабак), независимая от государственной.

Стр. 411. *Дело о подделке мощей.*— Описано Лесковым в «Заметке», опубликованной в «Русской жизни», 1894, № 83, а также в не изданной при его жизни статье «Где добывают поддельные мощи».

Стр. 412. *Одрец* — носилки.

Стр. 413. *Пупавки* — ромашки.

Стр. 415. *Архитриклин* (греч.) — старейшина, хозяин.

Стр. 417. *...служил совестным судьею.*— Совестный суд — учреждение в старой России, где спорные дела решались не по закону, а по совести судей.

Эмансипации хотел... такой, как в Остзейском крае.— То есть освобождение крестьян без земли.

Стр. 418. *Номады* (греч.) — кочевники.

Сердовые — средних лет люди.

Белый — старый (человек).

Стр. 423. *...бороться с видениями, терзавшими святого Антония.*— Святой Антоний (III в. до н. э.), согласно преданиям, многие годы боролся с искушениями и видениями.

ЛЕВША

Первоначальное название рассказа — «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (цеховая легенда)». В одном из изданий 1882 года был устранен эпитет «косой», в другом — название начиналось словами «стальная блоха».

Окончательный вариант названия, где на первый план выдвинуто собирательное имя народного героя, закреплен за рассказом в Собрании сочинений 1894 года.

В предисловии к первому отдельному изданию 1882 года писатель указал источник легенды: «Я записал эту легенду в Сестрорецке, по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку в царствование Александра I. Рассказчик два года тому назад был еще в добрых силах и в свежей памяти; он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил «по старой вере», читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением» (т. 7, с. 499).

Это дало повод некоторым критикам рассматривать рассказ как литературную обработку и даже стенограмму народной легенды.

Лесков решительно отвергал подобную точку зрения. «Все, что есть

чието *народного* в «сказе о тульском левше и о стальной блохе», заключается в следующей шутке или прибаутке: «англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали». Более ничего нет о «блохе», а о «левше», как о герое всей истории ее и о выразителе русского народа, нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, что об нем кто-нибудь «давно слышал», потому что,— приходится признаться,— я весь этот рассказ *сочинил* в мае месяце прошлого года, и *левша* есть лицо мною выдуманное» (т. 11, с. 219).

Таким образом, Лесков утверждает, что его слова в «Предисловии» о том, что он только «записал» легенду, нельзя понимать буквально. В последующих изданиях писатель снимает предисловие.

Согласно первоначальному замыслу, Лесков должен был написать три сказа об императорах Александре I, Николае I и Александре III. В письме к И. С. Аксакову Лесков пишет, что у него готова «такая же легенда о нынешнем государе, под заглавием «Леон — дворецкий сын, застольный хищник». Эту легенду Лесков писал в качестве продолжения «Блохи» и поместил в сб. «Юбилейная книжка. Премия к собранию романов за 1881 год».

Можно предположить, что в «Левше» объединены два первых очерка, так как они охватывают эпохи Александра I и Николая I. По-видимому, в результате смещения тематических акцентов в центре изображения оказался Левша.

Стр. 423. *Венский Совет.*— Имеется в виду Венский конгресс 1814—1815 годов, куда входили державы-победительницы над наполеоновской Францией во главе с русским императором Александром I (царствовал с 1799 по 1825 г.).

Стр. 424. *Платов Матвей Иванович* (1751—1818) — атаман (гетман) войска донского казачества. Активный участник Отечественной войны 1812 года.

Стр. 425. *Мортимерово ружье.*— Мортимер Г.— английский оружейник XVIII века.

Стр. 426. *Сахар молво* — по имени петербургского сахарозаводчика начала XIX века Я. Мольво.

Бобринский завод — сахарный завод А. Бобринского вблизи Киева.

Стр. 429. *...фунт Жукова табаку...*— по фамилии владельца петербургской табачной фабрики.

Императрица Елизавета Алексеевна (1779—1826) — жена российского императора Александра I.

...при восходе его было смятение.— Имеется в виду восстание декабристов при вступлении на престол Николая I.

Стр. 430. *Платов был еще жив.*— Платова к этому времени уже не было в живых (прим. к стр. 424).

Стр. 433. *...святитель Мир-Ликийских.*— Миры — город в Ликии (так называлась Малая Азия).

Стр. 441. *Граф Кисельвроде* — граф Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862), министр иностранных дел при Николае I.

Стр. 444. *Сапажу* — вид обезьян.

Плис — тяжелая хлопчатобумажная ткань типа бархата.

Тальма — безрукавая накидка.

Стр. 447. *Динаминде* — порт в устье Западной Двины (теперь — Даугавгрива).

Мурин — негр.

Стр. 449. *Клейнмихель Т. А.* (1793—1869) — управляющий путями сообщения России при Николае I.

Скобелев Иван Никитич (1778—1849) — комендант Петропавловской крепости.

...доктора Мартын-Сольского... — Сольский Мартын Дмитриевич (1798—1881) — известный в 60—70-е годы врач в Петербурге.

Чернышев А. И. (1786—1857) — военный министр при Николае I.

Стр. 450. *...«дела минувших дней»* — Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (у Пушкина: «дела давно минувших дней»).

ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК

Рассказ основан на исторически достоверном материале. В Орле действительно долгое время существовал крепостной театр графов Каменских. А. И. Герцен изобразил его в повести «Сорока-воровка» (1848), но не мог в то время назвать имя хозяина театра.

Описанные Герценом события происходили при С. М. Каменском (1771—1835), «просвещенном» театрале, сыне убитого своими крестьянами за жестокость в 1809 году генерал-фельдмаршала М. Ф. Каменского.

Лесков услышал рассказ, когда ему «уже минуло лет девять», то есть в 1840 году.

Исторические неточности в рассказе, отмечаемые исследователями творчества Лескова, свидетельствуют о том, что автор не стремился к точной передаче деталей, а воссоздавал типическую картину.

Стр. 451. *Сазиков П. И.* (ум. в 1868 г.), *Овчинников П. А.* (1830—1888) — московские чеканщики по золоту и серебру.

Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи». — «Художником» Гейне называл сапожника (Полн. собр. соч., т. 9. М.—Л., «Academia», 1936, с. 84); об «идеях» портного — там же, т. 4, с. 240.

Ворт Чарльз Фредерик (1825—1895) — известный парижский портной.

Шнип — выступ на поясе женского платья или лифа.

Брет-Гарт Френсис (1839—1902) — знаменитый американский писатель. Речь идет о его рассказе «Разговор в спальном вагоне» (1877).

Стр. 453. *Алферьева Акилина Васильевна* (1790 — ок. 1860) — бабушка писателя по матери.

Стр. 457. *Водвою* — одновременно, сразу.

Стр. 458. *Подоплека* — подкладка рубашки (в основном у крестьян) от плеч до середины груди и спины.

Стр. 460. *...голову крячком скрячивали.*— Кряч — веревка.

Приползут, говорит, змеи и высосут очи...— Слова из сербской песни «Марко-кралевич в темнице» (перев. А. Х. Востокова).

Стр. 461. *Турецкий Хрущук* — в настоящее время болгарский город Рущук.

Со сносом — с ворованным.

Стр. 462. *Козырь* — стоячий воротник.

Стр. 466. *Тальки* — мотки пряжи.

ЧЕЛОВЕК НА ЧАСАХ

Первоначальное название — «Спасение погибавшего».

В рассказе действует ряд исторических личностей: капитан Миллер, обер-полицмейстер Кокошкин, подполковник Свиньин; во «владыке» современники угадывали митрополита Филарета, упоминаются Николай I и великий князь Михаил Павлович, довольно точно переданы детали обстановки. Сын писателя Андрей Николаевич вспоминает, что рассказ написан со слов Н. И. Миллера.

Однако это не пересказ факта, а художественное обобщение. В предисловии Лесков говорит: «Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов...».

Стр. 470. *Миллер Николай Иванович* (ум. в 1889 г.) — генерал-лейтенант, инспектор, затем директор Александровского лицея. По воспоминаниям современников, был гуманным человеком.

Кордегардия — гауптвахта.

Стр. 476. *...к великому князю Михаилу Павловичу.*— Романов Михаил Павлович (1798—1848), младший брат Николая I.

Стр. 478. *«сорок тысяч курьеров».*— Неточная цитата из «Ревизора» Н. В. Гоголя. У Гоголя (III д., явл. VI): «Тридцать пять тысяч одних курьеров!»

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

10 мая 1894 года Лесков пишет в редакцию журнала «Русская мысль» В. А. Гольцеву: «Посылаю сегодня в редакцию давно обещанную рукопись. Называется она «Зимний день». Содержание ее живое и более списанное с натуры» (т. 11, с. 582). 4 июня 1894 года Лесков уже сетует на задержку корректур. «Я ведь ужасный копун и все должен себя выправлять да раз-

глаживать. Я написал для барышни в «Зимнем дне» сценку, которая мне нравится и я ее должен вставить! Это из того, что говорил Н. Н. Ге (см. прим. к стр. 514.— *Ред.*), и это образно и важно для «духа времени» (т. 11, с. 585).

Лесков работал над рассказом до последнего года жизни, усиливая его сатирическую направленность.

По свидетельству сына писателя А. Лескова, поводом к написанию рассказа явился шумный процесс с подделкой завещания миллионера В. И. Грибанова, в котором были замешаны люди, занимавшие видное положение в обществе.

Рассказ произвел отрицательное впечатление на официальные круги и был доброжелательно встречен в кругах литературных.

Стр. 485. *Даль Владимир Иванович* (1801—1872) — известный русский писатель и лингвист, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».

Стр. 486. *Кузина Олимпия.*— По мнению сына писателя А. Лескова, речь идет о писательнице О. А. Новиковой.

Стр. 489. *Совершать свое дело — потрошить чье-то мертвое тело.*— Неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого (1817—1875) «Поток — богатырь». У Толстого: совершают они, засуча рукава, пресловутое общее дело: потрошат чье-то мертвое тело.

Бертенсон Л. Б. (1850—1929) — врач и преподаватель медицины в Рождественской больнице в Петербурге.

Гиппические конкурсы.— Гиппос — скачки (от греч. гиппос — лошадь).

Пеленки с детскими пятнами.— Имеется в виду Наташа Ростова в эпилоге романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

Стр. 492. *Шопенгауер Артур* (1788—1860) — немецкий философ-идеалист.

Рацея (лат.) — наставительное поучение, длинная речь.

...или акварель Петра Соколова.— Соколов Петр Петрович (1821—1899) — русский живописец, мастер изображения бытовых сцен.

Стр. 493. *Засецкая Юлия Денисьевна, Пейкер Мария Григорьевна, Пашков Василий Александрович, Корф Модест Андреевич, Бобринский Алексей Павлович* — наиболее активные члены религиозной секты («пашковцы»), отвергавшей культ святых и церкви и находящейся в России под запретом.

...в полиции тогда был Анненков.— Имеется в виду генерал Анненков Иван Васильевич (1814—1887), начальник жандармского корпуса, полицмейстер, а затем комендант Петербурга.

Стр. 495. *Скарятин Николай Яковлевич* — казанский губернатор в 60—70-х годах.

Когда был шах персидский.— Персидский шах Насреддин посетил Россию в 1889 году.

Стр. 498. *Европеус Александр Иванович* (1826—1885) — участник кружка Петрашевского, приговоренный в 1849 году к смертной казни, но помилованный.

Унковский Алексей Михайлович (1828—1892) — предводитель дворянства в Тверской губернии, либерал по убеждениям. Возглавлял тверскую оппозицию дворян в конце 50-х годов.

Перовский Василий Алексеевич (1794—1857) — генерал-адъютант, оренбургский военный генерал-губернатор и командир отдельного Оренбургского корпуса. Под его началом служил Т. Г. Шевченко.

«Что прекрасно для Лондона, то не годится в Москве».— Неточная цитата. У Пушкина: «Что нужно Лондону, то рано для Москвы» («Послание к цензору»).

Стр. 499. *Катков Михаил Никифорович* (1818—1887) — реакционный публицист, редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника».

Пан — бог природы и пастухов в древнегреческой мифологии.

...я не о той совсем Диане... и т. д.— Речь идет об одном из «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева — «Нимфы».

Стр. 501. *Иона-циник* — герой романа А. Ф. Писемского «Взбаламученное море».

Квакеры — особая ветвь протестантской религии в Англии в XVII веке.

Смеяться не грешно над тем, что смешно.— Неточная цитата. У Карамзина:

Смеяться, право, не грешно
Над всем, что кажется смешно.

Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский буржуазный историк либерального направления.

Стр. 502. *Кана Галилейская* — город в Палестине, в котором, по преданию, Христос на празднике превратил воду в вино.

Мытарь — сборщик налогов и пошлин (по Евангелию).

Стр. 503. *Придет весенний шум, веселый шум.*— Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Зеленый шум».

Стр. 504. *Танагра* — одна из областей Древней Греции.

Стр. 506. *...поехала в Кронштадт* — к Иоанну Кронштадтскому, протоиерею Андреевской церкви в Кронштадте.

Стр. 508. *Pere Jean, pere Onthon.*— Отец Иоанн — Иоанн Кронштадтский; отец Антон — Вадковский А. В. (1846—1912), писатель и церковный деятель, в 90-х годах — архиепископ в Финляндии.

Стр. 509. *Боккаччо Джованни* (1313—1375) — известный итальянский писатель; «Волшебное дерево» — новелла о неверной жене из «Декамерона» Боккаччо.

Стр. 510. *Бисмарк Отто* (1815—1898) — канцлер Германской империи.

Майорат — введенное Петром I в России право наследования старшего в семье, обеспечивавшее постоянный приток в государственную службу младших в семье дворян.

Стр. 511. *Кармелитка* — монахиня ордена кармелиток, созданного во Франции в 1452 году.

Стр. 513. *«Ключ разумения»* — произведение И. Галятовского, изданное в XVII веке.

Стр. 514. *Ге Николай Николаевич* (1831—1894) — выдающийся русский живописец. «Бойня» — по-видимому, цикл картин Ге «О страданиях Христа» («Что есть истина?», «Распятие», «Голгофа»).

Стр. 516. *Рамолитический* (франц.) — расслабленный, паралитический.

Стр. 523. *«Оставь надежду навсегда!»* — Неточная цитата. «Оставь надежду всяк сюда входящий!» — надпись над вратами ада в «Божественной комедии» Данте (1265—1321) — великого итальянского поэта.

Стр. 524. *Елизавет Воробей* — вписанное Собакевичем в список мужских душ для продажи Чичикову женское имя («Мертвые души» Н. В. Гоголя).

Мещерский Владимир Петрович (1839—1914) — издатель журнала «Гражданин», журналист официального направления.

Стр. 526. *Кираса* — латы из двух половинок — нагрудника и тыльника.

Стр. 528. *...говорил Оксенштиерна...* — Аксель Оксеншерна (1583—1654) — шведский канцлер, дипломат.

Л. Крупчанов

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 92

Николай Александрович
Лесков

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

*

Редактор И. Чеховская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Портрет работы
В. Серова
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Титова
Корректор Т. Кузина

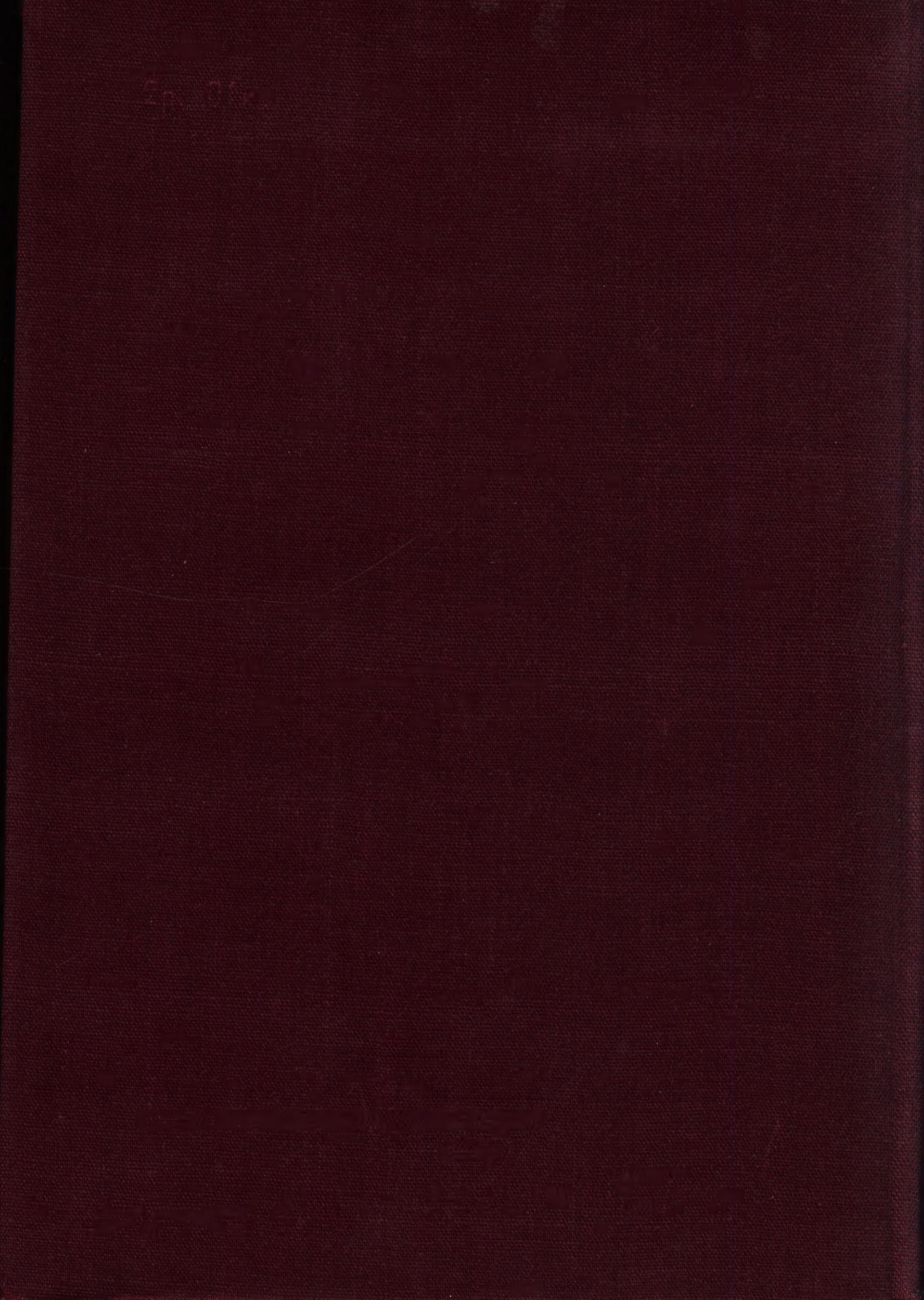
*

Сдано в набор 12/XII 1972 г. Подписано в печать 12/IV 1973 г. Бумага № 1 60×84¹/₁₆. 35,0 п. л. 32,66 усл. печ. л. 36,20 уч.-изд. л. + 1 вкл. + 6 накидок = 36,91 л. Заказ 3432. Тираж 303 000 экз.
Цена 2 р. 01 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, М-54, Валовая, 28



Н • ЛЕСКОВ

